

АРТИКЛЫ

Израильский литературный
журнал

АРТІКЛЪ



№ 16

Центр наследия евреев СССР

Тель-Авив

2021

מעלות
המרכז למורשת יהדות
ברית המועצות

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Преломление ковида-19 через призму художественной литературы

Мадина Тлостанова. Эклеры с тврогом.....	4
Марта Кетро. Я что-то нажала и все исчезло.....	16
Елена Дорогавцева. Ярче.....	29
Шула Примак. И мать их София.....	35
Александр Климов-Южин. Незаметное исчезновение	49
Афанасий Мамедов. Жанна-Огонек.....	53
Яков Шехтер. Удар молотком.....	61

Велвл Чернин. Пророки и глупцы.....	65
Сергей Баев. Противостояние.....	105
Елена Дьячкова. Неразменная.....	112
Ольга Минская. Сука-любовь.....	116
Влади Смолович. Барсик и инопланетяне.....	120
Александр Борохов. Генетическая память.....	141
Михаил Юдсон. Остатки.....	150
Яков Шехтер. На смертном одре.....	156

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Узи Вайль. Это не ХАМАС, это смерть, мать ее.....	184
Рам Орен. Конец недели.....	192

ПОЭЗИЯ

Дина Березовская. Поворот, переулок.....	199
Ирина Маулер. 20-е навсегда.....	203
Даниэль Клугер. Магда.....	209
Дмитрий Бирман. Мне перестали сниться сны.....	219

Алексей Александров. Дырочка в стене.....	224
Илья Будницкий. Эхо в темноте.....	228
Илья Корман. Стихи из папки, забытой на антресолях.....	231
Денис Соболев. Из цикла «Портреты».....	236

НОН-ФИКШН

Давид Маркиш. Кто убьёт барса.....	242
Михаил Черейский. Гусар летучий.....	259
Александр Крюков. Это мы – евреи	263
Эстер Кей. Как проходили съёмки.....	286

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Роман Кацман. Русско-израильская литература как эмерджентное сообщество.....	291
Андрей Зоилов. Хобби или призвание.....	303
Наталья Стеркина. Субкультура в зеркале текста.....	314

СТИХИ И СТРУНЫ

Чудо Юрия Лореса, или В жизни все проходит быстро.....	327
--------------------------------------------------------	-----

На титульной странице: лейтенант 2-го гусарского
полка, кавалер орденов Почетного легиона и
Военного креста Ниссим де Командо

см. страницу 259

ПРОЗА

И ЭТО ВСЁ О НЁМ

Преломление ковида-19 через призму художественной литературы

Мадина Глостанова

Эклеры с творогом

«Изгнание для него — особая форма причастия».
М. Фуко.

В месяцы самоизоляции, незаметно превратившейся в новую нормальность, борясь с неизвестной, долго тянущейся болезнью, прислушиваясь к своему телу, подбиравшему к ней ключи, я пыталась унять растущую тревожность воспоминаниями о многочисленных путешествиях. Странствия были для меня всегда уходом в себя и бегством от себя одновременно. Я неизменно пропускала новые места через свое тело, прислушивалась к эмоциям и физическим реакциям, порождаемым пространствами, силилась уловить гений места. Легко научившись обходиться без людей, с тех пор, как ушло из моего лексикона слово «дом», я все же была привязана к миру - природному и отчасти, рукотворному. Хотя, может быть, мне только так казалось. Если у других общение с себе подобными есть способ придать смысл своему существованию, для меня в этой роли выступали путешествия, изредка даровавшие богатство общения с близкими по духу, и почти всегда - сокровища неизведанных пространств. Впрочем, теперь я уже

сомневаюсь, нужно ли мне и это. Возможно, карантин навсегда избавил меня от привязанности к физическим местам, от пространственной памяти, от необходимости почувствовать место в реальности. Ведь не зря же те места, где я никогда не бывала, места, целиком выдуманнные, получались в моих книгах неизменно живее и ощутимее.

Где теперь это навсегда утраченное очарование спонтанности, даровавшее незадачливому путнику свободу и счастье, пусть и недолговечные? Во внезапно замедлившейся жизни, подсвеченной отныне лишь иконками зума и редкими сорочьими визитами на мой просторный балкон, я начала было мечтать наяву о деловых и туристических поездках, но прежде всего, по понятным причинам, вспоминать вояжи санаторные и бальнеологические, которых за последние годы совершила немало. Печальный парк, помнивший, что он был когда-то болотом и постоянно напоминавший об этом посетителям, тяжелый дух водогрязелечебницы, хищные медные лапы старинной ванны и убаюкивающий клекот пузырьков в ее мраморном ложе, бесконечные источники совершенно одинаковой на вкус воды и неизбывные золотистые шторы физиотерапевтических кабинок, отвар шиповника вместо утреннего кофе и бокал брютта к завтраку, занятия лечебной физкультурой со шведской стенкой и деревянной палкой прямо из советского детства и допотопный кислородный коктейль в стеклянном стакане с резной ложечкой. Все эти вышедшие из моды еще 100 лет назад места смешались в моей памяти в одно нескончаемое санаторно-курортное лето. Именно во время такого путешествия, случившегося за год до коронакризиса, и произошла эта встреча.

Стояла середина июля. И даже северная страна, куда я двинулась по давней привычке бежать летом прочь от жары, пыли и толп отдыхающих, была тронута солнечными лучами и тусклым светом все еще уверенно белых ночей. В последние годы я стала робко учиться ощущать радость от физического мира в его самых простых и непосредственных

проявлениях: запахи - приятные и не очень, прикосновения к поверхностям - гладким и шероховатым, и, конечно же, пение и крики птиц, жужжание пчел, шум моря, шелест дождя - все, что прежде оставляло меня совершенно равнодушной. Вижу я все хуже, и поэтому зрительное богатство мира меня трогает меньше. Единственное, что вызывало стойкое и растущее отторжение - это мир людей. Наверное, поэтому меня так тянуло в печальные полузаброшенные санатории и пансионаты, что все еще можно встретить на задворках Европы. Они напоминали о другой эпохе и не были густо населены.

Но в тот год я остановилась в новехонькой гостинице, построенной на бережно сохранных руинах почерневшего бревенчатого трехэтажного особняка, некогда бывшего лазаретом. Гостиница напоминала чем-то древний музейный экспонат, в котором недостающие детали заменили стеклянными. Бесшумно раскрывались безупречно чистые тонированные двери, золотистый тревелатор подвозил отдыхающего прямо к стойке портье, но внутри можно было увидеть прежние очертания здания, его заскорузлые стены, низкие потолки, маленькие оконца, узкие приземистые двери, объединенные теперь в странный конгломерат с холодным хайтеком бутик-спалотеля.

Потянулась курортная жизнь - вечерние прогулки по берегу моря, массаж, сухая углекислая ванна, грязевые обертывания, душ Шарко, йога на рассвете на плоской крыше отеля, тщетные попытки укрыться плотными шторами от всепроникающего света, вылазки на местный рынок за душистой земляникой и черникой. Послеобеденная сиеста часто прерывалась минорным голосом торговли, разносившей по окрестным санаториям, пансионатам и гостиницам букетики анютиных глазок и маргариток, самодельные марципановые конфеты и творожные эклеры. Она протяжно выводила: Ма-а-арципан! Флауэрз! Вецригас! Цветы-ы-ы!

Прошла неделя, и мне стало скучно сидеть в чахлом садике и на окропляемом мелким тихим дождиком пляже.

Захотелось облазить болотистый, заросший кустарником лес, взобраться на ближний пологий холм, погулять вдоль спокойной медленной реки, словом, немного расширить доступное пространство существования. В библиотеке отеля обнаружилась бумажная карта окрестностей, на которой были нанесены даже проселочные дорожки и тропинки, не говоря о маленьких музеях, мастерских народных промыслов, церквях, харчевнях и старинных виллах и особняках, большая часть из которых была превращена теперь в пансионаты и гостиницы. На восточной стороне холма, на карте было обозначено какое-то странное скопление строений без названия и объяснения их предназначения. Проселочная дорога обрывалась за несколько сантиметров до этого места, как будто ее не достроили или она была забыта за ненадобностью

- Что это? - спросила я портье.

- О, это наша забро-о-ошка, там сейчас нет ничего, но когда-то был, м-м-м, санаторий. Его закрыли в 1991 году. Туда опасно ходить. Здания все аварийные. Там живет только Дорел. Давайте-ка я вас лучше запишу на жемчужную ванну!

Но я уже решила, что непременно отправлюсь в это место.

В субботу процедур не было. Погода стояла пасмурная, ветреная, но дождь не спешил начинаться. Угрожающе погромыхивая, за мной следовала на почтительном расстоянии увесистая темно-серая туча. Я быстро прошла через парк, который незаметно перерос в лес, не спеша добралась до холма на опушке, и пошла по узкой, утопанной множеством ног тропинке вверх. Дорожка петляла и кружила, огибая холм, становилась все менее утопанной и наконец, вовсе раздвоилась. Один хвостик устремился вниз к музею ремесел, а второй - заросший травой и едва различимый, продолжал карабкаться вверх. Его-то я и выбрала. Вскоре меня окружили густые заросли. Тропинку было почти не разглядеть. В какой-то момент я решила, что стоит вернуться - уж слишком экстремальным

становилось это поначалу невинное приключение. А я не была любительницей походов и палаточного отдыха даже в юности. Но тут из зарослей внезапно показался угол кирпичной стены, уходившей высоко вверх. Я подняла голову и увидела почерневший шпиль и небольшой колокол. Тропинка привела прямо к церкви. Простое приземистое здание с невысокой колокольной и впрямь выглядело полуразрушенным. Портые не обманул. В окнах не было стекол, стены облупились и потрескались. Из всех щелей росла трава и торчали какие-то желтые сорные цветы. Было очень тихо и спокойно. Только горlinkа жаловалась о чем-то с орехового дерева, да пели цикады.

Еще несколько шагов - и глазам открылась довольно широкая пологая площадка, заросшая травой и кое-где деревьями, расположенными на равном расстоянии друг от друга. Скорее всего, они были посажены специально, но очень давно. Поодаль торчали из земли два полубугленых простых сарая, а ближе к лесу, там, где заканчивалось это явно рукотворное, расчищенное, но теперь позабытое пространство, желтел большой и когда-то красивый трехэтажный дом. В его строгих арочных окнах почти не осталось стекол. Кое-где особняк был покрыт порванной зеленой сеткой. Из дырявой крыши пробивались деревца. Я робко подошла поближе, и тут почувствовала на себе взгляд. Он исходил из темного слухового окна в фигурной мансарде, украшенной витиеватым растительным барельефом. В окне мелькнул чей-то силуэт и тут же исчез.

Было жутко, но интересно. Я всегда питала слабость к старым домам. Табличка на стене пострадала от времени. Уже не разобрать названия учреждения. Только левый нижний угол все еще гордо объявляет, что особняк был построен в 1898 году, что это загородная вилла барона фон Гау... Но конец фамилии барона канул в лету, как и сам барон, скорее всего репатриировавшийся в Германию накануне Второй мировой войны. Ржаво скрипнула и захлопнулась за мной парадная двухстворчатая дверь, на голову посыпалась штукатурка, ноги сами понесли меня к

полуобвалившейся винтовой лестнице. Пролет, еще один, еще, и вот я, наконец, на последнем этаже. Внутри дом оказался гораздо больше, чем казалось снаружи. Сейчас, спустя много месяцев сидения взаперти, любое пространство мне кажется слишком узким и тесным. И любое воспоминание об открытом и свободном месте греет душу упущенной возможностью иного мира.

Комната за комнатой, я брела по слою мусора и пыли к маленькой лестничке на чердак. Анфилада некогда роскошного убранства теперь представляла собой жалкое зрелище. Огромные зеркала на стенах разбиты, от витражей остались только рамы, но гипсовые кариатиды с отвалившимися носами и пустыми глазницами продолжали поддерживать ветхий потолок. В одной из комнат были беспорядочно свалены какие-то ящики с медицинскими препаратами, и все еще стоял характерный запах лекарств. В другой меня встретили несколько старых ржавых кроватей, заправленных байковыми одеялами. Бывшая бальная зала была полна пыльных витрин, в которых красовались грубые глиняные тарелки и кособокие вазы, вероятно, сделанные бывшими обитателями этого места.

Рука невольно застыла на полпути, но потом я все же тихонько постучала костяшками пальцев в деревянную дверь. Мне открыли сразу же. И не успев подумать, я инстинктивно отскочила назад. Теперь мы уже привыкли к этой реакции. Любой встреченный человек на подсознательном уровне воспринимается как опасность. Мы навсегда запомнили, что опасно даже просто дышать рядом с другими людьми - знакомыми и незнакомыми, условно здоровыми и больными. Наши глаза постоянно машинально сканируют пространство вокруг, замечая любого, кто оказался слишком близко и включая внутреннюю сирену страха. Мы не носим трещоток и колокольчиков, как это было в средневековье, но будничная близость тихой смертельной опасности делает свое черное дело. Впрочем, в тот момент я отскочила просто потому, что увидела её.

Высокая когда-то женщина, теперь она превратилась в три погибели согнутую старуху. Она смотрела на меня снизу своим единственным зрячим глазом и тянула темную руку с изуродованными пальцами, на нескольких из которых не хватало фаланг. Кожа на ее лице была бугристой и застывшей, словно маска. Она пыталась мне что-то сказать, но голос звучал гнусаво и неразборчиво. Я не могла понять, что она говорит. «Дорел?» - произнесла я с вопросительной интонацией. Старуха энергично закивала головой и улыбнулась, от чего стала еще ужаснее.

Потом мы спустились в сад, вернее то, что от него осталось. Дорел двигалась медленно, прихрамывая, и невозможно было понять, что тому виной - старость или болезнь. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что сад был не таким уж запущенным, а огород и вовсе образцовым. Дорел с гордостью показывала мне плодовые деревья с небольшими крепенькими яблочками и грушами, корявую, но плодовитую сливу. Кряхтя, нагибалась, чтобы показать поспевшую землянику и смородину. И непременно настаивала, чтобы я все это попробовала. После мы уселись на скамейке. И странно, хотя на свету женщина выглядела еще более устрашающе, я не боялась сидеть с ней рядом и даже прикоснуться к ее обезображенной руке. Я открыла свой выдавший виды рюкзак и достала рижское пирожное, купленное утром у ре-минорной торговки, а также случайно оказавшийся там апельсин, и протянула мои скромные дары Дорел. Пирожное она бережно спрятала в карман, а апельсин стала тихонько катать по колену, поглаживая словно котенка, и улыбаясь.

Из кармана ситцевого платья старуха достала карандаш и школьную тетрадку в линейку, долго и старательно что-то писала, потом торжественно передала мне. И это богом забытое место, и женщина, оставленная всеми и переставшая существовать для внешнего мира, вдруг обрели голос, цвет, дыхание, вкус, жизнь.

- Я Дорел. Мне 96 лет. Я тут живу с тридцать восьмого года. Мне было четырнадцать, они меня забрали. Мама плакала. Сначала она говорила мне ходить с погремушкой,

чтобы все знали, что я иду. Но соседи все равно позвонили фельдшеру. Меня связали и привезли сюда. У нас другой язык, совсем не похож. Я долго ничего не понимала. Потом научилась, даже по-русски. Из моей страны всех отправляли сюда. Больше некуда было».

- Дорел, - прерываю ее я. - А почему вас отправляли сюда? Чем вы были больны?

Она смотрит долго, не отрывая взгляда. А потом пишет печатными буквами посередине строчки: ПРОКАЗА.

Теперь мы уже знаем, что раз заболев этим вирусом, мы носим его в своем теле как бомбу замедленного действия. Так и ленивая смерть имеет обыкновение возвращаться. Она может оставить человека в покое на долгие годы, но потом проявиться в старости. Она таится в нашем теле, ожидая, когда напасть снова - когда наш иммунитет ослабеет, когда мы потеряем бдительность, когда судьба решит наказать нас за какие-то прегрешения. Поэтому выздороветь навсегда невозможно.

- Как же вы заболели? - допытываюсь я.

- Никто не знает. Семья была небогатая. Иногда голодали. Но таких было много. А заболела одна я. Мне было восемь. А здесь я прожила очень долго, пока не начали лечить новыми лекарствами. Тогда было уже поздно. Глаз я потеряла и пальцы.

Она права. Ведь мы так и не знаем, как заболевают болезнью Хансена. То ли она передается респираторным путем, то ли через прикосновения и контакты с почвой в эндемических районах, то ли через воду и еду. Она нигде и везде, невидима, но крайне опасна.

- А где остальные пациенты? - спрашиваю я.

Застывшие черты осеняет улыбка. Дорел снова сгибается и медленно выводит печатными буквами ответ: «Нашу колонию закрыли в 1989. Все разъехались на амбулаторку, по домам».

- А вы почему не уехали?

Дорел молчит, опустив голову, и ничего не пишет. У нее нет дома. Вернее, его не стало за те годы, что она провела здесь. За это время ее страна из независимой стала

оккупированной, и вновь обрела свободу. Исчезла родная деревня, сначала укрупненная в совхозное село, а теперь отданная под коттеджные поселки нового среднего класса. Родные были раскулачены и сосланы в Красноярский край. Вернулся только один дядя Арри, но и он умер в конце 1970-х, не дожив до независимости. А что же Дорел? Четырнадцатилетняя девушка попала сюда задолго до изобретения сильных антибиотиков, позволивших усмирить ленивую смерть. И прожила здесь всю свою жизнь. Менялись политические режимы, начинались и заканчивались войны, а Дорел все оставалась за колючей проволокой. И только когда ей было уже под семьдесят, проволоку убрали, охрану уволили, и двери лепрозория открыли навсегда.

Коснувшись меня легонько пальцем, старуха что-то промывчала и указала куда-то в сторону церкви. Там у забора оказалось небольшое кладбище. Могилы были аккуратные и ухоженные. На многих наличествовали портреты, в основном, довольно молодых людей. Антибиотики хорошо справлялись с бактериями лепры, но при этом быстро разрушали печень, почки, сердце и убивали пациентов. Те же, кто заболел давно и успел потерять конечности и утратить глаза, тем не менее выживали и жили порой очень долго, до самой старости, и умирали тоже не от лепры. У Дорел симптомы не возвращались много лет, пока не умер Освальд. Тогда ленивая смерть напомнила о себе еще раз, но с тех пор прошло уже несколько десятилетий.

Присев на камень, Дорел вывела своим детским почерком: «Раньше нам делали пробу, и мы знали, кто заразный. В последний раз это было в 1989. Мне сказали, что я здорова, что я могу уехать, но я осталась». Она подошла к не приметной могиле и погладила крест.

- О-о-о-свальд, - едва слышно выдохнули ее губы.

Кажется, я начинаю понимать ее речь. На табличке под ретушированной фотографией было выведено красивым почерком: «Освальд Гауцель, путешественник, исследователь Индии, хозяин гончарных промыслов. 1901-

1981». С фотографии смотрело вытянутое, большеглазое лицо, обрамленное длинными прямыми волосами.

- О-о-о-освальд, - повторяет Дорел и накрывает фотографию ладонью.

- Вы любили его?

Она молча смотрит на меня и улыбается своей страшной улыбкой. Потом пишет: «Нас тайно венчали, хотя в церкви был дом культуры. Там показывали кино и устраивали танцы. Но мы венчанные. Хотя я крестьянка, а он барин. Он женился на мне, мой Освальд. Он потерял оба глаза. Он не мог меня видеть и все равно любил».

Храня их давний секрет, старая церковь смотрела на нас исподлобья, постанывая сгнившими деревянными перекрытиями на ветру. Ей успели вернуть христианский облик в конце 1980х, и даже отслужили пару месс, но тут лепрозорий закрылся. Я закрыла глаза и представила себе, как выглядело их тайное венчание - священный обряд для тех, кто для церкви уже умер, кого отметила своим скорбным избранничеством эта странная болезнь.

- Когда нам разрешили выходить и гулять на воле, Освальд уже десять лет как умер. Я была рада, что мы стали свободны. Но мне было незачем ходить в город. Мне хватало леса. Я не хотела пугать людей.

Мне кажется, я испытываю что-то похожее. А может, не только я. Во мне окончательно изменилось что-то и пропала потребность в общении с себе подобными. Как Дорел и ее друзья по несчастью когда-то, я очень давно не выхожу на улицу. Меня не сдерживают ни колючая проволока, ни КПП по периметру, ни даже закрытые границы и отмененные рейсы. Около года назад тихо, не привлекая внимания, сняли все эти бесполезные ограничения. Стало ясно, что рассчитывать на вакцину не стоит, что коварным вирусом можно заболеть неоднократно, а иммунитет нестойкий и у большинства вообще отсутствует, что ковидные паспорта и многочасовые проверки в аэропорту, двухнедельные карантинны и миллиарды тестов - совершенно бесполезны. Кто заболел и когда - не ясно, кто поправится, а кто обречен - тоже. И

ужас сменился усталостью и апатией, перемежаемыми вспышками нездоровой ажитации. Как много раз в бестолковой человеческой истории мы расписывались в собственной несостоятельности и уязвимости. И были вынуждены отдать себя в руки судьбы, природы, бога. Мы сняли с себя ответственность за нас самих.

Вчера с балкона я видела ковид-положительную свадьбу. Таких теперь много. Человек приспособляется ко всему. Но в судорожном веселье такого празднества есть что-то обреченное и одновременно бесшабашное, как в венчании Дорел и Освальда. Прилежно переступая на степ-машине, которая стоит у меня теперь на балконе, я одновременно впитывала солнечный свет, дышала свежим воздухом и тренировала сердце. Верх функциональности при минимуме затрат. Вот уже больше года - это моя имитация прогулки. Но что-то буксует в этой попытке придать смысл абсурду. Я перебирала ногами и смотрела на гостей с закрытыми лицами и ковид-положительных молодых, триумфально срывающих кружевные и атласные маски, чтобы обменяться поцелуями. Сделает ли общая болезнь или условное кратковременное здоровье их более преданными друг другу? По сути, ковидная свадьба - это оксюморон, потому что брак предполагает рождение себе подобных, а суть сегодняшней ситуации как раз в том, чтобы не дать размножаться людям, чьи гены делают их подверженными вирусу. Это неудобосказуемый контролируемый естественный отбор, как и с другими неизлечимыми прежде болезнями. Запертые в лепрозориях, несчастные больные умирали, не оставляя потомства. Более того, природа как будто перепроверяла людей и часто поражала органы размножения прокаженных, делая их бесплодными. А чудом родившихся здоровых детей у родителей отбирали и отправляли в дома ребенка и интернаты.

По пути назад я зашла в деревенский магазинчик. Здесь продавались все те же эклеры с творогом, только похуже, развесное сливочное масло, творог и необычный черный

горох. Сбоку на пороге магазина я заметила корзинку с продуктами. Продавщица усмехнулась:

- Это для Дорел. Она приходит рано утром или поздно ночью, чтобы никого не пугать.

- Но почему ее там бросили одну? У нее нет родных? Должно же государство о ней позаботиться.

Продавщица машет рукой.

- Куда там. Когда колонию закрыли, сначала хотели сделать там богадельню, но обычные старики отказались жить в лепрозории, даже после дезактивации. Их распределили по другим домам, а Дорел осталась. Она сказала в муниципалитете, что за ней приедут родные, показала какое-то поддельное письмо и стала их якобы ждать. Дом хотели снести, он ведь аварийный, но потом объявился наследник в Германии. Он собирался приехать и восстановить поместье. Но говорят, внезапно умер несколько лет назад. Вот так все и тянется. Будете что-то брать?

- Пару пирожных и вот эти апельсины - добавьте, пожалуйста, все это в корзинку Дорел.

- Дорел, Дорел, вы не первая спрашиваете. А что Дорел? Вы знаете, сколько ей лет? Она там одна, никто к ней не заходит, только случайные туристы или любители полазать по заброскам. Да что говорить, все скоро закончится естественным путем.

Покидая колонию, я оглянулась - Дорел махала мне рукой вслед. Она стояла вплотную к воротам, но не переходила невидимой, но непреодолимой границы. Калитка была открыта, но открытый изолятор - это не символ свободы, а скорее знак опасности и неспособности ни двинуться вперед, ни вернуться назад. Так и наш мир превратился в тюрьму с распахнутыми настежь воротами, напоминающими лишь о том, что мы оказались бессильны. Не случайно далеко не все узники ринулись на волю, особенно когда поняли, что никакой разницы между тем миром и этим, в сущности, нет. Все равно, уйти или остаться.

Я что-то нажала и всё исчезло

Новая примета флирта: когда хорошенькая женщина входит в помещение, мужчины как бы случайно опускают маски.

В банке прекрасный блондин взрослых лет, в кудрях и в маске под подбородком, говорит куда-то в пространство «сколько же времени?»

«Полвторого», - отвечаю я, и он вздрагивает — ну в самом деле, Тель-Авив, Алленби, с какой стати его должны понимать по-русски. И тут же слышу позади бескомпромиссное: «Сегодня в шесть идём пить к Ане».

«Город захвачен», - думаю я:

— А что, бабка, евреи тут есть?

— Видали на днях парочку, огородами утекли.

Реальность смывается, как свежий акварельный рисунок, который кто-то размазывает мокрой кистью: только что здесь была густая зелень и синь, а вот уже видна фактура белой бумаги.

Это я виновата, много беспокоилась вчера о родителях, к которым хорошо бы рвануть и быть рядом. И что последние дни настают и следует встречать их в оснежённом Подмоскovie, там хоть картоху по весне посеять можно. А здесь что, здесь пустыня, я пропаду.

А в результате в тёплом морском воздухе вдруг холодок, колкая льдинка, март, возлюбленный из месяцев, самый красивый брат с тонким лицом и волчьим взглядом, с которым, наверное, выживешь, но сердца не соберёшь.

И я, старая цирковая лошадь, немного выпрямляюсь и поправляю на лбу невидимый пышный султан из перьев.

*

С продавщицей говорили:

— Вы понимаете, что это манка, а не мука? — спрашивает.

— Мне её и надо, я тот человек, у которого правда всё кончилось: манка, соль, сахар, спички.

— И у меня, — говорит продавщица, — сижу тут на продуктах, а в доме пусто. Но это ведь долго не продлится.

— Мой муж из-за границы едет, — говорю, — нам в карантине сидеть.

А сама думаю: конечно, не продлится, какой разговор. Тут жизни всего ничего, долго ничто не бывает, всё не навсегда, особенно быстро кончается масло.

Не получается только отделаться от чувства, что как заболела я перед новым годом, так и не поправилась, то ли умерла, то ли в бреду до сих пор, и мир раскручивается вокруг на медленной карусели, поёт мультяшным голосом итальянскую песенку, и сначала смешно, потом тошнит, потом уже страшно, а слезть не можешь. Но и это не продлится, раз верный человек пообещал, так и будет.

Муж вернётся и решит, что ему подменили бабу: носится с оккупантскими сумками и хаотично тащит в дом еду. Ладно, сумка у меня хоть и большая, но деликатная, из флорентийского магазина Ram, что на via Nazionale, а всё же муки туда влезает два пакета, овощей, курей всяких, того-сего. Где теперь та Флоренция в своих голубых и розовых платьях, где маленькие ножки в красных туфельках, что бегали по мощёным мостовым из музеев в музей? Топают с рынка в супермаркет, обходя по широкой дуге редких прохожих. Муж приедет, сядем в карантин, станем развлекаться едой, буду из теста лепить птичек, каждой маленький глазик из горошинки, а на крылышках напишу: Firenze, Roma, Barcelona, Paris. Лети, птичка, с востока на запад, через север, через юг, не возвращайся, незачем.

*

Так-то я в панике, конечно, потому что конец света — концом, а арендная плата по расписанию. Когда бы не это, то что мне сделается. Тель-Авив пуст, холодильник полон, коты пуховы, с моря дует чудесный тёплый ветер, если не дождь, а если дождь, то ещё и свежо. Выйдешь за пищей, а там мир Бредбери, притом без особой трагической ноты

пока — город как никогда похож на серого слона, который медленно дышит, подрагивая бетонными боками; люди есть, но затаились и ощущаются как единый живой организм — немного боится, но в целом бодр, сидит в укрытии, ждёт, умирать не хочет.

Золотое время, если бы не финансовая тревога и родители были в безопасности, а так нет. Зато в зоопарке Рамат-Гана родился слонёнок, которого по родословной полагается назвать на П, и все шутки, которые у вас есть по этому поводу, уже перешутили. Хорошо, что я ничего не решаю на свете, а то назвала бы Пушок, мучился бы всю жизнь — тяжёлый, лысый, кожаный, а сердце, как у цветка.

*

«В Израиле, начиная с 20 марта, введены ограничения на передвижение населения. Из дома можно выходить для приобретения продуктов питания, лекарств и получения медицинской помощи»

Ночь не спала — куда там спать, я в тревоге, и в семь утра уже подорвалась в банк, потому что страшную весть принесла в мой дом пресса: с восьми вечера у нас запретят отходить от дома далее, чем на сто метров.

И как ответственный гражданин, я надела на правую руку перчатку, видимо, с левой, хотя по резиновым не поймёшь. Думаю, банкомат трогать, двери, надо предохраниться.

А у меня, знаете, какая-то сенсорная хрень, которая не даёт носить шапку, перчатки с пальцами и трусы-танга. Не знаю, какая связь, но от этих предметов на себе я дико и бесповоротно тупею. Мозг уходит в отказ, и я до сих пор не понимаю, где же он у меня в таком случае расположен.

Ну и в результате осознала, что правую держу подогнув, как тиранозавр, а всё делаю левой. Кое-как справилась с транзакциями, пошла к магазину за маслом. Там уже какая-то женщина стоит, очередь на улице теперь. И она мне что-то говорит, по-русски, конечно, а я ей вроде отвечаю близко по смыслу, но понимания не возникает.

И тут я думаю, что у меня наверняка корона, потому что один из симптомов — потеря вкуса пищи. А я, очевидно, потеряла смысл слов, и это точно оно (да, и логику тоже).

В общем, в конечном итоге я прорвала дырку на большом пальце и разобрала, что эта женщина тут работает, а магазин откроется в восемь. А сейчас, сюрприз! всего семь тридцать.

Содрогнулась и поскакала дальше, а перчатку выкинула от греха, убьюсь я в ней, как летучая мышь в наушниках.

Вернулась домой, но всё не могла перестать скакать, решила напоследок побегать по берегу и, по ассоциации с предыдущей мыслью, в наушниках. Последний раз я бегала, не считая за автобусом, в средней школе, поэтому посмотрела ролик, как там чего ноги ставить, влезла в кедки, песню включила, вышла к морю и побежала, будто птичка. То есть точно, как они на своих коротеньких ножках бегают — как могут. И так легко мне, так вольно, что готова, кажется, бежать целый день. Каково же было моё удивление через пятьдесят метров.

Ладно, побрела шагом, а музыка тем временем вошла в эмоциональный штопор — я слушала альбом с органичным для меня названием «Музыка бедных» и дошла до «Ломбардии». Это такая удачная песня, что я могу подпевать ей по-итальянски — лёмбарДИя ляляляля лёмбарДИя. И вот иду я, пою как умею и понимаю, что слёзы не то чтобы застилают мои глаза, но были бы уместны, ведь прямо сейчас эта несчастная лёмбарДИя гибнет, а буквально с восьми вечера меня отлучат от моря, а уже завтра и вовсе придётся в жёсткий карантин с мужем. А море при этом прекрасное, как сама любовь, пустое, ветер с него дует тёплый, но свежий, а солнце незаметно раскрашивает мне нос веснушками. И я понимаю, что есть неиллюзорный шанс этой весны больше не увидеть, и ладно бы я умерла, так нет, карантин затянется до лета и в конце концов выплюнет нас, изрядно пожёванных, в душный липкий июль. Иду и всею собой чувствую эти истекающие часы, думаю при этом: дура ты дура, что мешало тебе ходить вот так всю предыдущую неделю и ранее, пока нас не закрывали. И вся жизнь твоя дурацкая стоит на этом сожалении у порога — эх, чего же я раньше-то...

А потом песенка сменилась на Аресаг, это про машинку. И так она была зажигательна, что я с некоторым смущением начала поддёргивать руками и подскакивать ногами на ходу. Так и шла вдоль моря, приплясывая, как заневестившийся бегемот — народу мало и стыда немного. К тому же, сказала я себе, не все свидетели доживут до лета. Да и не было никому дела друг до друга, каждый проживал своё расставание с этой набережной, как умел. Кто плясал (не я одна тут не в себе), кто бежал, кто смотрел на воду. Подобрала в песке ракушку, как всегда, когда уезжала с моря.

А совсем вечером, около семи, выбралась за морковкой (маленькой, детской), возвращалась по набережной. Дошла до яхтенной стоянки, чтобы послушать, как звенит такелаж, это самый утешительный звук в мире. Обидно мне, зачем жизнь так обошлась с весёлым городом Тель-Авивом, зачем разломала наши способы существования, зачем всё испортила, когда не ждали?

На обратном пути без двадцати восемь приехала полиция, спросила, куда я, ответом удовлетворилась — началось. Но мы, конечно, ещё выйдем к морю все вместе и обнимемся, как дураки, со всеми, кто сегодня плясал, бежал, смотрел на воду и немножко плакал. Но попозже, не сейчас.

*

Март — мною избранный месяц для любви, перемен, удачи, путешествий, счастливых и душераздирающих впечатлений. Есть ещё июль, когда я родилась, а март сама себе назначила лет пятнадцать назад и ни разу он меня не подводил. Самый сложный из любовников, нервный, неверный, красивый, как сон — это всё март. И в нынешнем году я ждала всякого, но это уж слишком — будто возвращаешься домой на крыльях любви, а там всё заблёвано, цветок твоего сердца допивает с бабами ваш коллекционный абсент, у одной твои тапки на ногах, на счету минус, и он тебе такой — о, пожрать догадалась принести?

Что ж ты, март-баловник хренов, натворил, чародей-потаскун, хочется спросить с тоскливой нежностью. Как же мы теперь разберёмся с нашей неизбывной любовью, нашей квартплатой и нашим триппером, а? а?

Молчит, улыбается, как волк, курит красиво, а потом пожимает плечами — да ладно, чёт ты грузишь, пойдю.

И ушёл, а я плачу.

*

Время такое, душа моя, что пишешь письма на адреса, забытые лет десять назад. Более поздние — чересчур живые, фейсбук приносит фотографии, и при первом же взгляде понятно, что мне нечего сказать этим отяжелевшим мужчинам, слишком многозначительным для подлинной силы и слишком тревожным для хороших любовников. Да и не станут они слушать эльфа, оказавшегося поддельным — ведь настоящие не стареют, не толстеют и кудри их не распрямляются в отсутствие химической завивки.

Ты же помнишь меня прямоволосой, и пишу тебе я, прежняя, тому, каким ты был в ледяном марте, в самый тяжёлый год из всех моих, не считая нынешнего.

Живу я теперь очень просто. Встаю в три утра и ставлю хлеб, чтобы был к завтраку. Мама однажды сказала «тесто на ощупь должно быть, как женская грудь», и более никаких рецептов, но мне, ты знаешь, хватило — каждая женщина учит дочь всего одной вещи, и мне с моей повезло.

Выхожу вынести мусор в половине четвёртого ночи, так что денег не будет, но днём нельзя, мы в тотальном карантине, чтобы не заразить окружающих гриппом, которого у нас нет, но быть может (в сети его уже назвали вирусом Шредингера, правда, хорошая шутка?). Могла бы выйти и в час, но ты понимаешь, около трёх баки вывозят со двора на улицу и у меня появляется формальный повод пройти метров на сорок больше, а это в моём положении бесценно.

Сегодня я вдохнула ночной воздух, а он горячий. Пришёл хамсин, весна заканчивается, а я её толком не видела, вот где горе. После Песаха дождей не жди, Кинерет в этом году не наполнится, а ведь осталось сантиметров

тридцать. Это озеро такое с пресной водой, важное для жителей пустыни, вечно его вычерпывают до дна и всё время ждут, что однажды зимой оно всё же нальётся до краёв и тогда откроют дамбу Дгания, чтобы выпустить лишнее. Я надеялась, что это случится сейчас, и кто-нибудь меня отвезёт посмотреть на воду, которую ждали двадцать восемь лет — столько ты жил ко дню, когда я в тебя влюбилась (последний раз она открылась в 1992 году). Воот, а потом подумала-подумала, и знаешь что? да ну его нафиг. Ты девяносто второй помнишь? Гайдаровская реформа, когда жрать не стало, Югославию разорвало и многих убили, и в Карабахе столько людей, совок весь переколбасило, Грузия воевала Абхазию, Приднестровье запылало, а главное, Марлен Дитрих умерла. Вдруг не к добру эта Дгания — сейчас ещё тридцать сантиметров осталось, а смотри уже что творится.

Скоро Песах, в садике Сюзан Даляль зацветут грейпфруты и густой сладкий запах накроет маленькую площадь, на которой меня не будет. Не будет меня и на берегу, до него мне двести двадцать метров. Но наш личный жестокий карантин закончится, останется всеобщий, когда можно выйти на сто — а значит, я выйду на перекрёсток Яркона и Трумпельдор и в просвете увижу море.

Видишь, у меня впереди большие планы, будущее определено и обещает быть лучше, чем моё настоящее — не этого ли я желала?

Не этого.

Я желала никогда не стареть, любить тебя, оставаться худой, иметь свой дом и бессмертного кота. Ничего не вышло, ничего.

Вышли, вот видишь, книги, буквы, в которых мы с тобой молоды и прекрасны, как два персонажа Китано — ты со своим мечом, и я - твоя кукла с крошечными ступнями, которые помещались на ладонях. Помещаются и сейчас, но не на твоих, и никто из нас о том не жалеет.

Я надеюсь, душа моя, что ты себя помнишь. Меня не нужно, обязательно помни себя, такого красивого, худого,

любимого, горячего, нервного и всем чужого. Хорошо бы ты остался таким ещё где-нибудь, кроме моей памяти, которая ненадёжна (хотя я всё записала).

С тех пор по завету Иосифа прошла целая жизнь, в которой я люблю только буквы и цифры, кота и ещё одного мужчину, на этот раз, взаимно. От нас с тобою в ней не осталось ничего, смотри-ка, даже мир, бывший для нас подложкой, рассыпался, иссохла трава — ложе наше, сгорели кипарисы и кедры — стены наши и кровля, шумные базары и площади городов наших опустели, и бесполезно спрашивать стражей, где возлюбленный мой — он в карантине, и там, где была нефть по восемьдесят, теперь она по тридцать пять.

Поэтому, прощаясь, я тебя не целую, ухожу из твоего сна, ни чихнув, ни кашлянув, а только нашептал на ухо ту колыбельную, из-за которой много плакала тогда, «alltheprettylittlehorses». Проснёшься в слезах, знай, это мои.

Обнимаю длинными мытыми руками, ничего не бойся,
М.

P.S. Любила. Не забудь — я забыла, а ты помни: очень тебя любила.

*

Разговаривала с ребёнком и случайно обнаружила актуальный аналог материнского «ты в шапочке?!» — «ты в маске?». Притом я думала, что родительская машинка у меня давно заржавела, но нет. Заодно поняла, зачем они это делали: не только лёгкий способ проявить заботу, иллюзия контроля над ситуацией и здоровое желание подоставать беззащитное маленькое существо. Это ещё и заклинание. Кажется, спросил вслух, и Господь такой — а, ну да, этот в шапочке, этого не трогать, он мамин.

А старики, говорят, неуправляемые — они же бесшабашные, как берсерки. Дома не сидят, карантин нарушают. Мои сказали, что готовы, если что. И кто я, чтобы регулировать их отношения с собственной смертью, они же не мои кошки и сами распоряжаются остатком своей жизни.

Сейчас, конечно, популярно мнение, что старички - это те же дети-идиоты, которых надо контролировать и особо им воли не давать. Но вот папа у меня реально очень умный, сильный и аскетичный человек в свои семьдесят восемь. И он уже в течение жизни сделал ряд выборов, которые точно не сделала бы я, и в последние годы тоже. И что, его в психушку надо было запирать или достаточно устраивать скандалы и давить на сознательность?

Когда я совершаю то, что не подходит ему, вообще никак, он молчит, а потом говорит «я тебя во всем поддерживаю». Я его отсюда и поддержать не могу, но, да, он уже в том возрасте, когда имеет право есть колбасу вместо супа и салата, ходить по улицам в эту беспощадную весну и не бояться смерти. Не потому, что сможет её избежать, а просто — не бояться.

*

Сознательно перевернула график и сплю днём, так легче пережить, что кругом жизнь, а я не вижу. Зато всю ночь чудесно работается, получаются самые лёгкие и счастливые страницы в книжке, а когда засыпаю - кажется, что я на лодке. Закрываешь глаза, и всё немного кружится, покачивается, под тобой зелёная вода, сверху нежаркое небо, на щеках соль, проснёмся завтра, а всё хорошо.

Психика отчётливо сдвинулась, и вследствие этого чувствительность и сострадание повысились до невиданных высот. Причём, отдельные люди мне как были безразличны, так и остались, но я теперь сопереживаю всему человечеству целиком, остро ощущая кризисы коллективного бессознательного.

Жаль наш растерянный мир, который внезапно стал пуст, безвиден, стоит, уронив руки, и не понимает, где все. Вся эта прелестная, тщательно выстроенная культурка, все эти планы миллиардов — не миллионов даже, взлелеянная система иерархий и ценностей — всё пошло к чертям. Последние времена наступают, небо упадет на землю, а Apple продаёт новую бюджетную модель с дорогой начинкой за пятьсот евро.

Кажется, будто у нас решили изъять несколько месяцев жизни и огромное количество достижений, притом у всего человечества сразу. Это как денежная реформа в шестидесятые, когда на деньгах зачеркнули нолик — только нам зачеркнули нолики на всём, даже на собственных наших амбициях, талантах и навыках. Будто было у тебя маленьких, но верных пятнадцать сантиметров, а стало вдруг полтора, даже в руку не взять.

Когда это закончится, мы выйдем на улицы, подслеповато шурясь и припадая, бледные, растолстевшие и голодные, с облупившимся шелаком на ногтях, на пару лет старше, чем были в феврале. С такими лицами сейчас ходят гордые тель-авивские коты, лишённые еды и людей, которые их почитали.

И мир сейчас - то ли потерянный подросток, то ли котик, которого нужно обнимать большими руками, но некому. На Песах все очень ждали Машиаха, но опять не пришёл, католики тоже подвели, остался шанс у православных. Ну хоть благодатный огонь не упустите, вся надежда на Его Божественное Блаженство Патриарха Святого Града Иерусалима, да не отсыреет зажигалка его.

А пока что некому нас обнимать, некому рассыпать корм, возвращать игрушки, некому сказать «не бойся». И потому в эти дни блаженны лжецы, смеющие утешать друг друга, обещать, что скоро всё наладится или хотя бы сказать «я люблю тебя и никуда не денусь, ну что ты так орёшь, иди, шейку почешу».

*

С превосходством смотрю на клерков, открывших для себя работу на дому — путают, вишь ты, внутренний туризм с внутренней эмиграцией. Настоящий фрилансер, как запертый индеец Зоркий Глаз, отказывается замечать, что у сарая три стены, отмене карантина не рад и не вполне понимает, из-за чего было столько шума. Клерк же лишь одним глазком заглянул в себя, узрел выбитые окна, помойки, проходные дворы, промзону - и в ужасе отпрянул. Или интеллигентски восхитился дичью и сранью, тихо

ликуя, что сейчас нырнёт в экскурсионный автобус и вернётся к нормальное столичной жизни.

Фрилансер же точно знает, что его отсюда не вывезут. Это не карантин, это мы вообще так живём.

У меня ужасная ностальгия, кажется, если не увижу дождя ещё пару недель, загнусь. Милый бог, верни меня обратно в Москву, в тогда, где мы смертельно юные, ослепительно несчастные и все живые. И каждый красив. Тогда мы лгали только любимым — о том, что будем верны им всегда и никогда не умрём. Относительно первого — это не нарочно, просто в воздухе было слишком много любви, я слышала её как тоненькую мелодию, как лёгкое дыхание марта в февральском ветре, как запах Мияки, прохладный и пряный одновременно — ловила его поверх горького городского ветра, вдыхала, начинала чувствовать чей-то взгляд, оглядывалась и неизменно его встречала. А дальше мы зацеплялись друг за друга, сначала невесомо, как пара пушистых одуванчиковых зонтиков, а потом всё плотней, всё крепче — будто соприкоснулись ладонями и переплели пальцы так, что не оторвать. И после этого вопрос, когда точно так же сомкнутся и переплетутся тела, был лишь делом времени, и обычно я не тянула.

Что же до смерти, то это тем более не нарочно. Но мы ведь вернёмся и станем плясать под дождём, возможно, голые, и это опять будет красиво, а не как сейчас. И я поэтому читаю новости и жду, когда откроется небо и просыплет на нас утраченные дни, полетят самолёты, время повернёт вспять и все мы вернёмся — в тогда.

*

Внезапно, но торжественно клянусь, что никогда больше не буду откладывать путешествий. Я, например, специально не ездила в Париж, потому что на его счёт у меня была девичья мечта. Я хотела туда поехать с влюблённым мужчиной, и чтобы не как обычно — найти билеты, отель, заплатить, вызвать такси и поехать в аэропорт, — а как в рекламе стирального порошка: он звонит и говорит «через три часа спускайся вниз и не забудь паспорт». И чтобы и дальше оно всё происходило

само, без малейшей моей заботы, только пропустить ту часть, где героиня выливает на себя вино и стремительно его застирывает, не меняя блаженного выражения лица.

Я так сильно этого хотела, что откладывала поездку, ожидая, пока появится этот чувак, или до тех, пока я окончательно не состарюсь и не уеду туда с пенсионерским туром.

Я откладывала поездку в Минск, к друзьям, потому что не срочно ехать в бывший совок, когда полмира не смотрены.

Я откладывала Барселону, потому что надо сначала в Венецию. А Венецию — потому что дорого.

Я откладывала даже Болгарию, там хоть и дёшево, но я ведь даже в Минске ещё не была.

А теперь смотрю новости о закрытых границах, потом на свой банковский счёт, потом репортажи о беспорядках и понимаю, что дура я дура.

Обязательно нужно раз в год приезжать в новую страну. Обязательно навещать друзей, которые почти под боком.

Обязательно нужно было ехать в Москву в январе, когда увидела, как мама выглядит на фото.

И если только будет ещё один шанс, я исправлюсь.

*

(С)ложное чувство, будто рассыпалась точка сборки и надо сделать несколько безошибочных микро-поступков, чтобы исправить совсем всё. Можно предположить, что я читала много низкопробного фэнтези в последнее время, но у меня и без того просыпается магическое мышление, когда я беспомощна. Вот только просто хлопнуть по спине недостаточно, Карлитос, поэтому рационализируй это. И я составляю списки, несколько списков.

Один скорбный, с несделанным из-за неврозов — не записалась, не сходила, не поговорила. Каждый из пунктов наполняет меня тоской, и я смотрю, можно ли его не делать совсем, а если нельзя - то когда выполнять, посредством чего и как, чтобы не больно.

Другой чрезвычайно бодрящий, с названиями текстов, которые я хочу написать, когда, сколько процентов работы готово.

Третий с несколькими графами — проблема, сколько денег нужно для решения, сроки; ожидаемые доходы, сроки. О степени моего отчаяния можно судить по второй части: если там появляется источник «выиграть в лотерею» и «продать права на переводы» - дела плохи.

Раньше это был самый функциональный из моих списков, но нынче посмотри в окно — в графе «проблемы» написано «мне не 25», и я не знаю, как к этому подступиться, сколько денег нужно, чтобы всё исправить. И снова я пытаюсь вычислить, где эта чёртова точка сборки, чтобы ткнуть в неё, и стартовые тиражи от десяти тысяч, самолёты снова летают и мама не плачет в телефонную трубку, на весах меньше пятидесяти кило, в зеркале — ах, настоящая я, а за окном, наконец, дождь, первый осенний «йорэ», обильный, пока ещё тёплый и мутный, но обещающий прохладные и чистые потоки, смывающие всё. Пыль и жару, неудачные акварели, лишнее тело, вирусы, время, тревогу, неправильную жизнь — мне, кажется, совсем немного осталось сосредоточиться, чтобы её разглядеть, чёртову точку.

Ярче

— Чувствуешь, как весной пахнет?

За ночь двор занесло снегом, а утром сугробы превратились в коричневое месиво. Нужно было позавтракать, а для этого выйти за хлебом, проделав длинный, опасный путь в соседний двор. Десятилетний сын предлагал сходить самостоятельно, но я боялась, что по прибытии хлеб превратится в пончики. Наш спор о вреде хлебобулочных изделий затянулся. К вечеру мы выдвинулись вместе, но тормознули у дома — вдохнуть аромат улицы.

— Даааа... — мечтательно протянул ребенок, стянув под нос медицинскую маску, теряя равновесие и падая в грязь. Цепляться в грязи было не за что, поэтому я полетела вслед за ним. Из черной лужи мир казался ещё свежее. Мы выползли на свет, отряхнулись и пошли в темноту.

— В темноте пахнет зимой! — заметил сын и, на всякий случай, остановился. Я резко шагнула в сторону и осмотрела периметр. На углу, в тусклом свете нервного светофора полоскался человек. Мы присмотрелись и узнали соседа. Это был мужчина средних лет из квартиры сверху, из квартиры снизу, из соседнего подъезда, из дома напротив. Это был вездесущий, среднестатистический, клонированный сосед, всегда поддатый и ласковый, в черной куртке и черной шапке, по вечерам обладающий повышенной парусностью. Его сносило собственным перегаром к самому краю дороги. Медицинской маски на нем не было.

Мы с ребенком переглянулись.

— Я не хочу его трогать, — заныл сын. — Пусть падает мимо нас!

— Он сейчас под машину попадет. Тебе его не жалко?

— Он без маски! Ему самому себя не жалко!

Сосед тем временем доплелся до указателя, закутился вокруг него спиралью и осел в мокрый снег.

— У него нет костей, я тебе давно говорил! Или он резиновый!

Из курса жизненного опыта общей реанимации Склифа я помнила, что пьяные не только хорошо гнутся, но и с трудом ломаются. Падая с пятого этажа, бухарик может не покалечиться и даже не получит отек мозга. Весь секрет в том, что в расслабленном состоянии кости не такие хрупкие, как в напряженном, а сосуды пьющего не поддаются тяжелому отеку, поскольку во многих местах закупорены.

Повредить мозг алкоголика так же трудно, как и найти.

Но вслух говорить я этого не стала. Раскрывать военные тайны подрастающему сыну не было никакого педагогического смысла.

Какое-то время мы с ребенком отстоялись в темноте, оценивая суммарную грузоподъемность. Данные не сходились. Сын настаивал на невмешательстве:

— А если он заразный? Давай позвоним в полицию или в «скорую»?

— И они приедут послезавтра, если вообще приедут.

— А в психиатрическую? Есть же такая?

— Тогда они увезут большую часть нашего района.

Сосед, все это время безрезультатно пытавшийся подняться, горячо обнял столбик и уронил голову. Через минуту послышался храп. С чистой совестью опытных следопытов мы пошли в магазин.

На прилавках цены радовали неузнаваемостью. Если руководствоваться названием сети, то жить стоило «Ярче», но расходы на продукты явно противоречили этому лозунгу. Ценник поднимался с каждым днем на один рубль. Мы выдвигали разные объяснения такого маркетинга, но решили остановиться на самом позитивном. Вероятно, постоянных покупателей пытались уберечь от инфаркта.

Мне всегда было интересно понять, откуда начинается рост цен. Где эта точка, этот один единственный человек, принимающий решение сделать тяжелее жизнь миллиарда

людей. Где-то же он должен быть?! И почему ни один ушлый журналист до сих пор его не нашел? И почему я не продала эту идею какому-нибудь независимому американскому изданию и не открыла сбор на оплату услуги профессионального киллера?

Так я думала, набирая необходимое и протискиваясь между покупателями, забившими узкие карантинные проходы, похожие на мышиные норы.

Русский потребитель удивительно терпелив. Он готов смириться с любыми лишениями, молчать как слабосоленая рыба, потерять последнее. Одно лишь может возбудить его сознание и пнуть на подвиг самовыражения — лишение его собственной норы. Именно поэтому наш маленький район, несколько лет назад пущенный под реновацию, выстоял в неравной борьбе. Пролетарии вдруг обнаружили признаки гражданского общества и высыпали на улицы, чтобы отстоять свои добротные сталинки. Испугались все, но не владельцы магазинов. Наоборот, цены в районе подскочили, особенно после введения карантина, когда еда стала последним источником радости. Сегодня на ценники уже никто не смотрел, тем более до нового года осталось всего две недели. Теперь все дни стали похожи на праздники. Наконец-то люди зажили сегодняшним днем.

Вот так растешь, учишься, пашешь, стареешь, строишь грандиозные планы, а потом все рушится в один момент, потому что какой-то крестьянин в далекой китайской деревне, выпив, видимо, лишнего, сожрал недожаренную дичь. Один единственный человек, запустивший спираль роста цен и чудовищного падежа народонаселения планеты. Но он ли виновник? Интересно, виновника нашли?

У жизни все-таки есть чувство юмора, и оно черного цвета.

Мы с ребенком всегда предпочитали зеленый. Потому что после пяти лет моего вегетарианства, а затем мясной деградации этот цвет напоминал мне о моральных ориентирах. Когда-нибудь я снова перейду на осмысленное

питание и смогу привить его сыну. Пока мне удалось только передать любовь к зеленому цвету.

Может быть, поэтому нас тянуло к зеленой вывеске ближайшего магазина «Ярче», где продавцы и кассиры родственному носили маски ниже лица и жаловались друг другу на жизнь в присутствии покупателей.

— Вот так и проведу, и встречу НГ: возьму банку пива, сяду на МЦК и поеду по кольцевой!

Кассирша средних лет в белой блузке и зеленом фартуке быстро перекинула продукты через кассу и, посмеиваясь, продолжила:

— Ну, а что? Так дешевле всего. На остальное нет денег. Остальное нам теперь не по карману!

Она натянула съехавшую маску и подала мне оплаченные продукты.

Молодой продавец, к которому обращалась кассирша, равнодушно продолжил выкладывать товар на полки и никак не прореагировал на признание.

Мне захотелось поддержать женщину, подбодрить, но потом я представила себя на ее месте, вспомнила о мирной жизни, и с меня слетела вся ирония.

Одиночество и электричка, меняющийся пейзаж, любимое нефильТРованное пиво. Когда только открыли МЦК, я взяла сына, села в новенький вагон, чтобы нарезать четыре круга по верхнему метро. Вдоль линии путей город открывался заново: заброшенные здания, пустыри, куски неухоженных парков будто проснулись от забытья, выстроились в ряд и звали углубиться в неисследованное пространство. Весь следующий год я сходила на незнакомых станциях и шла куда глядели глаза. Только пара остановок были оставлены «на потом», потому что стеклянные крыши выходов и новенький, ещё пахнувший углем асфальт, обрывались лесом — глухим и пугающим. Тогда я брала на прогулки новых друзей, встречающихся мне с такой же периодичностью, как эти станции, и уже не ограничивала себя в познании.

Транспортное кольцо слишком буквальная метафора моей жизни, чтобы ее использовать. Точность метафоры не

сопоставима смыслу. Проговоренное становится ложью, поскольку точно называет то, что меняется ежесекундно. Рассказ всегда связан с уже произошедшим, и только поэзия способна исполняться — программировать сочинителя на будущие приключения.

Нет, мне было нисколько не жаль эту одинокую кассиршу из воображаемого новогоднего вагона. Я могла только завидовать ее ощущениям, ее открытию. Ведь чем меньше людей вокруг, тем четче голос жизни. Жизнь сама по себе приключение, где повороты сюжета ждут на каждом шагу. И тем она увлекательнее, чем ты более открыт. Все предположения исполнимы, все фантазии способны сбыться. И даже там, где снег становится коричневым и валяются бухие соседи, можно разглядеть радость находок.

Хорошо бы при этом не растерять реальность в виде купленных продуктов, рвущихся из пакетов — тонких, как финансовое благополучие.

На обратном пути мы вернулись к светофору с христианскими мыслями о том единственном китайце, которому вовремя не помогли. Вдруг мы бы запустили тот самый механизм, раскрутившийся затем в спираль несчастий? Я не могла себе позволить наступить на бабочку. Но оставленный спящим мужик таинственно исчез.

Зато у нашего дома мы нарвались на скучающую соседку, со всей социальной бдительностью ожидающую беспомощную, интеллигентную добычу. Мы всегда стараемся обойти ее активность метров за десять, но сумки не позволили осторожничать. Завидев меня и оценив мой перепачканный недоумением вид, она завопила на весь двор:

— Нет, ну вы посмотрите на эту мамашу! Рожает кто попало! Ты где валялась, курва?! Не стыдно тебе бухать при ребенке? Позорище!

Сын от неожиданности заржал конем. А я сгруппировалась, сконцентрировалась, открыла рот и выдохнула весь свой жизненный опыт.

Над подъездом горел тусклый свет, повидавший все оттенки декабрьских ид. Зима только начиналась. Вдалеке,

в палисаднике старого стадиона, одинаковые алкаши собирались стайками, чтобы испить обогащенный кислородом портвейн. Лужи чернели будущим. Там, в асфальтовой глубине, плавал набранный на печатной машинке текст. Буквы лежали плотными слоями, не оставляя просвета. Но среди этого наслоения можно было различить свои собственные слова, выступающие с каждым днем все ярче.

И мать их София

Только когда в салон приземлившегося самолета стали входить врачи в комбинезонах и масках, Надя осознала, что дело совсем плохо. Еще вчера, пока она безуспешно пыталась дозвониться до Пашки, покупала билет, собирала чемодан и неслась по ночной промозглой Москве в Шереметьево, все казалось приключением, заливчатской авантюрой. Стоя в толпе на паспортном контроле, садясь в самолет, пристегиваясь и взлетая, Надежда ежеминутно набирала Пашкин номер. Телефон молчал, мессенджеры тоже.

И теперь, приземлившись в Тель-Авиве, подставляя лоб под пистолет бесконтактного термометра, проходя вместе с другими пассажирами по пустым гулким переходам аэропорта под конвоем людей в перчатках и масках, спортивная блондинка в синих джинсах, белых кроссовках и худи с забавными зайчиками все ясней понимала, что это больше похоже на дурной сон, чем на романтический сюрприз. Надя подписала бумаги, в которых обязывалась отправиться прямо из аэропорта в карантин. Вышла в безлюдный зал прилетов и еще раз набрала Пашку. Ответа не было. Девушка скомкала пуховичок, запихнула его в чемодан и решительно отправилась на стоянку такси.

Через час она тоскливо обозрела темные окна и запертую дверь квартиры любимого. Паши дома не было. И, судя по почтовому ящику, дома он не был дня три. Выйдя из подъезда, Надя обнаружила, что такси еще не уехало. Почти плача, девушка бросилась к машине, постучала в стекло и сказала, что не знает, что делать.

- Не волнуйтесь, я знаю место. Прямо в центре, – проворчал таксист и протянул плачущей пассажирке пачку салфеток. Утирать слезы.

Очень скоро заплаканная, мертвая от усталости красавица, спортсменка, искусствовед и несчастная дура Надежда Свиридова плюхнулась на кровать своего карантинного пристанища и уснула в слезах, набрав безответно в сто первый раз номер телефона Пашки.

Люба закончила укладку, встряхнула у зеркала темными локонами и принялась накладывать крем под глаза. Гарик всегда звонил утром, по дороге в офис. Не в Любиных привычках было показываться пред карие очи любимого мужчины замухрышкой. Искусство выглядеть небрежно и естественно требовало времени и сноровки. Но Люба не сэкономила на том, что действительно важно. Всего после часа подготовки, включавшей душ, укладку, нюдовый макияж, тщательный выбор пижамы - и на видеозвонок отвечала не заспанная девица в мятой майке, но красавица, чье изображение могло бы украсить обложку журнала. Сегодня Люба добавила к алой пижаме и влажному блеску для губ еще и капельку дорогого парфюма. Понятно, что Гарик не сможет почувствовать дразнящий запах кофе, сливочной карамели и белых цветов, но для серьезного разговора и готовиться нужно было серьезно.

Планшет, пристроенный на косметичке, запиликал, на экране появился худощавый брюнет в костюме и очках без оправы.

- Доброе утро, мой котенок! – Гарик всегда говорил каким-то особым тоном, в котором сквозь теплоту проскальзывала насмешка

- Мууур, – протянула Люба, сложила губы сердечком и приняла позу, при которой бретелька алой маечки поползла вниз по круглому плечу, – я плохо спала, котенок. Я жду тебя уже неделю.

Люба отодвинулась от экрана так, чтоб камера показала грудь, едва прикрытую тонкой тканью. Мужчина на экране коротко выдохнул:

- Люб, ты что творишь, я на деловую встречу еду?

- А я тебя жду, котенок. Ты же прилетишь вечером, как договорились? Твоя девочка скучает, – девушка говорила нараспев, поглаживая себя по плечам и груди.

Мужчина на экране блеснул очками, сухо откашлялся, покачал головой.

- Нет, малыш, сегодня никак. У меня дел по горло. Но ты не волнуйся, я тебе сейчас денег положу на карту, закажи все, что хочешь.

Люба мгновенно выпрямилась, натянула бретельку на плечо и резким учительским тоном начала отчитывать Гарика.

- Я что, по-твоему, прилетела сюда сумочки заказывать? Я этой поездки год ждала! Ты мне обещал, что мы будем вместе целый месяц!! Тут гребаный карантин, я в гребаном мотеле, как дура!!! Не можешь прилететь - верни меня в Москву, пока самолеты летают!

Гарик не удивился перемене в Любином поведении. Он снял очки, протер их и снова надел, слушая бурный монолог "котеночка". Люба продолжала вопить:

- Ты меня не любишь! Я тебя, тебя хочу видеть, понимаешь!

- Малыш, я должен ответить на важный звонок, – прервал ее мужчина, – завтра поговорим и все обсудим, – и исчез с экрана.

Люба швырнула планшет на разобранную кровать, схватила сигареты и вышла на балкон. Ей срочно нужно было закурить.

На узкий балкон, опоясывающий здание, оборудованный диванчиками, парой стеклянных столиков и плетеными стульями, выходили несколько дверей. Под балконом стоял, задрав голову, мужчина средних лет и кричал с тяжелым английским акцентом:

- Вера! Вера! Поговори со мной, Вера!

Люба щелкнула зажигалкой, закурила и подошла к перилам. Мужчина взглянул на нее и на секунду затих. Люба довольно улыбнулась. Несмотря на то, что нельзя было увидеть глаза крикуна, на котором были темные очки, она понимала, насколько ошеломительный эффект

произвела, несмотря даже на то, что ее идеальные длинные гладкие ноги скрывало балконное ограждение. Эта маленькая бессмысленная победа подняла Любе настроение, и она уселась на диванчик ждать продолжения шоу.

- Вера, Вера! – не унимался мужчина, – seriously how long can this last?

Улица была пуста, локдаун разогнал по домам жителей кипучего Тель-Авива.

- Вера! Вера! Вера!

На крик одновременно распахнулись две двери, слева и справа от Любиной комнаты, и на балкон вышли две девушки. Одна, стройная блондинка в спортивном костюме, была явно расстроена. Глаза у нее припухли от недавних слез, волосы были собраны в спутавшийся хвост. Другая, коренастая обладательница ассиметричного рыжего каре, была настроена агрессивно. Угадать, кто из них таинственная Вера, не составляло никакого труда. На рыжей была черная фанатская футболка группы "Metallica", точно как и на мужчине внизу.

- Барри, убирайся! – рыжая перегнулась через перила. – Я не хочу тебя видеть!

- Вера! – Барри расплылся в улыбке. Люба с невольным интересом отметила, что мужчина, демонстрирующий седые виски и не самое спортивное телосложение, двигался легко и элегантно. Барри выглядел скорее крутым и опасным, чем нелепым, даже в этих странных обстоятельствах.

- Хани, Веруш, я очень за тебя волнуюсь. Я принес тебе кое-что, пакет на двери.

- Убирайся! В этот раз я не вернусь! – Вера ухватила за сухие листья вазон, стоящий на парапете, и ловко метнула вниз.

Барри не менее ловко увернулся и, улыбаясь, скрылся за углом.

- Черт, как же он меня достал! – сказала Вера, обернувшись к невольным зрительницам. – Привет! Я Вера!

А сделайте кто-нибудь кофе; я пойду, посмотрю, что он там принес.

И хлопнула дверь своего номера.

Девушки переглянулись.

- Я Надя, – заизвинялась блондинка, – у меня нет кофе, я чай пью.

- Я Люба, – ответила Люба, – я сделаю кофе. Иди, готовь себе чай.

Через десять минут Люба, сменившая пижаму на цветастый балахон, поставила на столик две чашки кофе. Надя уже сидела в углу диванчика. От ее кружки, разрисованной каракулями, ощутимо несло ароматом мокрого веника.

- Это дети с особенностями развития кружки оформляли, – объяснила Надя, проследив за Любиным взглядом, – для благотворительного базара.

«Фу, блаженная, – подумала Люба, разглядывая Надю, – чашку с собой из Москвы перла, а на самой ни косметики, ни украшений. Фу!»

«Боже, она проститутка! – подумала Надя, глядя на Любины подколотые губы, распрямлённые волосы, тщательный макияж, а главное, на серьги с бриллиантами в ушах у соседки. – Точно, проститутка!»

«Блин, только этих куриц мне не хватало, – подумала Вера, вернувшаяся на балкон с пакетом. – Что ж такое?!»

Собственно, это был не пакет, а объёмистая сумка с эмблемой супермаркета. Вера ногой подвинула стул, водрузила на него сумку и стала выкладывать из нее содержимое, прихлебывая кофе, за который кивком поблагодарила Любу. В пакете оказались флаконы с шампунем, ополаскивателем и мылом.

- Кому надо? – спросила Вера. - Я со своим приехала.

- Мне, – обрадовалась Надя, – я рассчитывала, что меня встретят, но не встретили, я вам сейчас деньги отдам, у меня есть.

- Не нужно денег, – ответила Вера, протягивая флаконы. – Барри добрый малый, ему будет приятно, что кто-то

сможет получить удовольствие от его заботы. От его гребаной заботы.

Плитка темного шоколада шлепнулась на столик в опасной близости с чашками. За ней полетели упаковки сухофруктов, сушек и семечек. Люба отодвинула свой кофе подальше от зоны обстрела и, чтобы как-то разрядить обстановку, обратилась к Наде, которая взирала на бушующую Веру с детским страхом.

- А почему тебя не встретили? Что случилось?

- Я сюрприз хотела сделать своему парню, – прошептала Надя, - а он трубку не берет, и дома его нет.

Надя задрожала губой и расплакалась.

Вера передала пакет Любе, обошла столик, обняла плачущую Надю и стала ее гладить по голове, нашептывая что-то на ухо. От этих утешений Надя просто разрыдалась. Люба в это время закончила распаковывать сумку, выложив на стол бутылку весьма недурственного виски, пару бутылок вина и сине-желтый баллончик.

- О! – Вера выхватила у Любы баллончик. – А вот это по делу купил наш Ромео. Мне надо идти работать, все съедобное оставляю в фонд соседской взаимопомощи, только это заберу, – Вера взяла баллончик и направилась к себе.

- А что это?– спросила ее в спину Люба.

- А это оружейное масло для чистки пистолета, – ответила Вера, не оборачиваясь, и скрылась в проеме.

К 32 годам Вера Гуревич успела приехать в Израиль, закончить престижную школу, отслужить в непростых войсках, закончить факультет кибербезопасности, снискать себе заслуженное имя в узких хакерских кругах и выйти замуж за темного гения финансового анализа Барри Шварца. Барри водил байк, Барри стрелял как бог, Барри менял любовниц, Барри зарабатывал нестыдные деньги. Вера влюбилась в дерзкого байкера, а получила располневшего «аидише ингеле», жаждущего тихой семейной жизни.

За три года брака Вера трижды уходила от любимого мужа. Это был четвертый заход. Они разругались, Вера

психанула и улетела в Чикаго, к свекрови, которая была подругой, психологом и немного стилистом. У миссис Шварц-старшей Вера отоспалась, посетила оперный театр и дивного парикмахера на Великолепной миле. Миссис и миссис Шварц заплатили пополам астрономический счет за стрижку и окрашивание, после которого стало ясно, что Вера на самом деле – рыжая бестия. Рыжая бестия полетела домой и угодила в карантин.

По счастью, Верины работодатели умели, если очень надо, устроить и быстрый интернет, и мощное оборудование мгновенно и везде. Так что прямо из аэропорта девушку привезли в номер, полностью подготовленный для работы.

Надя проснулась на мокрой от слез подушке. Пашка по-прежнему не отвечал. Он был её первой школьной любовью. Они расстались после выпускного из-за глупой ссоры. А через месяц Паша уехал по обучающей программе в Израиль, да там и остался. Они не виделись, переписывались, передавали приветы через знакомых. А потом Паша приехал в Москву, они встретились и не расставались почти месяц.

Потом Надя была в Тель-Авиве, а Пашка в Москве, а потом они договорились, что через месяц ее очередь. Но Надя села в самолёт, чтобы сделать любимому сюрприз. Первый раз в жизни девушка совершила спонтанный поступок. Теперь оставалось только плакать и ждать окончания карантина. Но сначала - принять душ и хотя бы с полчаса позаниматься йогой.

Три струи горячей воды ударили в трех душевых кабинках. Три фена с гудением высушили три прелестных головки. Хлопнули дверцы трех холодильников. Три девушки вышли на балкон в спортивной одежде.

По утрам дворник, сметавший мусор с мостовой под балконом, видел трех девушек, занимающихся спортом. Рыженькая практиковала цигун, блондинка стояла в позе дерева, брюнетка делала балетные растяжки. Эту сцену он наблюдал по три утра подряд. На третье утро под балконом Бари начинал кричать:

- Вера! Вера!

Пока Вера препиралась с Барри, оглашая тихую улицу ругательствами, Надя спешно разворачивала на столике пункт оказания первой помощи, расставляла чашки, печенье, минералку и стаканы. После диалога любящих супругов Веру приходилось откачивать. В это время коварная Люба разговаривала с Гариком. Гарик, слыша на фоне тоскующего голоса своей нежной Любочки взрывы чудовищной площадной брани, морщился и содрогался.

- Видишь, котик, - говорила Люба кротко, - мне тут непросто. Забери свою девочку из этого зверинца. Приезжай за мной, пааажалуйста!

Гарик беспомощно ссылаясь на дела. Люба разрешала слезинкам эффектно скатиться по щекам и, закрыв окошко видеочата, спешила на балкон. Надя нуждалась в контроле и поддержке, одной ей с Верой не справиться.

Барри, кроме скандала, приносил каждый раз сумку еды и дамской мелочевки, типа кремов, прокладок или трогательной упаковки ортопедических резинок для волос.

- О!! – орала Вера. – Он слепой, что ли?! Он что, не видит, что я постриглась?

- Видит, – отвечала Люба, отнимая у Веры коробочку прозрачных спиральных резинок, – видит, что постриглась. Но не сопоставляет. Мужик, чего же ты ожидала?

- Он тебя любит, заботится, – подпевала Надя, всовывая в дрожащие Верины руки чашку мятного чая.

«Дура», – думала Вера, отхлебывая чай; оставляла чашку и уходила к себе, работать

«Блаженная», – думала Люба, собирая волосы экспроприированной резинкой, и начинала утренние растяжки, задрав идеальную ногу на перила.

«Паша мне не отвечает! Да что ж это такое?» – думала Надя и усаживалась с книгой в уголке балкона.

По вечерам девушки устраивали совместные ужины. Вера приносила пельмени или картошку, Люба заказывала еду из азиатских ресторанов, Надя резала салат. Практически каждый вечер на стол выставлялась бутылка.

- Я не ем углеводы, и уж тем более пельмени, – брезгливо говорила Люба.

- Ненавижу всю эту восточную по-бень, – с насмешкой говорила Вера.

- Ой, я не пью вообще-то, – застенчиво говорила Надя.

Люба молча разливала выпивку по кофейным чашкам. Все выпивали, ожесточенно жевали пельмени, наливали по второй, варварски накалывали на вилки суши, таскали салат руками из миски после третьей. И говорили, говорили до полуночи. Девичьи разговоры, откровенные и смешные, доставляли девушкам огромное удовольствие. И выходило из этих разговоров, что рыжая валькирия Вера любит своего Барри почти дочерней любовью, в которой туго переплетены бунт и обожание, хотя сейчас преобладает бунт.

- Не, ну а чего он! – кипятилась Вера. – Чего он меня опекает, как ребенка! Я, между прочим....

Что кукла Люба влюблена в Гарика, как последняя лохушка. И что ей бы за него замуж, варить борщ и рожать детей, а он ей деньги сует.

- Я против бриллиантов ничего не имею, – Люба рассматривала свои кольца, горящие маленькими фейерверками, – но от кольца детей не родишь, а мне уже пора.

Надя в основном рассказывала, как они с Пашей гуляли в парке, как ездили вместе на Валдай, как она его любит, а он любит ее.

- Нежно, преданно и на всю жизнь, – говорила Надя.

- Ага, на всю жизнь, потому и не отвечает, – резюмировала бессердечная Люба.

- Ну, может, он умер, например, или в коме, – утешала Вера.

Веринины утешения обычно действовали безотказно. Надя начинала рыдать, и все расходилось по комнатам. Иногда тоже чтобы поплакать.

Этажом выше отсиживала карантин старушка с собачкой. Присутствие старушки выдавали лишь ежедневный двухразовый визит волонтеров из

зоозащитной организации, выгуливавших ее толстую апатичную болонку. Девушки, ни в чем не находившие согласия, в случае с болонкой единодушно считали, что животное бабка перекармливает и угробит.

На десятый день карантина парнишка-волонтер позвонил в Надину дверь и попросил взять болонку на пару дней.

- У бабушки сверху прихватило сердце, – пояснил он, – ее в больницу заберут. Внук только через два дня сможет приехать. Вы не волнуйтесь, мы собаку будем выгуливать, как раньше. Просто присмотрите за ней.

Надя, глядя в глаза псинки, уныло сидевшей на кафельном полу у ног волонтера, кивнула.

- Отлично, – оживился паренек и передал, стараясь не приближаться, в Надины руки поводок. – Ее Софи зовут, собачку, она милая. Погодите, я вам корм и все такое сейчас принесу. Под дверью оставлю, ладно?

Юноша припустил по лестнице вверх, крича "спасибо". Надя позвала собачку.

- Софи, Софи! - и Софи потрусила за ней в комнату, переваливаясь, как гусыня, на коротких лапках.

Когда «скорая» уехала от подъезда, Надя взяла толстенькую, довольно тяжелую Софи на руки и понесла на балкон, знакомиться.

- Да ладно! – сказала Вера и погладила болонку. – Только собаки нам не хватает!

Софи дружелюбно завилыла хвостом.

- Опа! – обрадовалась Люба. – Можно будет ролики снимать. Озолотимся! Софка, ты у нас будешь звездой ютюба? - Люба полезла к собачке с фамильярным поцелуем и была облизана.

- Девочки, не надо ее дразнить, – сказала Надя, прижимая собачку к груди. – Видите, она скучает по своей хозяйке.

- Да ты у нас зоопсихолог, как я погляжу, – закатила глаза Люба.

- Я, конечно, мало понимаю в собаках, но Софи не выглядит грустной, – заявила Вера и забрала болонку из

рук Нади, которая зависла. – Пошли ко мне, моя толстенная, я тебя накормлю.

И Вера ушла, унося с собой Софи, провожаемая удивленным взглядом Нади и веселым матерком Любы.

Софи принесла оживление в жизнь затворниц. Дважды в день приходили волонтеры, чтобы забрать собачку на прогулку. Девушки болтали с ними, шутили и флиртовали, провожали и встречали Софи с моциона. Надя мыла ей лапки после улицы. Люба вычесывала специальной щеткой, найденной среди песьих пожитков, украшала ее бантами, фотографировала соло или в компании девушек, а также безудержно селфилась в разных вызывающих нарядах с Софи на руках и выставляла все это в соцсетях, к неудовольствию Гарика. Вера пыталась Софи дрессировать, предлагая ей бегать за мячиком. Софи игнорировала дрессуру, груминг и славу фотомодели. Любую свободную минуту она проводила в сладкой дреме, свернувшись клубочком под диваном.

- Ленивая шерстяная жопа, – говорила Вера, перекладывая дремлющую Софи на сложенный плед.

- Ты жирная соня, – твердила Люба, бережно снимая заколки с Софиной челки, чтобы не дай Бог, не вызвать у спящей дискомфорта.

- Тише, девочки, - громким шепотом говорила Надя, накрывающая к ужину столик на балконе, – вы ее разбудите. И не кури тут, Люб, собаки не любят запах дыма.

Люба красноречиво переглядывалась с Верой, обе качали головами, но сигарету тушили, болтали потише и вообще очень сблизилась на почве ухода за Софи.

Последний вечер перед свободой подруги провели по комнатам. Паковали вещи. Решали, каждая для себя, как быть дальше.

Вера собиралась вернуться домой с утра, собрать вещи, пока Барри на работе, и переехать к подруге, а там посмотрим.

Люба собиралась прямым ходом в аэропорт. Билет она купила, дорогой и неудобный, с пересадками. Гарик дурак, найдем другого, который оценит.

Надя ночью пыталась дозвониться до Пашки. К утру, запихав свой нехитрый скарб в чемодан, она вызвонила бывшую однокурсницу, живущую рядом с Тель-Авивом. Однокурсница сказала:

- Конечно, приезжай, - и дала адрес.

Софин багаж Надя тоже собрала. Утром за болонкой должен был приехать хозяйский внук. Собака, кажется, предчувствовала разлуку и была расстроена, Софи с вечера, сразу после прогулки, забилась под Надину кровать и всю ночь жалобно поскуливала.

В заветное утро три девушки без всякого будильника проснулись очень рано. Три холодильника, пустых и чистых, хлопнули дверцами, отпуская последние йогурты для трех торопливых завтраков. Три девушки синхронно натянули джинсы и футболки, накинули куртки и взялись за ручки чемоданов, собираясь на выход.

На улице забибикала машина. Девушки вышли на балкон и обнаружили Барри, давящего на клаксон огромного джипа.

- Вера! – крикнул Барри, выглядывая из окна. – Поехали домой, детка.

Пока Вера обдумывала ответ, из-за угла одновременно выехали щегольский прокатный седан и старенькая малолитражка. Водитель седана вышел, сверкая очками без оправы и не глядя на балкон, направился к джипу.

- Вы Барри, да? – сказал он и представился. – Меня зовут Гарик, я приехал за Любой.

Люба, метнувшаяся было на площадку, чтобы бежать на улицу, опомнилась, вернулась в комнату за чемоданом и, отворив входную дверь, столкнулась с похudevшим, бледным и усталым Гариком

- Ты зачем приехал? – спросила Люба ледяным тоном. - И почему ты не в карантине?

- Я уже переболел, – ответил Гарик, одной рукой притягивая к себе Любу, а другой вытаскивая из кармана коробочку. - Выходи за меня замуж, котик.

Люба и Гарик целовались и не заметили, как мимо них, уронив на пол чемодан и оставив дверь нараспашку, вниз

пронеслась Надя. Надя едва не сбила Барри, поднимающегося за багажом своей жены, и выскочила, рухнув в объятия своего Пашки, стоящего в мятой военной форме у дверцы старенькой малолитражки.

- Я был на сборах, – Паша целовал Надю в заплаканное лицо, – нас по тревоге вызвали, я не видел твоих сообщений, Надюша. Я только ночью, только ночью увидел, и сразу к тебе. Не плачь, не плачь, поехали домой.

Такси, въехавшее в это розовое море любви, радости и суеты знакомств и прощаний, никто, конечно, не заметил. Из такси вышел тощий нескладный парень и, сверяясь с телефоном, поднялся на второй этаж, где вся компания поздравляла Любу с помолвкой.

Тощий парень некоторое время прислушивался к русской речи, потом откашлялся и в наступившей тишине сказал по-английски:

- Я Жиль, пришел забрать собаку моей бабушки.

- Софи! Софи!

Девушки засуетились, пытаясь вспомнить, видели ли в это утро болонку.

Софи не отзывалась. Собаку с вечера никто не видел.

- Она могла убежать, - сказала Вера. – Надо проверить на улице.

И Барри потопал вниз, проверить на улице.

- Она точно на балконе дрыхнет, – сказала Люба, крепко держа Гарика за руку. – Нужно на балконе посмотреть.

И поволокла Гарика на балкон.

- Она у меня под кроватью спала, бедняжка, я ей плед там постелила, - сказала Надя и повела Жилю и Пашку в комнату, лезть под кровать.

На визг через мгновение сбежались все. Жиль и Пашка стояли возле кровати и смотрели вниз. На полу, на сложенном пледе, лежала абсолютно безмятежная Софи, кормившая трех крошечных, похожих на мокриц, розовых щенков.

- Мать твою, София! Это что тут такое?! – рявкнула Вера, опускаясь на колени перед пледом.

- Щеночки, – пропела Люба, наставляя камеру телефона на счастливую мать с потомством.

- Хорошая, хорошая девочка, - шептала Надя, восхищенно почесывая Софи за ушком.

- Что теперь делать? – спросил Жиль, обращаясь в основном к ошеломленным мужчинам, брошенным самым наглым образом ради трёх плюшевых песиков.

Мужчины молчали, глядя на своих девочек с умилением. Девочки с умилением смотрели на щенков.

- Так что же мне делать? – снова спросил Жиль, наклоняясь к Софи.

- Тяв! – ответила Софи и лизнула его в нос.

Незаметное исчезновение Карасева

В Москве встречали Новый 2020 год, корпорации резервировали ночные клубы, пары заказывали столики в ресторанах, все места в гостиницах были давно забронированы. Китай? Что Китай. Китай далеко, *это* у них, не у нас.

В канун Нового года мы с женой сидели у друзей – бывших соседей по дому. Провожали старый, пили за новый, желали друг другу счастья и здоровья. Никто ещё не догадывался, что встречаем не только 2020, что вместе с ним вступаем в новую эру, в мир, который никогда уже не будет прежним, и даже общение с ближними и друзьями станет со временем невыносимой роскошью.

Хозяин показывал мне последние приобретения – книги с ярмарки nonfiction: Мишеля Уэльбека «Серотонин», Дмитрия Быкова «Русская литература: страсть и власть»; ультралайтовые японские удилища с высочайшей чувствительностью, с тестом от одного до шести граммов, рассказывал, как будет ловить летом с двухграммовым грузиком на пенопласт и на самые маленькие блёсенки, мимо которых рыба не проходит.

– Знаешь, я тут всю осень скачивал фильмы, теперь пусть отключают всемирную паутину, – по барабану. Мне читать, не перечитать, смотреть, не пересмотреть, слушать, не переслушать.

Меня всегда удивляла его всеядность, необоримая любовь к вещам, к тому, что можно потрогать, попробовать и, конечно, непременно купить. Мне незачем было заглядывать в яндекс-магазин. На помощь приходил мой деловой сосед, который, казалось, знал всё: чем отличается Kodak 50 от Kodak CD-50, какой смартфон лучше всего покупать в данный момент и в чём его преимущество, почему не стоит покупать виски «White

Horse» московского разлива, наконец, на каком рынке продают качественное мясо по сносной цене и т.д. и т.п.

Вернулись к столу, я предложил тост за ушедших в 2019 году. Стали перечислять поимённо. Оказалось, их немало. Были и общие знакомые. Выпили не чокаясь.

Хозяин неуклюже оправдывался за их отсутствие на нашем празднике:

– Не повезло им, а может быть нам, смотрят на нас оттуда, как мы тут свечку коптим, пыжимся из последних сил. А зачем? Я вообще-то умереть не против, утомлять природу – Боже упаси, только противно. Пугает меня во всём этом утилизация тела. «Дано мне тело, что мне делать с ним таким любимым и таким родным?». В том-то и дело, что ничего. Как представляю этот гроб, этот труп, отданный на стенания толпе, мужиков, копающих яму, червей, опарышей – фу. Вот кабы исчезнуть незаметно, разлететься на невидимые атомы, протоны-нейтроны, так другое дело.

Во всей его доморощенной философии сквозил сарказм, но сарказм с какой-то горчинкой обдуманности: жизнь конечна, умирать придётся всё равно, но уж если умирать, лучше молодым, и как можно позже.

События развивались стремительно. В марте объявили глобальную пандемию. Обязали носить средства индивидуальной защиты, цена на маски в аптеках доходила до пятисот рублей, впрочем, их всё равно раскупили. Пенсионеров и хроников перевели на режим самоизоляции. Друг мой уехал с женой и детьми на дачу. Я, как «счастливый» человек, входящий в группу риска, проводил время в своей Обломовке – Чернаве. Ловил карасей и щук, переправляя фотографии с уловами другу-соседу по Ватсапу, а вот стишок в догляд переслать припозднился:

Другу Карасёву

*Я послал по ватсапу себя и двух щук
Другу в правой и в левой руке,
Эсэмэс присылает с вопросом мне друг,*

Где ловил: в Озерах или в реке?

– На жерлицу в реке я их нынче поймал,

Любопытный мой друг Карасёв.

– На кого ж ты поймал? – мне мой друг отписал.

– Ну, естественно, на карасёв.

И на что мне мой друг сообщенье опять

С поздравлением шлёт: «Молодец».

Не пойму, как он может меня поздравлять, –

Сам Карась, карасиный отец.

Как гром среди ясного неба пришла весточка от Лары: «У нас несчастье, Стёпы больше нет». Хронологию событий я узнал позднее. Поехали закупать продукты, заехали, между прочим, на рынок, где продавали «качественное мясо по сносной цене». То ли шашлык не пропёкся... Только Степана забрали в инфекционное отделение на Соколиной горе. На следующий день ему полегчало, и его выписали. Через три дня на даче у него поднялась температура до 39,5. Видимо, попутно он успел заразиться ковидом. В больнице на Знаменке его положили под аппарат искусственного дыхания, он впал в кому, шунтированное сердце не выдержало нагрузки.

Так буднично и незаметно ушёл мой друг из этой жизни, почти растворился, распался на атомы. Закрытый гроб перевезли в крематорий, пришла семья, больше никого, ни прощальных речей, ни пышных венков.

Несколько дней я ходил, как замороженный. Это для нас коматозники, то есть подключённые к искусственным аппаратам жизнедеятельности, внешне отключены от сознания. Внутри же происходит интенсивная работа: внутренний анализ, боязнь, страх, сонм бесконечных видений. Примеряя его уход к своей жизни, я очутился на тропинке, ведущей к речке мимо покосившейся баньки с лучистыми венцами на срезках. Пахло кумарином от только что покосенной травы, лишь у самой воды желтела калужница. (Сколько раз я проходил этой тропкой в детстве, и потом не раз во снах возникал этот ничем не примечательный пейзаж, или наяву посещало дежавю и

проявлялся день во всей своей первозданности и сиюминутности, так что не оставлял сомнений в подробностях новоявленного, доселе ещё никогда невиданного, непочатого, непрожитого, как будто всё еще в начале, всё впереди).

По жестянке забарабанило, по глади стекла сползали капли, на земле шёл дождь. Я стоял с женой у окна, приобняв её за плечи, от быта и тепла в доме навевало надёжностью существования. Неужели всё? Умиротворение сменилось ужасом. Ужасом потерять этот свет, ужас не увидеть больше ни жены, ни ребёнка, даже не попрощаться с ними, ужас невозврата в свою квартиру к своим любимым книгам и вещам, ужас не лежания на своей мягкой кровати на свежей простыне, под свежим пододеяльником, ужас разлучения со своим статусом поэта, ужас вечного безмолвия. Наконец, ужас потерять жизнь, жизнь свою единственную, даденную один только раз. Ужас перед бездной, куда я должен неизбежно погрузиться, и ужас неосознания предстояния перед судом Божьим. Потом многоточием наступило забытьё. Я почувствовал лёгкость в чреслах, и всё мое существо охватил безудержный восторг...

...Степан Карасёв судорожно приподнялся и с последним дыханием вдохнул и выдохнул жизнь. Линия затухания синусоиды на мониторе вытянулась в сплошную, звуковой сигнал преобразовался в непрерывный. Душа, пройдя через маску, глядела на вытянувшееся, неподвижное тело, недавнее своё вместилище, с высоты потолка.

Жанна-Огонек

Юозасу Будрайтису

Нет, конечно, я знал, что отсечение нас от верха продолжается, несмотря ни на что, конечно, догадывался, что кому-то может быть выгодно, чтобы под землю переезжали гирлянды электрического света, суды, министерства, мировые бренды, чтобы мы научились на дне земли ориентироваться во времени суток, выращивать свой хлеб насущный и апельсины с бананами, вносить поправки в конституцию и даже, на всякий случай, скупать акции авиа- и железнодорожных компаний, оказавшихся не у дел; но при всем этом очевидном движении вниз, нам следовало поторапливаться. Ходили упорные слухи, что в некоторых районах, наиболее неблагополучных, то есть, связанных все это время с жизнью наверху, а значит, игнорирующих режим изоляции, потихонечку распродают свои времянки, сворачивают хозяйства. Наш Заказчик как-то, потеряв бдительность, сообщил нам по секрету, что даже Макдоналдс намерен в ближайшее время перебраться наверх.

Я никогда не считал себя человеком успешным, никогда не знал, что ждет меня в будущем, но с будущим ведь всегда так. Может, поэтому, когда позвонила Жанна и предложила вписаться в «аварийный» проект, я сказал себе: «Дорогой Аарон, другого шанса все перевернуть, все поставить под вопрос, у тебя не будет». Не исключено, конечно, что, думая так, я до некоторой степени сгущал краски: здесь у нас такая темень, и так опостылела она, что невольно хочется яркой палитры.

Жанна была первой женщиной за время изоляции, кто решительно встала на каблуки и надела украшение – старинное жемчужное ожерелье бабушки. В нем она была нужна фильму, а фильм – тем, кто не собирался

тратить себя, забираясь вниз поглубже, поближе к ногихвосткам.

В «Аварийном выходе» я задавался вопросом: не слишком ли быстро мы привыкли к отсутствию живого света, к тому, что понедельник может начинаться с субботы, равно как и со среды и четверга, к непомерным штрафам за нарушение изоляции, принудительным работам, к ежедневным сводкам с числом заболевших, вылечившихся и погибших.

Поначалу в мою задачу не входило показать зрителю, как разительно отличается общий свет, добытый внизу, от света верхнего, который для каждого свой. Все, чего я хотел, это лишь донести до соотечественников, попавших в беду, что нельзя поддаваться меланхолии и мифам, срочно переписанным политтехнологами с целью двухсотпроцентной наживы, что нужно совершить невозможное – резко развернуться в сторону прошлого и попытаться прорваться наверх.

Не помню, кто из древних сказал, что «ночь никогда не стремится сблизиться с днем». Если бы я только знал, насколько мы сами отвыкли от жизни, которую с таким упоением вспоминаем на глубине в несколько сотен метров.

В «Аварийном выходе» есть сцена, когда Жанну охватывает глубокое опьянение солнцем и воздухом, и она чуть не падает, проходя мимо пока еще закрытого торгового центра, опоясанного красно-белой лентой. А как с непривычки тяжелели ее изящные ноги (тридцать четвертый размер – украшение «Ночи») во время ходьбы, когда она подставляла себя ветру: «Я придумала себе ветер. Солнечный ветер! И теперь не могу жить без него!». А каким сбивчивым становилось ее дыхание к концу съемок, как когда-то на съемках «Лифта»!.. И это при том, что, готовясь к выходу наверх, мы каждый день всем составом занимались йогой в покрывах заплесневелого мрака, бегали по длинным полутемным туннелям от станции «Октябрьская» до станции «Института магнетизма Земли».

Я начал снимать «Аварийный выход» весной, закончил – в конце лета. Съёмки проходили в реальных локациях. Весь фильм был построен на главной героине, персонаже Жанны, в районе золотой ветки, более известной, как Огонек: в кинотеатре «Огонек» на юго-востоке столицы постоянно крутили фильмы с ее участием.

По правде сказать, мы и не думали, насколько рискованным может оказаться наше открытие Старого света, когда после нескольких лет карантина выбрались в Город. Должен признаться, едва нам, с большим трудом, пограничники отворили аварийный выход, и я шагнул на свет, недоброе предчувствие посетило меня. Но мне как-то удалось справиться с ним: было с чем сравнить свет, пребывающий в вечном мгновении, и жар в сердце.

Я бы не сказал, что людей в Городе совсем не было. Тут, как мне кажется, многое зависело от округов и улиц. Но, конечно, в большинстве своем улицы были пусты: Город-то у нас большой, разные округа уходили под землю по-разному.

Странное дело – улицы без людей, идешь - и будто отовсюду проглядывает родоначальная основа. Впечатление такое, словно разглядываешь окаменелый след первочеловека через сильную немецкую линзу. А как завернешь за угол, сразу ищешь выход из закономерного течения событий, участником коих являешься, и не можешь найти. А на то, чтобы прорубить выход самому, не хватает сил и решительности зародить событие.

Как же мы удивились, когда увидели где-то в асфальтовом далеко – плавящемся от зноя, точно на дворе какой-нибудь июль – первый, мчащийся навстречу нам автомобиль, а когда он, подъехав к выцветшей пешеходной разметке, остановился совсем как в доисторические времена, умилению нашему и вовсе не было предела. Стоит ли говорить, что я незамедлительно заснял это дивное происшествие, это редкое создание, украшение столичных автострад, на свою 16-мм камеру, после чего Жанна на прощание помахала бело-желтой косынкой (мой подарок на 8 марта) владельцу «вольво». Попутно замечу -

живущий по правилам ездки был без маски и перчаток. Это оказалось столь неожиданным для всей нашей команды, старавшейся жить по правилам, что и мы поспешили освободиться от них.

Сирень уже отцвела. В деревьях, каких раньше я не встречал – буйство оставленной без нашего догляда природы перекрывало школьные знания о ней – птицы пели так трепетно и так звонко, словно собирались донести до любого торопыги итоги последнего пернатого совещания. В Екатерининском парке разгуливали задумчивые длинноногие лоси, выглядывали из-за деревьев кабаньи семьи, а под виргилиевой гладью прудов томились стаи рыб с тугими темными спинами. Мне казалось: все, что происходит со мною сейчас - не что иное, как сон, выдуманный для себя, отыгранный и отосланный сначала в осень, после – в вечность.

Мы снимали Жанну в Нагорном парке и на юге – в Центральном, теперь скорее напоминавшим лес где-нибудь в Норвегии или Швеции, мы спустились к реке, ожидавшей ладью очередного рыжебородого князька с дружиною; побывали на развалинах кинотеатра «Родина» в западной части Города; рискнули прокатиться на безбожно дравшем глотку фуникулере – в восточной. За два дня мы объехали весь Город, но отснятые в эти дни кадры не вошли в фильм: я понял -- цвет отвлекает от сути, и вечером, посоветовавшись с Фалько, мы пришли к единодушному решению - отказаться от цвета, перейти на ЧБ.

В биографических справках обо мне пишут, что я снимал «Аварийный выход» с оператором Лео Вайнштоком, но это ошибка - я работал с Марком Фалько. Старина Фалько не снимал на пленку, он писал по ней светом. О, он был буквально слит со всем, что попадало в объектив. Камера Фалько превращалась в удивительно подвижный и плавный инструмент. Благодаря Фалько я и почувствовал, что то, что носится в воздухе, свободно от наших влияний, что это *оно* – вполне живое, пусть и не проявленное в привычном смысле. *Оно* – дзэн, *оно* джаз до его переезда на Север, *оно* – залог победы.

Мы сняли два прохода Жанны по пустым улицам. В утреннее и предвечернее время. Жанна шла вдоль витрин магазинов, раз даже припала к ослепшему от налипших к стеклу остатков прошлой осени, побеседовала о чем-то с манекеном, пластиковым пареньком, одетым по моде трехлетней давности, лишенным каких-либо черт лица, и, тем не менее, невероятно грустным. Хотя вся сцена была Жанниним экспромтом, я не кричал: «стоп!». Даже показал Фалько, чтобы он не останавливался, продолжал снимать дальше. Мне казалось, оживший манекен голосом диктора Байрама Гулиева с проверенного первого канала рассказывает нашей Жанне, какие древние рассветы встречал без нее, с какими непорочными закатами прощался.

Доверенное лицо манекена смотрелось, как всегда, трогательно. Так же, как в «Ночи», «Лифте», «Любви между строк»...

Так «прямо», как я, Жанну никто еще не снимал. Если вспомнить ее в других фильмах – хотя бы того же Кости Лазаревфа – на ней всегда штукатурка лежала слоями. Ее ослепляли софитами в павильонах. Из нее делали вторую Норму Толмедж, а получалось – мраморное изваяние, безжизненное существо, только что съехавшее из отеля «Империал» где-нибудь в непострадавшей от пандемии Лигурии. А тут вдруг живая жилка на высоком лбу, брови – два взмахнувших птичьих крыла, резкие тени под глазами и скулами, порожденные трехиксовкой. Жанна – своя, а не чужая. Жанна -- на переходе от одного мужчины к другому. От Заказчика – ко мне. (Снова ко мне...)

Жанна, Жанна!..

Да, временами она казалась не так, чтобы очень, сказывалось подземелье, но стоило ей в какой-то момент обернуться, замереть перед камерой, как она становилась той самой божественной Жанной, которую помнят ценители авторского кино. Фотографиями которой облеплено мое узилище, декорированный подвал инквизиции.

Теперь, когда Жанны нет, а я под «домашним арестом», как это у них называется, я без конца воспроизвожу в

памяти «Аварийный выход». Вспоминаю, чего не сделал. Пытаюсь понять, что сделал не так: до конца не уверен, что застал подлинную жизнь с ее птичьим пением врасплох. А вот то, что мне не следовало простодушного сопротивления, героя фильма, которого я наградил своим именем, приговаривать к пожизненному заключению – это уж точно. Тут я, что говорится, накликал сам.

Они выключили меня, как и мой фильм, наглухо. Кто-то из критиков - полагаю, по указке сверху, у нас ведь иначе и не бывает, - пустил слух, что случилось это из-за реакции на свет, мол, не та, к какой привык карантинный зритель: свет наверху оказался не тем, каким его ожидали увидеть после нескольких лет карантина, каким знали до бункеров, шахт, освоенных под жилье линий метрополитена. «С таким светом только развалины Помпей снимать», – пошутил недавно кинокритик с того берега, где всегда готовы сыграть на трубе, забитой едкой слюною.

В этой связи вспоминаю, как взбунтовалась лаборатория, как закатил свои пороссячьи глазки, словно готовясь впасть в кому, Эди Клейн, директор Девятой студии, увидев отснятые материалы.

Разумеется, в элитных слоях подземелья все всё поняли. Не зря же незамедлительно приступили к съемкам своего фильма о том, какие ужасы происходят наверху, какие там носятся ветры, какие нечистые туманы ложатся, как опускаются до отребья и уходят в небытие люди, чьи легкие уже не отвентилировать.

Цензоры, за которыми всегда располагаются крупнокалиберные батареи темных сил, слово свое сдержали: пока они снимали свой фильм, мой мигом лег на самую дальнюю полку. Меня обвиняли в том, что и я, и мой фильм, так сказать, оперлись на правый локоть – совершенно «выпали из света».

Этим ребятам я бы многое простил, если бы, снимая свое трехчасовое пропагандистское шоу (привет от Лени Рифеншталь), они не воспользовались моим фильмом, от которого не оставили камня на камне. О, жалкие, безнадежно никчемные существа!..

Бедная Жанна, представляю себе, что с ней было, когда она увидела пародию на себя в их фильме, увидела свою украденную героиню, увещевающую мальчишку-сироту вернуться вновь в подземелье, а затем сопровождаемую двумя барбосами в защитных шлемах к шахте-убежищу. Себя - ждущей лифта вниз. Практически - на эшафот.

Мой адвокат предупреждал меня, что с этими господами шутки плохи, тем не менее я вступил с ними в судебную перепалку и оказался здесь. А Жанна, не выдержав подлога вкуче с предательством Заказчика, ушла с головою в волонтерскую деятельность. Закупала на свои кровные медицинское оборудование для неотложной помощи. Эвакуировала людей из зон заражения. И вскоре заразилась сама.

Хорошо, что Заказчик не видел ее в том состоянии, в каком видел ее я. Пусть ему достанутся только ее алые губы и только стоны, исторгаемые ее наслаждением. Я же уверен, к умирающим можно допускать лишь самых близких к ним людей. Исключение составляют разве что философы. Но много ли их, способных заглянуть за перегородку?

На днях меня навестил этот тип, этот, с позволения сказать, Заказчик – существо, которому не хватает образа. Хоть Полковником его назови, хоть Ласковым теленком, хоть Оседлым кочевником или даже, почему нет, – Героем Сопrotивления, все это будет он – Заказчик.

В конце нашей беседы этот Герой сопротивления, переметнувшийся в стан врага, уж не знаю за какие посулы, посоветовал мне либо широко покаяться, либо шикарно выйти из игры. Когда он, просунув через решетку портфель-дипломат, сказал: «Если вы, господин Розенталь, не забыли, когда родились, то вы легко его откроете», я догадался, кто он на самом деле: он Симптом – наступающей эпохи.

Полковник ушел, я открыл дипломат и только тогда понял, как сильно он ненавидит меня. «Едва ли найдется тяжба, в которой причиной ссоры не была бы женщина». Да, именно так. Иначе разве завернул бы он свой

промасленный «люггер» в Жаннину косынку. Ту самую – бело-желтую, что подарил ей я, незадолго до карантина, ту самую, которой она помахивала в начале «Аварийного выхода».

Этой ночью я несколько раз разматывал косынку, держал некоторое время пистолет в руке, взвешивал «за» и «против», после чего досылал бесчувственный патрон в патронник, а потом... «скидывал» на одеяло...

Я проклинал свою нерешительность и Заказчика «Аварийного выхода», оказавшегося с таким сомнительным прошлым, что на свету лучше его не ворошить.

Следуя своим принципам, я решил полностью вверить себя судьбе. Сейчас, когда, как я слышал, все спешат на улицу и, можно сказать, вдыхают чистый воздух полными легкими, я пребываю в убеждении, что сними я «Аварийный выход» на два-три года позже, определенно все могло сложиться иначе. Да, конечно, мы могли не быть первыми, что с того, – были бы вторыми или третьими, зато фильм точно дожил бы до первого уикенда, а Жанна – до наших дней.

Бедная Жанна!..

Жанне я верил всегда. Другие нет, а я – да. У меня были для того основания – Жанна приносила мне удачу. И я всегда полагался на ее чутье.

Под самое утро мне снился сон. Из породы камерных – с трудом перешагивающих через черту. Я шел в смятении по длинному подземному переходу и думал: «Дорогой Аарон Розенталь, что бы теперь ты ни сделал, останешься там, откуда тебе не выбраться, ни сейчас, ни когда-нибудь», и тут вдруг с помощью каких-то невероятных монтажных ухищрений столкнулся с богом, приковался к нему взглядом, и – «Бог ты мой!» оказался Жанной.

«Внимание! Жанна в кадре!» Не та, что была на переходе из одного мира в другой, а на высоких каблучках, без маски и перчаток, в той самой веселой косынке, в которую у меня сейчас завернут пистолет; стесняясь, как мальчишка, я просил автографа у своей любви, а она в ответ обещала, что желание мое поскорее выбраться на свет вскорости будет исполнено, и тогда я увижу трепетание зеленой листвы, серебро реки, ветер, дождь... Что есть там еще, чего нет здесь?..

Удар молотком

– Девушка, а вам не кажется, что в этом кафе слишком много неосторожных людей?

Она подняла голову. Глаза, над черной маской с жирно нарисованными красными губами, растянутыми в иронической улыбке, оказались светло-карими.

– Жизнь – это личный выбор каждого, – негромко произнесла она. – Вы ведь тоже сняли маску, значит – сделали свой выбор.

– Но как иначе я смогу выпить кофе! – удивился он.

Девушка не ответила и перевела взгляд на телефон.

Он поспешно натянул маску и продолжил завязывать разговор.

– Вы знаете, многие считают, что никакой эпидемии на самом деле нет.

Девушка лишь презрительно передернула плечами.

– А вот я как раз из тех людей, кто занимается этим вирусом вплотную, поэтому думаю совсем иначе.

– Вплотную? – она оторвалась от телефона, и от ее взгляда у него потеплело в груди.

– Ну да, я ученый, вирусолог, и могу с полным знанием дела сказать – мы еще не сталкивались с такой хитрой штучкой.

– Хитрой? – брови у девушки удивленно изогнулись, и он, в восторге от того, что разговор завязался, зачистил.

– Он все время меняется, модифицируется, причем коренным образом. Нарботки прошлой недели на нынешней оказываются бесполезными. Представьте, будто вы ищете мужчину, а он за время ваших поисков успевает превратиться в женщину. Как его ухватишь?

– Да-да, непростая задача, – произнесла она и снова уткнулась в телефон.

Девушка сразу привлекла его внимание. Он присел на минутку, спокойно выпить второй утренний кофе и побежать дальше, и тут увидел ее. Попадание было

точным, девушка за соседним столиком в точности совпадала с его представлением об идеале женской красоты. Была в ней чарующая мягкая округлость, хотя грудь, прикрытая тонким шелком легкого платья, выглядела напряжено-упругой.

Отхлёбывая кофе, он внимательно осмотрел ее всю, от ровных пальчиков в открытых босоножках, изящных лодыжек, гладких, загорелых ног, прикрытых чуть выше ровных коленок абрикосовым подолом, оглядел изящные руки, высокую грудь, мраморный столбик шеи, лицо, скрытое черной маской, корону пышных волос, пробитую солнечным светом из окна за спиной, и розовые миниатюрные ушки.

Ему нравилось, когда девушки носили платья. Женская одежда подчеркивала красоту, а штаны, даже самого дамского покроя, огрубляли ее.

Девушка продолжала тыкать пальчиком в экран телефона. Потом положила его на столик и, достав из сумочки записную книжку в роскошном кожаном переплете, принялась деловито водить в ней миниатюрной ручкой. Он успел заметить вытесненную на кожаной обложке цифру.

– Вам девятнадцать лет?

Она вскинула голову и по расширившимся глазам, он понял, что девушка улыбается.

– И это подарок на день рождения? – успех надо было закреплять, говорить, говорить, что угодно, лишь бы вовлечь ее в беседу. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы она откликнулась на ухаживание. Все его дела, такие срочные и важные, теперь представлялись бессмысленной ерундой.

– Неужели я кажусь вам такой юной? – произнесла она.

Он поплыл, утонул, пропал в нежнейших обертонах ее милого голоса.

«Да разве бывает так? – мелькнула мысль. – Бежал человек на работу, спешил, как обычно по делам, и вдруг – трах-тарабах – молотком по голове, ошейник на шею и в рабство».

Да-да, именно в рабство. Нежнейшее, сладчайшее, восхитительное рабство; принадлежать только ей, быть постоянно у ее ног, каждый день, каждую минуту, с этого момента и до самого конца жизни.

«У ее ног, – повторил он. – Забавно, откуда пришел ко мне этот оборот?»

Он умел обращаться с представительницами прекрасного пола, умел и любил заводить романы, и среди друзей слыл опытным Дон-Жуаном. Но сейчас все выглядело по-другому. Решение было принято не им, и отказаться от выбора он тоже не мог. Его вели, словно быка на веревочке, и ему хотелось только одного – ускорить шаги.

– Вы о чем-то задумались? – звук ее голоса вывел его из ступора.

– Я? – машинально, еще по привычке свободного человека удивился он, но тут же спохватился.

– Да, задумался. О вас. Кто вы, как вас зовут, где вы живете, чем заняты? Теперь я могу думать только об этом.

– Не слишком ли много вопросов? – ответила девушка, беря в руки устройство, которое он ошибочно принял за телефон. Теперь он сообразил, что это, скорее, калькулятор, имеющий вид смартфона.

– Можно прибавить к вопросам одну просьбу? – спросил он, извлекая из арсенала дон-жуановских приемов самый незамысловатый. Он пересел за ее столик и добавил. – Только одну и очень скромную.

– А ваше имя мне уже известно, – произнесла девушка.

– Да? – удивился он. – Вы читаете мысли?

– Читаю, – по уголкам глаз он понял, что девушка улыбается.

– И как же меня зовут?

– Торопыжка.

– А вас?

– Не все сразу. Так о чем вы хотели попросить?

– Снимите маску.

Она засмеялась.

– Это может вам дорого обойтись.

- Готов заплатить любую цену.
- Даже цену своей жизни? А вдруг я заразная?
- С вами вместе куда угодно, хоть за черту.
- Вы уверены в том, что говорите? – спросила девушка.
- Абсолютно! – вскричал он. – Пожалуйста, откройтесь!
- Ну что ж вы сами напросились, – ответила девушка, срывая маску.

Он вздрогнул, мгновенно покрывшись смертельной испариной. С другой стороны столика, сжимая в руке калькулятор, на него холодно и жестко смотрел «Ковид-19».

Пророки и глупцы

Моя бабушка, да будет благословенна память о ней, когда-то говаривала, глядя на меня: "А шейнер понем, а лихтикер понем, кейнайнорэ"¹. Позднее она говаривала так, глядя на моих сыновей. Моя покойная мама была учительницей русского языка в средней школе. Она предпочитала говорить по-русски. Но, говоря обо мне, а потом – о моих сыновьях, он добавляла: "невроку". Настоящие украинцы говорят "нивроку", но моя мама, учившаяся в украинской школе, тем не менее, говорила "невроку". В детстве я думал, что "невроку" это по-русски, хотя настоящие русские такого слова не знали.

Но это еще ладно. Мало ли что думают дети о всяких словах и языках, особенно те дети, которые растут со смесью трех языков в голове. Вот, например, моя младшая. Она когда-то вообще не знала, как называются языки, на которых мы разговариваем. Она думал, что есть язык "как дома", то есть русский, есть "как в садике", то есть иврит, и "язык, который я знаю не весь", то есть идиш. Все остальные языки она называла "дурацкими" – английский, арабский, греческий и т.д.

Я в таком возрасте не знал, что у евреев есть еще какой-то язык, кроме идиша. Не говоря уже о том, чтобы понимать смысл бабушкиного словечка "айнорэ" – "дурной глаз", а без дурного глаза то, что произошло с нами, не могло бы произойти. Или все-таки могло, и все эти граффити на стенах, все этих лозунги на демонстрациях, общий смысл которых может быть сведен к одному пожеланию: "Поселенцы, чтоб вы провалились!", были не дурным глазом, а просто болтовней?

¹Красивое лицо, светлое лицо, не сглазить бы (идиш).

В то утро – теперь так говорят все – "а-бокера-у" – "то утро" – я встал, как обычно, в половине шестого, чтобы идти, точнее – ехать на работу. Электричества не было. – "Ладно, бывает, - подумал я, - Особенно в наших местах". Я умылся – вода, слава Богу, была, мы получаем воду из скважины рядом с Ткоа, наспех перекусил и сел в машину. Было немного странно, что, когда я включил радио, мне не удалось найти свою любимую радиостанцию "Решет бет", но и это – ладно. Бывает, особенно в наших местах...

То, что было не ладно, и чего раньше, насколько мне известно, не случалось даже в наших местах, началось в пятистах метрах от ворот поселения. Нет, шоссе было в порядке, но деревня исчезла. Я автоматически гнал машину, пытаюсь осмыслить, что я вижу: беспорядочно разбросанных по горам и холмам арабских домов не было. Точнее, что-то было, но очень мало и странно. И довольно далеко от шоссе.

"Что это такое? – лихорадочно пытался сообразить я, - Как у Стены плача во время Шестидневной войны, когда за одну ночь снесли весь квартал Муграби и устроили на его месте площадь?"

На перекрестке рядом с Иродионом стоял армейский джип. Солдаты не задержали меня, и я ничего у них не спросил. Примерно через километр после перекрестка шоссе идет под гору, и вдалеке, как обычно, стали видны иерусалимские кварталы – Ар-Хома, а еще дальше – Гило. Вдоль шоссе было пустынно. Только с перекрестка Бейт-Сахур я разглядел слева какую-то густо застроенную территорию, но она была довольно далеко. Одно из далеких зданий явно было какой-то церковью.

Перед блокпостом меня остановили. Не солдаты, а довольно длинная очередь из автомобилей. Очередь почти не двигалась. Время от времени по встречной полосе проносились отдельные автомобили, ехавшие из Иерусалима, или, может быть, от блокпоста. Найти "Решет бет" мне все еще не удавалось. Вообще из приемника доносился лишь треск помех. Стоя в очереди, я продолжал искать. Время от времени прорывались отдельные слова и

отрывки фраз по-английски и по-арабски. На иврите я ничего не нашел, и по-английски мне тоже не удавалось толком поймать ни одной радиостанции.

Я вышел из машины. В очереди стояли исключительно машины с израильскими номерами. Неподалеку от меня собрались и что-то бурно обсуждали несколько водителей. Я, конечно, подошел к ним: «Шалом, Что случилось? Теракт?» Один из водителей повернулся ко мне. Его лицо было немного знакомым. "Кажется, он из Ткоа..." – подумал я. «Включи радио, - сказал он, - "Галей ЦАХАЛ" работает. Только "Галей ЦАХАЛ"». Водитель, машина которого стояла совсем рядом, включил радио погромче. И тогда я узнал...

Я узнал, но я до сих пор понятия не имею, что случилось на самом деле. И я уверен, что никто понятия не имеет, хотя во всякого рода теориях нехватки нет. Говорят, что мы, то есть поселенцы Иудеи, Самарии, Восточного Иерусалима и Голанских высот (хотя что за поселенцы, с позволения сказать, еврейские жители Восточного Иерусалима и Голанских высот? А жители бывших – установленных соглашениями о прекращении огня 1949 года – ничейных и демилитаризованных зон, жители Маккабим-Реута, например, не говоря уже он Неве-Шаломе?) вместе со всеми нашими поселениями, кварталами, промышленными зонами, сельскохозяйственными угодьями, военными базами и тому подобным, а также с подъездными путями к ним попали в какую-то дыру во времени. Говорят, что мы исчезли из нашего времени, а вместо нас на нашем месте появилось то, что было – я бы сказал, то, чего не было – на нашем месте в Ту-Би-Шват 5791 года, то есть 12 февраля 1941 года. Но в таком случае спрашивается – почему именно мы? Почему только мы, а не мы вместе с нашими арабскими соседями, которые остались там, где нас теперь нет? Из-за проклятий левых безбожников? Из-за их дурного

глаза, относительно которого предупреждала еще моя бабушка, да будет благословенна память о ней, добавляя к своим похвалам "кейнайнорэ"?

Есть и такие, кто утверждает, что мы попали не в прошлое нашего мира, а в какую-то параллельную вселенную. Объяснений произошедшего хоть пруд пруди. Не обязательно научных. Есть и религиозные. Говорят, например, что Господь дал своему народу второй шанс и направил нас сюда для того, чтобы остановить Катастрофу, как Моисей направил соглядатаев высмотреть страну Ханаан. Ведь лидеры поселенческого движения утверждали, что мы – первопроходцы, идущие впереди всех. Так вот вам. А если мы этого не поймем и не выполним этого великого дела, на нас ляжет "грех соглядатаев". Лично я отдаю предпочтение именно такому объяснению. Оно вкладывает, по моему мнению, какой-то смысл во все это безумие. И я такой не один.

На наше счастье, ЦАХАЛ не занимается философией. Он собирает информацию о сложившейся ситуации, строит соответствующие оперативные планы и начинает действовать решительно в любой реальности. Функции Генерального штаба взял на себя штаб Центрального военного округа, находящийся в Неве-Яакове, то есть в Восточном Иерусалиме.

Из всех министерств у нас остались только министерство жилищного строительства, министерство внутренней безопасности и министерство юстиции, расположенные в Восточном Иерусалиме. Положение в столице было особенно сложным – там, помимо наших людей – 200 с чем-то тысяч, были еще и "местные". Так мы их называем. Сколько их точно, мы до сих пор не знаем, но не более 100 тысяч. Среди "местных" есть евреи, арабы и англичане. И со всеми "местными" было сложно. Так что хорошо, что у нас остался Центральный штаб полиции Израиля с несколькими полицейскими участками, и МАГАВ, конечно.

Командующий Центральным военным округом сформировал своим приказом временное правительство с

чрезвычайными полномочиями. В его состав вошли те три-четыре депутата Кнессета, которые жили в поселениях Иудеи и Самарии или в Восточном Иерусалиме, но главное – военные и гражданские специалисты. В первую очередь – деканы департамента химии, департамента физики и медицинского училища Ариэльского Университета, а также главный врач больницы "Хадасса" на горе Скопус. Это само собой подразумевалось. Это очень практичные специальности, без которых мы не смогли бы даже просто выжить, не говоря уже о том, чтобы выполнить нашу миссию – я имею в виду остановить Катастрофу. Необычным на первый взгляд было то, что во временное правительство пригласили историка. Однако со второго взгляда было ясно, что такой специалист просто обязательно должен при таких обстоятельствах участвовать в заседаниях Совета национальной безопасности.

Неожиданно для себя я вернулся на пост председателя местного комитета своего поселения. Пару лет назад я ушел с него, решив для себя, что хватит, что все кладбища полны незаменимых людей, а ребята, которым около сорока, уже достаточно взрослые для того, чтобы обойтись в комитете без меня. Однако теперь тем, кто помоложе, было чем заняться в других местах.

Мои задачи были не столь масштабны, но весьма разнообразны. У местных было электричество, но мы старались как можно меньше иметь с ними дело. Поэтому проблему с электричеством в наших поселениях окончательно решили – ну, не окончательно, но хотя бы в общих чертах – в течении двух месяцев, когда стали производить достаточно дизеля из нефти, которую начали добывать в Сде-Хелеце. В нашей прежней реальности нефть нашли там только в 1955 году, но здесь мы точно знали, где бурить. Наскоро проложили шоссе от блокпоста Таркумия до нефтяного месторождения, окружили его забором из колючей проволоки и начали работать. Относительно местных в этом случае был дан приказ:

"Никаких переговоров и разъяснений". Нет времени. Насколько возможно – разгонять их слезоточивым газом и шоковыми гранатами, если нет – стрелять. С арабами оказалось достаточно газа и шоковых гранат. Местных евреев там не было, но с англичанами дело дошло до стрельбы.

Кстати, британского верховного комиссара Палестины сэра Гарольда МакМайкла наши магавники арестовали в его дворце, где он проснулся в то утро, окруженный новыми еврейскими кварталами Тальпиот а-Мизрах и Ноф-Цион, и имея к тому же под боком базу полиции Израиля. Говорят, что ШАБАК передал его в руки ЛЕХИ. После этого о нем не слыхали. Именно ШАБАК отвечает за контакты с местными евреями. Он понимает в этом лучше. Я не задаю дурацких вопросов, почему они выдали МакМайкла именно боевикам ЛЕХИ, которые наверняка его прикончили. Мне ничуть не жалко этого верховного комиссара, имевшего отношение к тому, что Шломо бен Йосеф отправился в 1938 году на виселицу, и боровшегося изо всех сил против алии, когда евреи пытались спастись из захваченной нацистами Европы. Устранение сэра Гарольда МакМайкла я рассматриваю в качестве маленькой частицы нашей миссии.

Электричество, вода, детские сады и тому подобное – все это технические и логистические проблемы. Но у меня в качестве председателя были и психологические проблемы. Принять то, что произошло с нами, было трудно, если не невозможно, и жители на это реагировали по-разному. Была у нас одна, которая все время говорила о своей бабушке, вернувшейся на полгода из Маалота в Биробиджан, чтобы продать свою квартиру и дачу. "А где сейчас моя бабушка? – спрашивала она всех. - И где, между прочим, деньги? Не лишне было бы знать".

Неразрешимые вопросы такого рода мучили всех, но некоторые относились к ним с юмором. Это была такая защита от безумия. Вот, скажем бабушка Юры, Злата. Мы незадолго до того утра отпраздновали ее столетний юбилей. Она сохранила ясный ум. Безвылазно сидя в доме

Юры в нашем поселении, бабушка Злата не могла почувствовать, что что-то радикально изменилось. Но она, естественно, слыхала разговоры тех, что помоложе, а когда телевидение снова заработало – конечно, через интернет, бабушка Злата с ее убогим ивритом поняла, что все наше поселение и еще много других поселений каким-то образом превратились в коллективного путешественника во времени. Как у Герберта Уэльса. Так вот она смеялась, говоря, что к ней вернулась ее молодость. Теперь она не только богобоязненная старушка в Эрец-Исраэль, но еще и комсомолка в Кременчуге...

Но та бывшая биробиджанка, в отличие от бабушки Златы, оказалась, как говорится, очень тяжелой пассажиркой. Своими бесконечными вопросами она буквально с ума сводила своего мужа. Дело шло к разводу. Я попытался спасти молодую семью и разговаривал с ней несколько раз.

- Когда родилась твоя бабушка?

- В 1946 году. Ее отец вернулся с войны в конце сорок пятого и...

- Ты уже знаешь, что сейчас в Биробиджане весна сорок первого. Твоя бабушка еще не родилась, а ее отец еще не ушел на фронт.

- Как это может быть, что моя бабушка еще не родилась, а я уже родилась?

- Как это может быть, я не знаю, я не специалист. Я сам этого толком не понимаю. Но так уж оно есть. Такова реальность. Придется с этим жить. У тебя есть муж и маленький ребенок. Думай о них, а не о тайнах горних миров. Сделай такое одолжение себе и нам всем.

- Да, да, я понимаю. Только остается вопрос: где сейчас моя бабушка?

Слава Богу, у нас в поселении живет пара психологов и один психиатр. Я оставил на их попечение ответ на вопрос, как это может быть, что в Биробиджане идет 1941 год, а в Иерусалиме – 2021.

Но оставьте Биробиджан. Говоря по правде, в Иерусалиме с этим вопросом тоже было не так просто.

2021 год шел только в Восточном Иерусалиме в то время, как в Западном Иерусалиме шел, как и в Биробиджане, 1941 год.

Сочетать эти две даты, собственно не две даты, а две эпохи, было трудно. Очень трудно. Я получил возможность убедиться в этом, когда меня пригласили на работу в Иерусалимский муниципалитет, в наш муниципалитет, который разместился в отеле "Дан" рядом с горой Скопус. Местный муниципалитет занимал то здание в начале улицы Яффо, которое мы до того утра называли "историческим зданием муниципалитета", а в 1941 году этому зданию было всего-то 10 лет. Однако местного мэра Мустафу-бея аль-Халиди мы фактически полностью игнорировали.

Почему меня пригласили работать в Иерусалимский муниципалитет?

По трем причинам. Во-первых, у меня был опыт муниципальной деятельности, хотя бы на уровне маленького поселения. Во-вторых, у меня есть историческое образование, а в-третьих, я свободно говорю на идише и к тому же понимаю на шпаньоле, в смысле - на ладино. Идиш и шпаньол очень важны для контактов с местными евреями. И не только с евреями. Попадалось немало арабов, понимавших, а иной раз даже совсем неплохо разговаривавших на идише. Говорят, на идише свободно разговаривали все иерусалимские темплеры, но я не имел с ними дела. Англичане интернировали в конце 1940 года почти всех темплеров, проживавших в Эрец-Исраэль. Британская армия рассматривала их в качестве потенциальной пятой колонны. В начале апреля 1941 года, когда Роммель начал наступление в Северной Африке, это выглядело вполне оправданным.

Я видел только пустые дома иерусалимской Немецкой колонии, когда мы работали на железнодорожной линии между вокзалом и Бейт-Цафафой. Была поставлена задача связать южные кварталы нашей столицы с северными

трамвайной линией. Первая линия иерусалимского трамвая, начавшая функционировать в 2011 году, сохранилась в то утро от станции "Хейл а-авир" в Писгат-Зееве на севере до начала улицы Яффо, несколько сотен метров после станции "Шаар Шхем". Сохранилось и трамвайное депо к северу от квартала а-Гива а-Царфатит. Было решено использовать построенную еще турками железную дорогу, чтобы довести трамвай до арабской деревни аль-Малха, а оттуда, используя сохранившийся участок скоростного шоссе "Бегин", до восточной окраины нашего квартала Гило. Кроме приспособления турецкой колеи для нашего трамвая, мы должны были проложить два новых участка рельсового пути – от начала улицы Яффо, где прерывалась наша трамвайная колея, до турецкого вокзала и от аль-Малхи вдоль шоссе "Бегин" на юг, до улицы Розмарин в Гило. Чтобы проложить эти участки, мы использовали рельсы, снятые с продолжения турецкой железной дороги, после аль-Малхи к Валадже и дальше.

Это был серьезный проект, который надо было организовать и осуществить быстро. Очень быстро.

Кстати, это был не единственный масштабный транспортный проект, который осуществили в первые месяцы после того утра. Достаточно упомянуть шоссе через долину Бейт-Шеан. Это был воистину национальный проект. Сорок километров, которые отделяли кибуц Маган на южном берегу Кинерета от блокпоста Бардале в Иорданской долине, были критически важны. Они отделяли Иудею и Самарию от Голанских высот, где находилась большая часть наших войск, не говоря уже о нашем скоте, о наших телицах Вассанских, так сказать.

Эти сорок километров шоссе проложили быстро и жестко. Очень жестко. С помощью тяжелой военной техники. При этом разрушили половину Бейт-Шеана и, кажется, еще пару-тройку, а то и больше арабских

деревень. Их жителей прогнали. Кстати, не наши войска их прогнали, а местные евреи из окрестных кибуцев. Их можно понять. Ведь арабское восстание 1936-1939 гг. окончилось совсем недавно. Местные кибуцы сильно от него пострадали. А вся еврейская община Бейт-Шеана была вынуждена бежать из города в 1936 году. Но, по правде говоря, мы тоже не сожалели о том, что местные прогнали арабов из долины Бейт-Шеана. Это ведь стратегически важный район – мало ли какие неприятности могут прийти с совсем близкого восточного берега Иордана? А тут – пятая колонна. Кому она нужна?

Данную операцию как-то координировали с местными. И не только ее, но и многие другие. Но кто и каким образом это делал, не скажу. Я не знаю, а врать не хочу. Я имел с местными дело только в Иерусалиме. Да и там не слишком много. Единственный местный, с которым я познакомился близко – ну, не совсем близко, относительно близко – был Лейб Яффе, директор "Керен а-есод". Мне нужно было что-то согласовать с Национальными учреждениями местных евреев. В рамках моей работы в муниципалитете.

Я даже видел как-то Бен-Гуриона, но он со мной не разговаривал. И вообще он мне не понравился. Политик до мозга костей.

Что за дела у меня были с Бен-Гурионом? Важные люди из временного правительства однажды привели меня на переговоры с ним. Обратили внимание на то, что местные евреи вообще и местные еврейские шишки в частности имеют обыкновение переговариваться между собой в присутствии наших представителей на идише. Они быстро поняли, что у нас язык изгнания понимают немногие. Наверное, они считают нас разновидностью френков¹. Хорошо известно – во всяком случае мне это было хорошо известно, что Бен-Гурион 12 декабря 1944 года публично назвал идиш "чужим раздражающим языком" – "сафа зараве-цоремет". Был большой скандал, о котором писали в газетах. Однако Бен-Гурион прекрасно понимал этот

¹Френк – сефард (идиш).

"чужой язык" и не менее прекрасно разговаривал на нем, когда считал это нужным.

Наши представители, конечно, могли бы найти кого-нибудь среди наших же ультраортодоксов. У нас много ультраортодоксов. Я бы даже сказал, слишком много ультраортодоксов. Нас всего-то 700-800 тысяч человек, и свыше четверти из нас составляют ультраортодоксы. Вот посчитайте: Модиин-Илит – 73 тысячи человек – одни ультраортодоксы, Бейтар-Илит – 57 тысяч человек – одни ультраортодоксы, иерусалимский квартал Рамот – 52 тысячи человек, из которых 90% ультраортодоксы; иерусалимский квартал Рамат-Шломо – 20 тысяч человек – почти исключительно ультраортодоксы, хотя надо сказать правду – многие из них любавичские хасиды, а это совсем другое дело; иерусалимский квартал Неве-Яаков с 25 тысячами человек, из которых треть – ультраортодоксы, главными образом миснагеды. Да еще Тель-Цион с 6 тысячами душ, Имануэль с 4 тысячами душ и Маале-Амос с 600 душами. Но это уже мелочи.

На наше счастье, приверженцев самых проблематичных групп ультраортодоксов, таких, как "Пелег ерушалми", "Нетурей карта" и сатмарских хасидов, в этих поселениях и кварталах почти совсем нет. Поэтому удалось довольно быстро разъяснить им, в смысле нашим ультраортодоксам, что правила полностью поменялись, и что теперь и им необходимо, как сказано в книге Эсфири, "собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними", а иначе "свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете". Наши ультраортодоксы поняли, и особых проблем у нас с ними не было.

Однако большинство из них идиша не знает. И вообще они все-таки были ультраортодоксами, и поди знай, что у них на уме. Короче, меня привели на одну встречу, в которой принимал участие Бен-Гурион. Но именно во время той встречи местные не перебросились между собой ни единым словом на идише. Видимо, они уже знали, что я не

френк. Больше меня на такие встречи не звали, и Бен-Гуриона я больше не видал.

А вот с Лейбом Яффе мне все-таки как-то удалось найти некое подобие общего языка. Лишь некое подобие общего языка, а не общий язык, потому что с местными всегда остаются закрытые темы, такое или иное недопонимание, фальшь. Всегда трудно понять, что они думают о нас. И все же я чувствовал, что ему нравится беседовать со мной. Может быть, потому, что при нашей первой встрече я процитировал ему его собственные строки:

*С холма я вижу ширь Сарона,
Лугов сверкающих убор,
И моря солнечное лоно,
И выси Иудейских гор.*

Я разговаривал с ним о чудесном проекте перевода новой еврейской поэзии на русский язык, который он когда-то осуществил вместе с Ходасевичем. Говорили мы о Жаботинском, который умер в прошлом году. Не о Жаботинском-политике, а о Жаботинском-поэте, переведшем на русский язык "Сказание о погроме" Бялика...

Лейб Яффе – пожилой человек. Собственно, он лишь на несколько лет старше меня, но у местных таких считают пожилыми. Он уже давно перестал писать стихи – и по-русски, и на идише. Иное дело Ури-Цви Гринберг, которого я видел случайно, всего один раз. Год назад он вернулся в Эрец-Исраэль после того, как ему удалось бежать из оккупированной Польши. Я бы очень хотел поговорить с ним о стихах. Велик был соблазн процитировать ему его строки, которые он только что написал:

*Прежде, чем замерзнут на Западе реки
И моя среди них – река Бил Каминь,
Надо пойти в сосновый лес, собрать там щепки
И принести на плечах
К дому мамы.*

Ури-Цви никогда их не опубликовал. Они оставались в его архиве, но не были включены в академическое издание написанных на идише стихотворений Ури-Цви Гринберга, которое подготовил и выпустил профессор Хонэ Шмерук незадолго до смерти Гринберга. Но я не мог просто так подойти к Ури-Цви и рассказать ему об этом, хотя думаю, что он, именно он мог бы понять меня и поверить мне.

Ну, да ладно. Пустые фантазии. Я, конечно, моложе Лейба Яффе, но тоже не ребенок, чтобы делать подобные глупости. И все же меня мучила мысль, что книга Гриберга "Реховот Наречный" так никогда и не будет написана. Я, конечно, мог процитировать ему его еще не написанную строку: "Я бежал до того, как пришел жуткий день". Но зачем, если наша миссия как раз и состоит в том, чтобы этот жуткий день не пришел, или чтобы он хотя бы не был таким жутким?

Парадоксы такого рода буквально преследовали меня. И не только меня. И мы решили их игнорировать. Мы отметили День Памяти павших в войнах Израиля и отпраздновали День Независимости. Здесь государство еще не было провозглашено, а большинство погибших солдат ЦАХАЛа, которых мы вспоминали, еще не родилось, но в нашей памяти они были – и Декларация Независимости, и павшие в будущих войнах. Мы пришли из другой реальности, эта другая реальность сформировала нас, и теперь мы создавали новую реальность, которой никогда не было, но которая будет для нас и для местных.

Не стоит думать, что для такого рода философских исканий было много свободного времени. Практических проблем, каждую из которых надо было решить немедленно, хватало на всех уровнях. Не хочу изображать из себя большого человека и утверждать, что из-за того, что я однажды присутствовал на заседании с Бен-Гурионом, я имею хоть какое-то понятие о том, как удалось договориться с руководителями ишува, а через них – с англичанами. Это было не моего ума дело. Договорились, не сразу, не гладко, но договорились. Каким-то образом

англичане поняли, что с нами не стоит ссориться, что Палестина для них потеряна, но им не надо нас опасаться и ждать от нас удара в спину в то время, как они сражаются с итальянцами, немцами и французами. Они поняли, что мы можем быть для них союзником. Станным, непонятным, буквально не от мира сего, но очень мощным союзником.

А тяжелейших проблем – в отличие от союзников – у англичан было много. Нацисты захватили Европейский континент. Они оккупировали Норманские острова. Их самолеты бомбили британские города, а также британские базы на Мальте. В течение считанных месяцев после того утра они оккупировали Югославию и захватили Грецию, разгромив британский экспедиционный корпус. Советский Союз был союзником нацистов. А американцы крепко держались за свой нейтралитет.

В Северной Африке высадился германский экспедиционный корпус генерала Эрвина Роммеля, который остановил паническое бегство итальянских войск и перешел в наступление. Граничащую с британской Палестиной Сирию контролировали французские вишисты. В Ираке началось пронацистское восстание...

Мы вмешались в войну неожиданно для всех, в том числе и для самих себя. Прямо в то утро. Собственно, тем, что оказались там, где мы и так были раньше или, может быть, позже – это зависит от точки зрения. Вишисты вдруг заметили, что их силы на Голанских высотах исчезли, а какая-то чужая армия контролирует полосу в 10 км шириной или даже больше вдоль границы британской Палестины. И эта полоса находится на французской стороне границы. Не знаю, что они подумали. Может быть, вишисты решили, что британское вторжение в Сирию, которого они ожидали, началось. Может быть, они заметили, что флаги, развевающиеся над вражескими позициями, не британские, а сионистские, и решили, что это еврейские военизированные формирования из Палестины действуют

по заданию англичан. Не важно. Главное, что они попытались атаковать наши позиции на Голанских высотах. И ЦАХАЛ ответил, еще не зная, с кем он имеет дело, полагая, что его атаквали шиитские милиции, союзники Ирана.

Позднее мы начали получать регулярные оперативные сводки с фронтов. По радио они были строго цензурированы – из-за местных. В интернете – когда снова появился интернет – информировали подробнее, потому что местные понятия не имели об интернете. Но и в интернете сводки цензурировались. Мало ли что?

Более или менее подробно я был информирован о том, что происходило в Ираке. Тоже, конечно, не во всех деталях, но все-таки из первоисточника. Мой старший знает арабский. Поэтому его призвали на армейские сборы и отправили в Ирак. Он был на нашей базе в Хите – там, где проживает древняя караимская община, – примерно месяц. Потом мой старший рассказывал, что в Ираке есть еще одна база ЦАХАЛа – тоже на западном берегу Евфрата, напротив города эль-Фаллуджа. Эта вторая база называется Пумбедита, потому что та Пумбедита, в которой когда-то была знаменитая иешива, находилась именно на месте нынешней эль-Фаллуджи.

После 9 мая, когда самолеты люфтваффе начали прибывать в Ирак, чтобы помочь режиму Рашида Али аль-Гайлани в его войне против англичан, ЦАХАЛ предпринял несколько впечатляющих атак на иракские аэродромы. То, что 2 мая иракцы полностью перекрыли поставки нефти в Хайфу, косвенным образом нанесло ущерб и нашим интересам.

Местные еврейские бойцы из ЭЦЕЛа приняли участие в англо-иракской войне независимо от нас. Их командир Давид Разиэль был убит точно так же, как и в нашей прежней реальности, 20 мая в бою за эль-Фаллуджу в результате налета германских ВВС. Багдадский погром тоже произошел так, словно нас не было, 1-2 июня. Было много убитых и раненых евреев, не говоря уже о грабеже. Но дальше течение истории изменилось. ЭЦЕЛ принял

решение воспользоваться нашим присутствием на западном берегу Евфрата для того, чтобы создать там защищенную автономную зону для иракских евреев. Англичане были не против. У них было более чем достаточно своих собственных проблем с арабами, и контролируемая евреями зона на западном берегу Евфрата им совсем не мешала. Даже наоборот. Так неожиданно возникла идея Великой Эрец-Исраэль – буквально как сказано в Писании: "От реки Египетской до реки великой, реки Евфрат".

Сионистская экзекутива поддержала эту идею. Она не заявляла открыто о том, что еврейское государство должно быть в прямом смысле от Нила до Евфрата. Боже упаси. Ее резолюция говорила только о создании защищенной и автономной зоны Пумбедита для иракских евреев в качестве временной меры. Более сотни тысяч иракских евреев перебрались в эту зону. Боевики ЭЦЕЛа и ЛЕХИ вместе с созданными ими из молодых иракских евреев вооруженными формированиями выгнали из зоны Пумбедиты большинство проживавшего там арабского населения. Да, да, и радикалы из ЛЕХИ тоже приняли активное участие в операции "Маген а-Мизрах"¹, потому что Авраам Штерн отдал в свете новых условий, создавшихся после того утра, приказ прекратить операции против англичан.

Была создана временная администрация автономной зоны Пумбедита, включившей в себя, помимо западного берега, также и отдельные плацдармы на восточном берегу Евфрата, включая аль-Фаллуджу. Этот город снова стал называться Пумбедита. Во главе временной администрации был поставлен признанный вождь сионистского движения в Ираке, адвокат Салман Шина.

Местные под защитой "Хаганы" начали прокладывать шоссе из Пумбедиты в Бейт-Шеан. Местные евреи отнюдь не дураки и не бездельники. "Хагана" заняла также территорию, которая для нас была до того утра сирийской

¹ Восточный щит (иврит).

мухафазой Дараа. Местные евреи называли ее "Южный Башан". 100 тысяч дунамов земли принадлежало в этом районе еврейской организации ПИКА – аббревиатура от слов "Палестинская еврейская колонизационная ассоциация" на идише – еще со времен османского владычества. Но сначала турки, а потом французы не допустили развития еврейских поселений на этих землях. Теперь сионистская экзекутива решила, что пришло время заселить Южный Башан евреями. Экзекутива полагала, что можно будет превратить в земледельцев сирийских евреев, вынужденных бежать из своих древних кварталов в Арам-Цове и Дамаске. "Мосад ла-алия бет" приложил много усилий к тому, чтобы привести их в Южный Башан. Однако почти все они поселились в оставленных мусульманами домах города Дараа, который начали называть его библейским именем Эдрей.

О том, что происходило на Североафриканском фронте, я знаю фрагментарно, более или менее, как все те, кто черпал сведения о произошедших там драматических событиях из официальных сообщений нашего радио и интернет-сайтов. Но в то же время я знаю это очень лично. Можно сказать, что я чувствую эти события. Мне удалось получить специальное разрешение приехать в Хайфский порт, чтобы проводить моего младшего, который когда-то служил в "Шаетет-13". Для североафриканской операции мобилизовали всех солдат и офицеров, которые служили – буквально до того утра или даже за годы до этого – во всякого рода подразделениях коммандос. Вообще для этой операции мобилизовали лучшие силы из тех, что были в нашем распоряжении.

У нас было полное превосходство во всем, что касается танков, артиллерии, ракет, пехоты, приборов связи и разведки. Проблема состояла в том, что у нас было очень мало серьезных самолетов и вообще не было боевых и транспортных кораблей. У нас были военные вертолеты, но они не могли долететь прямо со своих баз в Ливию, не говоря уже о том, чтобы вернуться на базы после операции.

Так возникло тесное сотрудничество между ЦАХАЛом и британским королевским военно-морским флотом.

Оказывается, нашему командованию удалось убедить англичан в том, что такое сотрудничество жизненно необходимо не столько нам, сколько им. Иначе невозможно объяснить, как они согласились на то, чтобы на их авианосцах "Арк Ройял", "Игл" и "Фьюриес", которые готовились выйти из Хайфы к берегам Ливии, развивались бы рядом с их "юнион-джеками" и наши бело-голубые флаги со щитом Давида. С нашей стороны это было не просто выражение национальной гордости. Было критически важно, чтобы немцы узнали, что они имеют дело с мощной еврейской армией, способной нарушить все старые правила ведения войны и навязать всем свою повестку дня.

Британские авианосцы транспортировали наши военные вертолеты. Те части палуб, где они стояли, были закрыты для англичан и вообще для местных. Доверие ЦАХАЛа к новым союзникам было весьма ограниченным. Наше оружие и наша военная техника ни в коем случае не должны были попасть в чужие руки. Среди прочего по этой причине на трех британских авианосцах находились многочисленные бойцы ЦАХАЛа, не имевшие отношения ни к ВВС, ни ВМС.

Мой младший тоже был там. Это, собственно, все, что я видел своими собственными глазами. Остальное я знаю так же, как знают все: германско-итальянская армия в Ливии была разгромлена. Немецкие и итальянские боевые самолеты и корабли, которые непрерывно, начиная с июня 1940 года, блокировали и атаковали Мальту, были уничтожены. Британские войска заняли Ливию и Тунис. Сионистская экзекутива организовала массовую эвакуацию ливийских и тунисских евреев на Северный Синай, который должен был стать западной окраиной Великой Эрец-Исраэль. Ведь рабби Саадия Гаон идентифицировал пересыхающую реку Вади эль-Ариш с упомянутым в книге

Ииусуса Навина в качестве границы надела колена Иуды "потоком Египетским". А название главного города Синайского полуострова эль-Ариша было переведено с арабского на иврит – теперь он называется Суккот. Ну, и наконец, самое важное – наши командос захватили в Ливии в плен и доставили в Эрец-Исраэль на базу ЦАХАЛа генерала Эрвина Роммеля и нескольких офицеров его штаба.

Чтобы еще более усилить и без того сильное впечатление, которое было, несомненно, произведено на немцев нашей североафриканской операцией, ЦАХАЛ в ходе неожиданной даже для нас самих молниеносной операции освободил Крит. Это произошло в начале июня, буквально через считанные дни после того, как немецкий десант с огромными потерями захватил остров. Освобождение Крита сопровождалось мощными ракетными ударами по немецким и итальянским объектам в материковой Греции. На Крите была создана большая база ЦАХАЛа, сыгравшая важную роль в осуществлении нашей миссии. Это знают все. Во время операции на Крите одна пуля досталась моему младшему. Но эта была уже моя личная беда.

Роммеля и его офицеров после недели, проведенной ими на Святой Земле, освободили. И не только освободили, но и отвезли домой – из Эрец-Исраэль – на Крит, а с Крита – на итальянскую базу в материковой Греции. Они должны были передать нацистскому руководству наши требования. Это было буквально накануне нападения Германии на СССР. То есть, накануне даты этого нападения в нашей прежней реальности, но не в этой. После тяжелых поражений в Северной Африке и на Крите немцы отложили начало войны против СССР.

Было бы наивным надеяться, что таким образом война между Германией и СССР будет предотвращена. Наше временное правительство, кстати, и не ставило перед собой такой задачи. Но начало войны задержалось. Я встал утром 22 июня 1941 года и узнал, что Германия не атаковала Советский Союз. Я подумал о моей маме,

которая только что закончила пятый класс. Это был для нее очень тяжелый учебный год. Деда перевели из их местечка Пирятин в большой город Чернигов. В местечке русской школы не было. Вот мама и училась в украинской школе. В Чернигове дед решил перевести маму, которая вообще не знала русского языка, в русскую школу, полагая, что русский язык важнее для дочери офицера, который сегодня служит на Украине, а завтра – поди знай, где. Бедной маме пришлось немало поплакать, пока она выучила русский...

В нашей прежней реальности немцы в первый раз бомбили Чернигов 27 июня, а мой дед ушел со своей частью на фронт уже 22 июня. Жена и дети не видели его до 1944 года, когда он, выйдя из госпиталя после тяжелого ранения, получил отпуск и приехал к ним в эвакуацию. Что делали они все 22 июня 1941 года в нашей новой реальности, я не знаю. Но немцы, по крайней мере, не будут их, видимо, бомбить 27-го.

«А 30 тишрея, в годовщину смерти моей мамы, - подумал я, - мне надо не только прийти в синагогу и прочитать кадиш, но и поехать на ее могилу на кладбище в Элькане. И заехать по дороге к тете Белле, маминой младшей сестре, которая живет в Ариэле. Она слишком стара и слишком слаба для того, чтобы самой поехать на кладбище. А в Чернигове тете Белле всего два года...»

Я старался как можно меньше думать о них. Иначе можно было с ума сойти и начать изводить себя самого и всех окружающих идиотским вопросом по поводу бабушки, которая еще не родилась, но, тем не менее, уехала в Биробиджан продавать квартиру и дачу.

Вполне естественно, что немцы боялись начинать войну против СССР после такого поражения в Северной Африке и вообще на Ближнем Востоке, имея за спиной не только Великобританию, но и нас, непонятных, буквально дьявольских евреев, которые словно воплотили их

надуманные кошмары относительно угрозы еврейского господства над миром.

Генерал Эрвин Роммель передал наши требования нацистскому руководству. Мне, естественно, не сообщали подробностей, но, по сути, насколько я понимаю, было только два требования. Во-первых, ни в коем случае не истреблять евреев, находящихся на контролируемых немцами территориях, а дать им выехать в Палестину или хотя бы на Крит. Во-вторых, не лезть на Ближний Восток. Нам необходимо было показать, что мы не вмешиваемся в европейскую войну, пока не заходит речь о наших интересах – о жизни наших братьев и сестер и о безопасности нашего региона. Иначе... Молниеносный разгром их войск в Северной Африке и на Крите дал им понять, что к нашим требованиям стоит относиться серьезно.

Уверен, что нацисты были не в восторге от такой ситуации, но они не пытались атаковать нашу базу на Крите. Понемногу в Эрец-Исраэль начали прибывать еврейские беженцы из Европы – сначала из Греции и Югославии, потом – из Богемии, Германии и Польши. Их число постоянно росло. Однако их устройством занималось не наше правительство, а экзекутива местных евреев. Лишь время от времени у нас просили помощи – палатки, продовольствие, лекарства, транспорт. Наше правительство помогало, хотя с лекарствами и транспортом было не всё так просто, потому что мы твердо держались правила не передавать местным наших технологий.

Ко всему этому я имел очень слабое отношение. Я ведь работал в Иерусалимском муниципалитете, а в Иерусалиме новых репатриантов не селили. Мы старались, насколько это было возможно, превратить Иерусалим в нашу и только нашу столицу, а местные евреи пусть превращают в свою столицу Тель-Авив. Мы, конечно, не выгоняли из Иерусалима местное еврейское население – не дай Бог. Их национальные учреждения мы тоже не требовали вывести из Иерусалима. Это нет. Мы даже позволяли местным евреям приходить молиться к Стене Плача – не через

Еврейский квартал, который был полностью нашим, а через Мусорные ворота Старого города. Чтобы было как можно меньше трений между нашими и местными. Я ведь уже сказал, что с местными всегда остаются закрытые темы и недопонимание. Они, конечно, евреи, как и мы, но это не всегда помогает. Иногда даже наоборот. Недоверие между нами с самого начала было велико, и оно не исчезло, несмотря на постоянное сотрудничество и общих врагов. Ну да ладно...

Из Иерусалима меня вызвали, когда стало известно, что прибывает неофициальная советская делегация. Переговоры должны были проходить не в Эрец-Исраэль, а на базе ЦАХАЛа на Крите. Как можно дальше от англичан и от местных евреев.

Полет из Атарота до Ираклиона занял полтора часа. В течение этих полутора часов я морально готовился к встрече со своим младшим. Все произошло очень быстро: мобилизация, прощание в Хайфском порту, победные репортажи из Северной Африки, немецкая пуля в битве за Крит, телефонный разговор, в котором мой младший объявил нам, что его рана не слишком опасная, но он задерживается на Крите, он будет пока служить там на базе, а когда вернется - он не знает. Я сразу же почувствовал какую-то недоговоренность, даже отчужденность. Это чувство оставалось и при дальнейших телефонных разговорах...

Сверху мне показалось, что Ираклионский аэропорт мало изменился по сравнению с тем, что я видел, когда был на Крите в семейном отпуске. Задолго до того утра. Мой младший тогда был еще совсем маленьким. Он плескался у самого берега и требовал, чтобы я не уходил – главное – не уплывал, а оставался рядом с ним. Теперь он стоял сразу же за паспортным контролем. С костылем, но в целом довольно бодрый.

В Атароте нам выдали странные паспорта. Их наверняка специально напечатали так, чтобы они были более или менее похожи на документы местных. И даты в них тоже значились "местные". Я узнал из своего паспорта, что стал старше на 80 лет. Тем не менее, это были паспорта Государства Израиль. На иврите и по-английски. Открывались они, как обычно, с правой стороны. Греческого полицейского это не удивило. Он уже видел израильские паспорта. Существование независимого еврейского государства с сильной армией, которая прогнала с острова немцев и создала на нем свою базу, его тоже не удивляло. Ведь он не был в Иерусалиме в то утро. Так мало ли что может быть за морями, особенно в Святой Земле. Может быть, там образовалось во время войны независимое еврейское государство с сильной армией. А почему бы и нет? Немцев ведь еврейская армия прогнала? Прогнала. Паспорта с еврейской менорой есть? Есть. Так какие еще доказательства нужны? А то, что у еврейской армии есть такая техника и такое оружие, каких нет даже у немцев и англичан, тоже не удивительно. Евреи ведь не турки и не албанцы. Вот ведь и в Евангелии от Матфея сказано: "Я послан лишь к потерянным овцам Дома Израилева".

А может быть, он думал как-то по-другому. Откуда мне знать? Я ведь не умею читать мыслей. Во всяком случае, полицейские и другие греки, встречавшиеся мне, вели себя совершенно нормально. Я почувствовал на Крите какое-то облегчение. Как будто я просто где-то за границей. Как до того утра. Это ощущение еще больше усиливалось от того, что мы прибыли именно в аэропорт Ираклиона и прошли через греческий паспортный контроль, а не приземлились прямо на нашем военном аэродроме в Малеме.

По дороге – я ведь прилетел не один, и мы все ехали из аэропорта на нашу базу автобусом – мне не удалось толком переговорить с моим младшим, хотя дорога заняла чуть ли не три часа, а сидели мы рядом. Мы говорили о его ранении, о его лечении, немного о его нынешней службе на базе, но не о том, о чем я хотел у него спросить.

Когда мы в конце концов остались одни, я прямо спросил его: "Сынок, что случилось? Не крути мне голову. Скажи толком. Я же тебя знаю".

- Отец, я встретил женщину.

- Шиксу?

Мой младший улыбнулся: "Френкиню".

Мне сразу же стало легче. Я чувствовал, что дело связано с какой-то любовью. Раненный боец спецназа, лежащий в госпитале, и симпатичная медсестра... Я боялся, что медицинская сестра может оказаться шиксой, местной гречанкой, потому что наших девушек на базу на Крите не отправляли. Насколько я знаю. К тому же, если бы мой младший всерьез влюбился бы в нашу девушку, никакой отчужденности не было бы. Я ведь его знаю. Но я, видимо, не все знал. Наверное, все-таки на Крит отправили наших девушек, а я и не знал. А то, что она френкиня? Чтоб у меня больших несчастий не было. Одна из моих дочерей замужем за йеменцем. И слава Богу. У меня, благодаря этому есть очень симпатичные внуки – йеменцы лайт. Тут я вспомнил, что я больше не увижу этих внуков, потому что моя дочь жила со своей семьей в мошаве рядом с Бейт-Шемешем. То есть, она еще не родилась и даже этот мошав еще не основан. «Но ладно. Не думать об этом, иначе будет бабушка, которая поехала в Биробиджан продавать квартиру и дачу».

- Когда она успела попасть на Крит? – спросил я, чтобы хоть что-то спросить.

- Она тут родилась. В Ханье есть маленькая еврейская община. Что-то вроде 300 человек.

- Местная? – спросил я, уже понимая, что да, местная и что именно это причина недоговоренности и отчуждения.

Я ничего не добавил. Что тут можно добавить? Наши раввины предавались казуистическим спорам по поводу того, позволено ли вступать в брак с местными евреями. И есть мнение, что это запрещено, из-за запрета кровосмешения, короче из опасения, что вдруг эти местные евреи – наши дедушки и бабушки. Но какие дедушки и бабушки, если моя семья и семья моей жены происходят с

Украины, а тут на тебе – френкиня с Крита. Но все-таки она местная...

Мой младший будто читал мои мысли. Он ведь меня тоже знает.

– Отец, а как ты думаешь, мы будем здесь жить дальше? Как инопланетяне? - спросил он. На иврите "инопланетяне" – "хуцаним", от слова "хуц" – "кроме", "вне".

– Очень подходящее слово, сынок, именно "хуцаним". Я не знаю ответа на твой вопрос. Оставь. Лишь бы ты был здоров. Главное, что ты остался жив, хоть тебя малость и поцарапало. Поживем - увидим.

На этом мы закончили разговор. Загадочную "френкиню", которую звали Виктория, я на базе не видел. Она действительно была медсестрой, которую взяли на работу в наш военный госпиталь. Но сейчас она была в коротком отпуске и уехала к своим родителям в Ханью. Наверняка из-за моего приезда. Больше об этом мы не говорили.

Мой младший взял армейский джип и отвез меня в Ханью. Это совсем недалеко от Малеты. Просто посмотреть на город, а не для того, чтобы представить мне Викторию. Местных евреев я в Ханье вообще не видел. Старинная романиотская синагога "Эц-Хаим" была сильно повреждена германскими бомбардировками. Никто в ней не молился. Мы ели жаренную на углях рыбу в маленьком греческом ресторанчике неподалеку от средневековой венецианской гавани, смотрели на море, молчали, и нам было хорошо.

А утром следующего дня начались переговоры с "неофициальной" советской делегацией. Они продолжались три дня. Нехватки в молодых ребятах, которые могли переводить с русского на иврит и наоборот, в ЦАХАЛе не было. Меня взяли в качестве советника по истории СССР. Ну, и идиш, конечно, сыграл свою роль.

Советская делегация состояла в основном из евреев. Возглавлял ее Максим Литвинов. А он был породистым евреем, его настоящее имя было Меер-Генех Валах. Буквально накануне этой поездки его назначили заместителем народного комиссара иностранных дел. В нашей прежней реальности Литвинова вернули к делам сразу же после начала советско-германской войны. Он до этого сам был народным комиссаром иностранных дел, но впал в немилость у Сталина из-за конфликта с Молотовым, и в 1939 году ушел в отставку. В феврале 1941 года, чуть раньше или чуть позже того утра, Литвинова исключили из ЦК ВКП(б). И тут – нате вам – он снова стал евреем, полезным для Сталина.

Членами делегации были также Соломон Михоэлс и Ицик Фефер. В нашей прежней реальности они вдвоем разъезжали в 1943 году по США, Канаде, Мексике и Великобритании в качестве представителей Еврейского Антифашистского Комитета, но Еврейский Антифашистский Комитет был создан лишь в феврале 1942 года, через несколько месяцев после того, как Германия напала на СССР.

Был там и Леонид Райхман. Нам он сказал, что его еврейское имя – Элизер. Мерзкий тип. В феврале 1941 года он стал заместителем начальника второго (контрразведывательного) главного управления НКВД. Я знал, что он - куратор Ицика Фефера, который – наряду со своим поэтическим творчеством – тайный осведомитель НКВД.

Встретился я там и с Гиршем Сухаревым, первым секретарем обкома ВКП(б) Еврейской автономной области. То, что Советы включили его в состав делегации, было важным знаком с нашей точки зрения. В феврале 1941 года, практически сразу же после того утра, Гирш Сухарев представил на заседании Совета Национальностей СССР свой план переселения в Биробиджан десятков тысяч "западных" евреев, которые стремились бежать от Гитлера. "Западными" в СССР тогда называли жителей только что присоединенных областей – Западной Украины, Западной

Белоруссии, Молдавии, Литвы, Латвии, Эстонии. А также тех, кто бежал на контролируемую Советами территорию, спасаясь от немцев. Реализация плана Сухарева способствовала бы выполнению нашей миссии – спасти как можно больше евреев, пусть даже в далеком и холодном Биробиджане. Как сказано в еще ненаписанной песне Гирша Глика: "От зеленой страны пальм до страны белого снега".

На серьезных заседаниях, в которых, кроме евреев, участвовали и русские армейские начальники, я не присутствовал. Трудно поверить, чтобы еврейские члены советской делегации стали бы на таких заседаниях переговариваться между собой на идише. С русскими начальниками я даже не познакомился лично. Зачем? Со мной советовалось наше начальство. Не о том, как вести переговоры, а относительно разных исторических деталей, имевших отношение к политике СССР, а также относительно того, кто есть кто в Советском Союзе. Мне это не мешало. Я не рвусь прыгать выше головы.

А вот с еврейскими членами делегации я проводил немало времени. И главное – в неформальной обстановке. Мне надо было донести до них важность организованной эвакуации – я старался использовать только термин "переселение" – еврейского населения; не только "западных" евреев, но и всего еврейского населения западных районов СССР. Желательно – в Еврейскую автономную область, как предложил товарищ Сухарев, но главное – эвакуировать. То есть, организовать переселение. Война с Германией рано или поздно неизбежно начнется. Всем известно отношение нацистов к евреям. В Польше, я имею в виду оккупированную Германией часть Польши, уже организованы гетто. Такие же, как в средневековье, и даже еще хуже. Немцы называют их официально "юдишевонбециркен" – "районы проживания евреев", но это именно гетто. Мы знаем, что нацисты хотят уничтожить еврейский народ. Физически уничтожить, а не ассимилировать. Сделайте мне одолжение, не задавайте мне вопросов о том, откуда мы

это знаем. Я все равно не отвечу. Лучше выслушайте меня. В Эрец-Исраэль евреи защищены. Из Европы мы изо всех сил стараемся вывезти как можно больше евреев, но в Советском Союзе существуют особые условия...

Они отнюдь не были дураками, даже этот гнусный мерзавец Райхман. Они разговаривали со мной очень осторожно – боялись друг друга, но я чувствовал, что до них доходит смысл моих слов. Может быть, они как-то повлияют на тех, кто на самом деле принимает решения в Советском Союзе? Может быть, да, а может быть, нет. А сколько времени остается до нападения Германии на СССР, я не знаю.

Я помню последний проведенный нами вместе вечер. Мы организовали для них экскурсию в Ханью. Взяли три джипа, поставили их возле того ресторанчика у венецианской гавани, в котором я сидел со своим младшим сразу же после моего прибытия на Крит. От ресторанчика мы пошли по Старому городу пешком, не торопясь. Экскурсию проводила Виктория, "френкиня" моего младшего. Весьма привлекательная девушка. Мой младший, кстати, тоже был на той экскурсии. Они вели себя так, словно между ними ничего нет. Как будто они просто знакомые.

- Шалом-aleyхем. Брухим а-баим¹, - сказала по-древнееврейски с сефардским произношением Виктория. После этого она говорила по-английски, а Литвинов вызвался переводить на русский.

Она показала нам знаменитый "египетский" маяк, венецианскую цитадель Каstellи, мечеть янычаров и, конечно, синагогу "Эц-Хаим". Следы немецких бомбардировок повсюду бросались в глаза.

Потом Виктория привела нас назад к ресторанчику, где нас уже ждали. Она вежливо, но твердо отказалась посидеть с нами немного и ушла. Мой младший отвез ее домой на одном из наших джипов.

¹ Мир вам. Добро пожаловать.

После того, как сделали "лехаим" – узо в ресторанчике имелся в изобилии, и это был очень хороший узо, градусов 50 – на идише заговорили даже Литвинов и Райхман, державшиеся до этого более или менее официально и потому говорившие по-русски. Я спел гостям пару песен Булата Окуджавы в моем переводе. Песни понравились. Михоэлс даже слезу пустил, попросил спеть еще раз и сам подпевал:

*Пока Земля еще вертится
Пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому,
Чего у него нет:
Умному дай голову,
Трусливому дай коня,
Дай счастливому денег,
И не забудь про меня.*

- Чья это песня? – спросил великий еврейский артист.

- Есть у нас один очень популярный эстрадный исполнитель. Он сам сочиняет песни. И слова, и музыку. Его зовут Булат.

- Булат? – переспросил Михоэлс, - Странное имя. Еврей?

- Ну, на его обрезании я не присутствовал, - деланно рассмеялся я. - Его отец был из Грузии.

- А-а, понимаю... Может быть, это псевдоним.

- Может быть.

Здесь в наш разговор вмешался Фефер. Он спросил, разрешают ли вообще у нас в Палестине разговаривать на идише, потому что он слышал, что сионисты запретили идиш.

- Больше действительно разговаривают на святом языке. Ведь в Эрец-Исраэль не все ашкеназы, но есть, конечно, и такие, кто разговаривает на идише. Это у нас не

запрещено, - дипломатично выкрутился я, не пускаясь в объяснения, что означает в данном случае "у нас".

- А вы тоже говорите на идише? – спросил Фефер, резко повернувшись к моему младшему, который буквально в этот момент вошел.

- Йо, а бисл¹, - твердо ответил мой младший, помнивший на идише главным образом такие выражения как "гей шлофн"², "гей пишн"³, "дрейниткейн коп"⁴ и тому подобное. В дополнение к этому мой младший хорошо помнит хасидскую песню "Ша-штил, махт них кейгеридер, дер ребе гейт шойн танцнвидер"⁵, которую мы частенько пели дома за субботним столом, и он запел ее – умный парень. Все советские гости подхватили.

Допев до конца, до строк "Ун аз дер ребе зингт демэйликнигн, блайбт дер сотн а тойтерлигн"⁶, начали повторять снова и снова, хлопая в такт в ладоши, рефрен "Ша-штил". Тут опять вмешался Фефер:

- Всё это устаревшая клерикальная культура. Все эти "Господи, дай" и "Когда ребе поет" отражают прошлое, вчерашний день еврейской культуры. А в Советском Союзе развивается новая, прогрессивная, безбожная, я бы сказал, культура и...

- Да, да, - прервал я его, - Не думайте, товарищ Фефер, что мы в Эрец-Исраэль не знаем об этом. Мы знакомы с лучшими образцами советской еврейской культуры. Не только евреи, но даже англичане знают, что лучшая в мире постановка "Короля Лира" была осуществлена товарищем Михоэлсом в 1935 году в Московском еврейском государственном театре. Мы знакомы и с произведениями ведущих советских еврейских поэтов. Вот, например:

¹ Да, немного.

² Иди спать.

³Иди пописай.

⁴Не крути голову.

⁵Ша, тихо, не шумите! Ребе уже снова пускается в пляс.

⁶ А когда ребе поет святой напев, Сатана падает замертво.

*О, мечты ворошащие ворох!
Босяки, голодранцы, друзья,
Я писал вам стихи на заборах
О себе и таких же, как я.*

Услышав свои собственные поэтические строки, написанные им еще в 1925 году, Ицик Фефер несколько смягчился. Он завел со мной полупьяную беседу о высоких материях: театр, поэзия, идиш, иврит, клерикализм, свободомыслие и тому подобное. И тут Литвинов вдруг спросил, обращаясь ко мне совершенно трезвым голосом, коротко и непонятно:

- До какой линии?

Моментально прекратились все разговоры, которые велись в разных концах стола. Все посмотрели на меня.

- Что значит, до какой линии? – не понял я.

- Я имею в виду, до какой линии надо эвакуировать евреев. Докуда дойдут, по вашим данным, немцы?

В этом, собственно, и была суть дела. Все остальное было шелухой. Литвинов был опытным дипломатом и мужественным человеком. Об этом мне было известно и раньше. К тому же, как теперь выяснилось, он был евреем, которого волновала судьба его народа, несмотря на то, что свой главный вопрос он задал все-таки по-русски.

Я понял, что наступил решающий момент. С ним не имело смысла ходить вокруг да около. Он дал понять, что он, заместитель народного комиссара иностранных дел Максим Литвинов, а точнее – Меер-Генех Валах, сын белостокского купца реб Мойше Валаха, верит мне, что опасность, угрожающая евреям, велика, и что он готов рискнуть своим положением и своей жизнью для того, чтобы попытаться спасти своих братьев и сестер. Я оценил его мудрость и его мужество и ответил совершенно искренне:

- Реб Меер-Генех, вы учились в хейдере. Может быть, вы помните, что с того дня, когда был разрушен Храм, пророки лишились дара пророчества, и этот дар был передан глупцам. Я не хочу выглядеть глупцом, но я скажу

вам: вся Белоруссия, вся Украина, Молдавия, конечно, прибалтийские республики и кусок Российской Федерации до линии Ленинград – Москва – Сталинград – Грозный.

- Азой гор?¹ – спросил потрясенный Литвинов.

- К сожалению, так. Это значит, что Еврейская автономная область, которую представляет здесь товарищ Сухарев, – не самый худший выход. Даже если не успеют надлежащим образом подготовить всё для того, чтобы принять переселенцев.

- Азой гор? – снова спросил Литвинов.

- К сожалению, именно так.

Я вернулся в Эрец-Исраэль как оплеванный. Нет, у меня не было претензий к советской делегации, и к нашему начальству тоже. Боже упаси. Дело в том, что в нашем самолете вместе с нами летел с Крита местный, но не просто местный, а глава лодзинского юденрата Мордехай-Хаим Румковский со своей семьей. Тот самый, который призвал в сентябре 1942 года "Отдайте мне ваших детей!". Ведь он еще до Первой Мировой войны проявлял какую-то активность в сионистских организациях. Здесь, в этой реальности, он еще не сказал: "Отдайте мне ваших детей!", но это был тот самый Мордехай-Хаим Румковский, глава юденрата. Он оставил в гетто лодзинских евреев и использовал свои связи в сионистских кругах для того, чтобы бежать от смерти среди первых. Его даже взяли в наш самолет, в который местных якобы вообще не брали.

- Почему именно эта мразь? Почему не Адам Черняков, например, если уж мы спасаем глав юденратов? – думал я, - Нет, Адам Черняков слишком порядочен для того, чтобы протолкнуться, идя по головам. Он пишет сейчас тайком свой дневник в Варшавском гетто, и если мы не преуспеем в выполнении нашей миссии, он, возможно, и в этой реальности покончит жизнь самоубийством...

¹Вот даже как? (идиш)

После возвращения в Эрец-Исраэль я сразу же поехал к себе в поселение. Я забрался под горячий душ и мылся, мылся. Потом я позвонил Шмуэлю и сказал ему, что я должен, что мне просто необходимо с ним поговорить.

- Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? – спросил Шмуэль после того, как я излил перед ним мои переживания и сомнения, - Ты не знал, что мерзавцы лучше всех умеют приспособливаться к любым условиям, к любым измам? Ты что, ребенок? В нашей прежней реальности Мордехай-Хаим Румковский держался аж до августа 1944 года, когда из гетто вывезли в Освенцим уже всех. Ты думал, что теперь он станет фраером или скрытым праведником? Ну, правда, ты что, ребенок?

- Хочу тебе сказать, что если это следствие выполнения нашей миссии, то зачем мне эта миссия? Я ведь ради этой миссии рисковал жизнями своих сыновей.

- Во-первых, не ты один рисковал жизнями своих сыновей. Во-вторых, мы сами как-никак должны жить в этой новой для нас реальности. А за это надо платить. В-третьих, я не знаю, что сказать. Ведь сказал Екклезиаст: "Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников". Что изменилось? Ты спрашиваешь меня, почему Румковский уже спасся из гетто и прибыл в Эрец-Исраэль, а какой-нибудь порядочный еврей, скажем Мордехай Гебиртиг, все еще остается в гетто? – я не знаю. Спроси у Бога. Может быть, Он тебе ответит.

Все, что мне сказал Шмуэль, я знал и без него. Он, конечно, мой друг. К тому же он знаток во всем, что касается истории польского еврейства, но ничего нового он мне не сказал. Так просто, слегка привел в порядок то, что я и так знал, но не осмеливался сказать себе самому.

И все же необходимо признать, что после разговора со Шмуэлем мне как-то полегчало. Я почувствовал, что я не фраер. А это, как известно, у израильтян, главное. Мы готовы тяжело трудиться, если надо, готовы сражаться, если это необходимо, готовы жертвовать деньги и не

сожалеть об этом, если в нашем пожертвовании нуждаются. Это да. Но никто из нас не готов быть ффраером.

Я вернулся к работе в Иерусалимском муниципалитете. За дни, проведенные мною за границей, произошел конфликт с местными евреями, которые попытались захватить пустующие дома Немецкой колонии. Им не дали этого сделать. Не британская полиция или армия. Англичане уже ффактически перестали вмешиваться в происходящее в нашей столице. Не британская полиция или армия не дала им этого сделать, а наш МАГАВ.

Среди местных были раненые. Крайне неприятная история. Я понимаю, что наше начальство стремилось не допустить захвата местными евреями квартала, расположенного буквально вплотную к проложенной с таким трудом трамвайной линии, которая соединила наши северные кварталы с южными. Но я был уверен, что будь я в тот день в Иерусалиме, я бы нашел возможность обойтись без МАГАВа, во всяком случае – без такого грубого использования МАГАВа.

А, может быть, я ошибался?

Проблема состояла не в местных евреях как таковых. В ряде случаев они жили буквально по соседству с нашими: немало жителей местного мошава Атарот – до того утра на его месте стояли дома арабского квартала Кафр-Акаб – нашли работу в нашей промышленной зоне Атарот. От местного мошава Неве-Яаков остались в то утро буквально считанные дома, на месте которых до того утра стояли не наши дома, а дома арабской Бейт-Ханины. Местные евреи из тех домов в последнее время стали приходить каждую субботу молиться в близлежащую синагогу нашего квартала Писгат-Зеев. В квартале Шимон га-Цадик дома, населенные местными и нашими евреями, стояли вперемешку. У Стены Плача местные и наши евреи молились вместе. Мы помогали местным еврейским кварталам с водой, электричеством, дорогами. Иногда и с

медициной. Но, кроме обыкновенных местных евреев, было еще и местное еврейское начальство – экзекутива и тому подобное.

А конце лета для нас в муниципалитете провели инструктаж. Выступал какой-то человек из ШАБАКА. Он сказал, что обстановка в Эрец-Исраэль и вокруг Эрец-Исраэль, так сказать, в Великой Эрец-Исраэль в целом, непрерывно становится все более сложной. То, что произошло в Немецкой колонии в Иерусалиме, всего лишь инцидент местного значения. Причем не самый страшный. Мы, работники Иерусалимского муниципалитета, просто видели его последствия своими собственными глазами и должны были каким-то образом преодолеть вспышку ненависти в городе. Но надо видеть общую картину.

- Дамы и господа, - сказал человек из ШАБАКА, - за попыткой захвата домов в Немецкой колонии стоит преднамеренная политика экзекутивы и ее главы, поэтому вы должны быть готовы к продолжению провокаций со стороны местных.

Я был поражен. Такого я не ожидал. Это была еще не вся картина. Только намек на общую картину. Предисловие. Человек из ШАБАКА на этом не остановился и продолжил:

- Как известно, целью экзекутивы является создание независимого еврейского государства. В нашей прежней реальности это произошло в 1948 году. Здесь это может произойти раньше вследствие нашего появления. Уже сейчас британцы фактически перестали вмешиваться в дела ишува. Волна алии из Европы нарастает. Все это подталкивает Бен-Гуриона к провозглашению независимости.

Здесь он, наконец, назвал имя председателя сионистской экзекутивы.

После того, как прозвучало имя Бен-Гуриона, мы больше не могли сдерживаться. Человека из ШАБАКА прервали. Начались вопросы. Суть этих вопросов сводилась к следующему:

Окей. Они хотят провозгласить независимость, они хотят создать еврейское государство, которое примет еврейских

беженцев из Европы и из арабских стран тоже. Ну и хорошо. Как это может быть связано с провокацией в Немецкой колонии? Для чего им надо организовывать провокации против нас, рискуя жизнями местных евреев?

Человек из ШАБАКа немного подождал, а потом сказал громко и твердо:

- Мы ему мешаем.

Было ясно, что слово "ему" подразумевает Бен-Гуриона. Это мы сразу поняли. Ясно, что он социалист и немного диктатор, а мы ему чужды, непонятны и потому неудобны. Очень неудобны. Мы не будем выполнять его приказы. Наши технологии и наше оружие мы бережем для себя. И все же – мы остановили наступление Роммеля, помогли создать защищенную автономную зону Пумбедита, вернуть земли Южного Башана. Благодаря нам евреи спаслись из Ливии и Туниса, благодаря нам началась волна алии из захваченной нацистами Европы. Как он может преднамеренно проводить политику провокаций против нас? И что он выиграл от того, что местные евреи были ранены нашими магавниками?

На эту лавину вопросов человек из ШАБАКа ответил всего одной короткой фразой:

- Вы помните "Альталену"?

Что можно было на это сказать? Тот, кто отдал приказ стрелять по евреям из ЭЦЕЛа, наверняка мог организовать провокацию в Немецкой колонии в Иерусалиме, если он счел, что это полезно для достижения его целей. После этой короткой фразы человеку из ШАБАКа уже никто не мешал говорить, и он представил общую картину:

- Мы функционируем в качестве независимого государства, и мы останемся независимым государством со столицей в Иерусалиме, что бы ни было. О том, что мы станем частью полудиктаторского государства, которое будет раньше или позже провозглашено местными, не может быть и речи. Мы сформировались в совсем иную эпоху, у нас совсем другой культурный и политический бекграунд. Необходимо помнить о том, что нас меньше 800 тысяч человек. Это несколько больше, чем число местных

евреев в подмандатной Палестине. Однако еще немного и, если мы преуспеем в выполнении нашей миссии, из Европы начнут прибывать миллионы местных евреев. Уже сейчас ясно, что будущее местное еврейское государство включит в свой состав определенные территории Заиордания и Синай. Может быть, даже автономную зону Пумбедита. Мы обязаны позаботиться не только о местных евреях, но и о наших согражданах. Если Государство Израиль, наше Государство Израиль не будет существовать в качестве мощного независимого государства, даже в качестве сверхдержавы, которая будет в состоянии отстаивать наши ценности в этом диком мире, приближающемся к разработке ракетного оружия и атомной бомбы, мы не выживем.

Мы уже организовали реконструкцию местных самолетов, захваченных в Сирии, в Ливии, в Тунисе и на Крите, для наших нужд. Мы связали Голанские высоты с Самарией нормальным шоссе. Мы начали строить свой собственный морской порт в Ашдоде, и мы планируем занять весь Негев, кроме его северо-западной окраины, а также всю Араву до Эйлата. Там и так нет местных евреев. Наше Государство Израиль будет включать в свой состав Иудею, Самарию, Голанские высоты, Негев с Аравой, участок средиземноморского побережья между Ашдодом и Ашкелоном с шоссе, которое ведет к нему через нефтяное месторождение Сде-Хелец, а также шоссе через Бейт-Шеан, соединяющее Самарию с Голанскими высотами. Для местных будут два прохода через нашу территорию: от Гадеры на юг, к Газе и Синайскому полуострову, и через Бейт-Шеан на восток, к Гиладу, Южному Башану и Пумбедите.

Кто-то спросил, что будет с арабами, живущими на нашей территории.

- Я уверен, что эта проблема так или иначе будет решена, - уклончиво ответил человек из ШАБАКА, давая понять, что трансфер возможен, но детали – не нашего ума дело.

Из того, что нам рассказывал в ходе инструктажа о положении в Эрец-Исраэль человек из ШАБАКА, я запомнил еще, что местные бейтаристы приобрели большое влияние у иракских и вообще у восточных евреев, и они уже фактически создали свою собственную армию, которая контролирует автономную зону Пумбедита и части Гилада. Это очень беспокоит экзекутиву, которая хочет контролировать всю Эрец-Исраэль. И западный берег Евфрата в том числе. Где мы в этом конфликте и использует ли наше начальство эти разногласия между местными евреями в своих интересах, человек из ШАБАКА не сказал.

На мой вопрос относительно того, что в контексте нашей миссии происходит в СССР, человек из ШАБАКА ответил, что по информации, поступающей оттуда, Советы начали депортировать евреев с недавно присоединенных западных территорий на восток, видимо, по большей части – в Еврейскую автономную область. К тому же они направили большинство еврейских новобранцев последнего призыва на Дальний Восток. Молодых специалистов еврейского происхождения, закончивших этим летом советские ВУЗы, тоже отправили по распределению главным образом на Дальний Восток. Иными словами, Литвинову хоть что-то удалось...

Приближалась Рош а-Шана 5702 года. В продаже появились календари на 5702/5782 год. Такая двойная дата значилась на них. Но я уже начал привыкать к мысли о том, что для нас актуальна только первая дата. Будут проходить годы, и мы будем становиться все в меньшей степени пророками и все в большей степени глупцами. Грядущее, о котором мы знали все, осталось в прошлом. Наше собственное будущее будет постоянно отдаляться от того грядущего. Мы будем все больше и больше приближаться к местным. Надеюсь, что мы выполним нашу миссию. Может быть, мы даже действительно станем сверхдержавой. Ведь

уже сейчас рука Израиля одолевает противостоящих ему. Англичане, немцы и другие язычники уже поняли это. И все же рано или поздно мы станем местными, сольемся с ними.

За неделю до праздника мой младший известил нас, что сразу же после Симхат-Торы они с его френкиней Викторией поставят хупу. В старинной романиотской синагоге "Эц-Хаим" в Ханье.

Думая об этом, я шел на встречу с Лейбом Яффе. Встреча была связана с попытками нашего Иерусалимского муниципалитета "каким-то образом преодолеть вспышку ненависти в городе", как выразился человек из ШАБАКА. Ничего возвышенного в обсуждаемой теме не было. Я даже не помню, что это было, - кажется, что-то связанное с электричеством или водой для местных кварталов... И все же – а как же иначе? – мы затронули в разговоре и высокие материи.

Лейб Яффе, не торопясь, многословно рассказывал мне, что всю свою жизнь он мечтал об Эрец-Исраэль, о праве и чести жить в стране праотцев и строить ее заново. Этого для него было достаточно. Еврейская независимость представлялась ему недостижимой мечтой, к которой, тем не менее, обязательно надо стремиться. А теперь такая возможность выглядит абсолютно реальной.

- А какая у вас мечта? – спросил он вдруг, - Я имею в виду мечту вашей жизни, главное из главного. Есть у вас такая мечта?

В ответ на его вопрос я продекламировал наизусть поэтические строки, которые, по моему мнению, в соответствии с тем, что я ощущал всем своим существом, наилучшим образом отражали суть нашей миссии:

Прохаживается здесь еврей, восклицая мысленно: "Бог мой!

*Вот бы в лазурном празднике чуда через море сюда
Все местечки смогли убежать вместе с сутолокой
еврейской:*

*Эх, местечки с ландшафтами их, деревьями и цветами,
Синевой и зноем небесных вод...*

*Миллионы теплых евреев с буднями и всем тарарамом,
Себе под нос напевающих “баби-бам”,
С субботне-праздничным их переходом-к-Богу-
благословен-Он!
Прилепились бы здесь к Яффе и Ашкелону, Тверии и
Цфату, став
Периферией, полной любви к короне нашей – Иерусалиму!¹*

Лейб Яффе немного помолчал, а потом задумчиво спросил:

- Это ваши стихи?
- Нет, - ответил я, - Ури-Цви Гринберга.
- Ури-Цви Гринберга, этого ревизиониста из Халястры? – чуть поморщился Лейб Яффе.
- Да, этого ревизиониста из Халястры.

Перевод с идиша - автора

¹Перевод Валерия Слуцкого.

Противостояние

...Река Каменка, что недалеко от Томска в районе деревни Заварзино, летом представляла собой большой ручей, который можно перейти вброд.

Весной речка наполнялась талой водой и превращалась в бурный, мутный и опасный поток глубиной до двух метров, а может быть, и больше. На берегу этой коварной, весенней, быстрой реки весной 1-го мая 1973-го года мы разбили лагерь.

В девятом-десятом классах мы часто и с огромным удовольствием ходили в походы на природу. Добравшись до окраины города на автобусе, потом несколько километров топали пешком, тащили тяжёлые рюкзаки, чтобы несколько дней побыть вдали от уличного шума, посидеть возле уютного костра под гитару и дешёвый портвейн, поглазеть на далёкие звёзды, в общем, отдохнуть.

Как всегда, собралось нас не больше десяти человек - романтиков, которые "в городах не блещут манерами аристократов", которым не сидится дома, и которых родители не боялись отпустить одних, безоговорочно доверяя нам, надеясь на наше благоразумие, самостоятельность и навыки, необходимые в лесу.

Погода стояла великолепная. Нас провожало тёплое весеннее солнце, прямо на глазах слизывающее последние островки серого снега, прятавшегося в низинах.

Речка встретила нас бурлящим потоком. На берегу этой мутной реки мы разбили лагерь: три старые, выгоревшие на солнце палатки и костёр посередине - классика жанра.

Всю ночь истошно орали песни, хохотали как ненормальные, пили вино, ели картошку с тушёной, короче, расслаблялись, как умели. Часа в два охрипшие

разбрелись по палаткам и отрубались, намаявшись за день.

Забрезжил оранжево-жёлтый рассвет, прижимая белый туман к земле.

От ночного костра остались две чёрные головёшки, большая куча серой золы и струйка одинокого грустного дыма.

Ожидалось прекрасное утро, незатейливый походный завтрак, прекрасное безделье и ещё один день на природе!

...Высунув голову из палатки, я лениво зевнул и нехотя разлепил заспанные глаза. Тишина. И только шум воды да пение утренних пташек нарушали великолепную картину маслом.

Вылезая наружу, запнулся о чью-то забытую алюминиевую кружку и направился к потухающему костру, чтобы подбросить дровишек и не дать ему окончательно умереть.

В этот момент с другого берега, заросшего густыми деревьями, прозвучал выстрел. В утренней пронзительной тишине он отозвался громким эхом на всю округу.

Очевидно, стреляли дробью или картечью, поскольку алюминиевая кружка отлетела в сторону, раненная в нескольких местах.

Ещё выстрел, костёр возмутился от явного нахальства и нервно встрепенулся салютом красных искр.

Мирный, никого не трогающий, спокойно спящий лагерь вдруг оказался под обстрелом неизвестного противника. Кто бы это мог быть? Кому с утра пораньше захотелось похулиганить?

Скорее всего, нас атаковали с другого крутого берега деревенские пацаны, устроив себе утреннее развлечение. Наверное, тупая и безмозглая шпана испытывала эротический кайф, стреляя по безоружным и, к тому же, защищённая непроходимой рекой.

Что поделатъ, вековая вражда между городом и деревней никуда не исчезла. И если сельская, вонючая, пьяная мразь могла хоть как-то нагадить городским, то она

с огромным наслаждением всегда это делала: в клубе на танцах, во время уборки городскими колхозного урожая, на мичуринских участках, близко расположенных к деревне.

В то время как горожанам было глубоко наплевать на деревню, сельчане ежесекундно чувствовали себя - униженными и оскорблёнными. Не все, конечно, но думаю, что подавляющее большинство, особенно после стакана самогонки.

Может быть, поганые мысли появлялись в головах деревенских от того, что им с раннего детства приходилось топтать навоз, в четыре утра доить скотину, и при этом всю жизнь ходить в вонючих телогрейках и калошах на босу ногу. Короче, не знаю, как сейчас, а при советской власти существовала бездонная пропасть между сельским менталитетом и городским, между прозябанием в деревне и жизнью в городе, между деревенским времяпрепровождением и городской культурой.

Именно поэтому злобная деревенская шпана прискакала на конях и открыла стрельбу по мирному палаточному лагерю городских. Я в этом нисколько не сомневался тогда, не сомневаюсь и сейчас, - а почему на конях, чтобы, наверное, не догнали.

В нашем лагере началась настоящая паника. Одноклассники с криками выскакивали из палаток и в ужасе разбегались, прячась в кустах. А с другого берега слышалось ржанье лошадей и истерический смех обезбашенных и озлобленных деревенских ублюдков. Деревенская кодла куражилась по полной.

Что мы могли сделать?

Ничего! Мы осыпали стрелков последними матерными словами, чем ещё больше раздражали и злили их.

Дробь прошивала дрожащие палатки и рюкзаки. Одиночные выстрелы превратились в бесконечную канонаду!

Находясь под непрерывным обстрелом, мы в спешке снимали лагерь, собирали разбросанные вещи и уносили их в безопасное место.

К счастью, ублюдки стреляли плохо, как, в общем, все сельские были никудышными во всём, поэтому никто из наших серьёзно не пострадал. На память от той встречи с «гостеприимными и хлебосольными» деревенскими ребятами у меня остался небольшой шрам на левой руке.

А если стрелки проснулись бы не с похмелья, и кто-нибудь из них попал бы мне не в руку, а в висок или в глаз?

Мог ли я погибнуть в то прекрасное весеннее утро? Конечно, мог!

Но из далёкого прошлого доносился голос цыганки: "Ты будешь жить 93 года!"

Наверное, инстинкт самосохранения или животный страх прижимал меня к земле, когда я ползал вокруг костра, собирая вчерашние грязные кружки и тарелки, а может быть, непоколебимая вера в слова цыганки заставляла дробь пролетать мимо, а меня двигаться по какой-то мистической траектории, по безопасному коридору.

Я, к сожалению, этого не знаю.

Мы, в считанные секунды свернули лагерь, молча отдышались в безопасном месте, и в полной прострации двинулись в сторону города.

Больше там я не был никогда.

Говорят, что сейчас там элитный посёлок, а деревня, из которой примчались пьяные пацаны, - давно сдохла, вместе с её пьяными обитателями...

Мандариновая радость

С нескрываемым нетерпением мы ждали Новый Год, и зимние каникулы, придумывали самые ласковые слова для Деда Мороза, мечтали о подарках.

В детстве дни казались длинными, а месяцы – бесконечными, но неотвратимо приближался праздник и долгожданные каникулы.

Однако Новый Год проходил очень быстро, загаданные в полночь желания не сбывались, каникулы пролетали мгновенно.

Так вот, жизнь проходит ещё быстрее!

Школьная ёлка в первом классе запомнилась навсегда, врезалась в память неповторимым ощущением, сохранившимся на многие годы. Когда мы с братом вернулись домой и открыли подарочные пакеты, то, к своему удивлению, обнаружили там не только конфеты и печенье, но по одной маленькой мандаринке.

В общем, в 1964 году, будучи восьми лет от роду, я впервые попробовал этот экзотический фрукт. Представляете, в заснеженной морозной Сибири, где фруктов зимой вообще не было, на Новый Год дарят мандарин, вкус которого оказался сладким, ароматным, неповторимым.

До сих пор не знаю, как родителям удалось достать эти чудесные мандаринки и вложить их в новогодний подарок.

Съесть мандарин за один раз мы посчитали огромной несправедливостью и, растягивая удовольствие, отламывали по одной дольке в день, таким образом продлевая радость на все каникулы. До сих пор помню тот вкус, аромат и запах!

За этот маленький оранжевый шарик я был готов отдать все конфеты из подарочного кулька.

Но время летит со скоростью курьерского поезда; мы учимся и взрослеем, женимся и разводимся, работаем и бездельничаем, каждый раз встречаем Новый Год и загадываем новые желания. Всё в жизни меняется, но для меня навсегда осталась традиция: обязательно 31 декабря на столе должны быть мандарины.

Живу в Израиле двадцать пятый год, из которых двадцать работал садовником, и за это время выбросил, в качестве мусора, опавших мандаринов, наверное, тонну; такую огромную кучу мандаринов, которых так не хватало в далёком детстве.

Ладно, это всё эмоции, скоро Новый Год, пойду в магазин за мандаринами, благо они здесь круглый год...

Снег на крыше

А был ли этот снег, или это всего лишь мои фантазии, вызванные стрессом переезда в другую, чужую страну. А может быть, я просто помнил, что зимой всегда падает холодный пушистый снег.

Когда открылась дверь, и я шагнул из самолёта на трап, то ощутил не морозный воздух ноябрьского Томска, а жаркий ветер тель-авивского хамсина. Это пока что было первое потрясение, испытанное на Святой Земле.

В новых впечатлениях пролетел ноябрь 1996 года, в полной прострации прошуршал декабрь. Я много работал, учил иврит, отъедался после многих месяцев относительного голода, но оставался в шоке от зелёных деревьев, от апельсинов, появляющихся в семь утра, от супермаркетов, от отсутствия снега в декабре.

Самое большое потрясение случилось 31 декабря. Мы тщательно подготовились к встрече Нового Года: традиционный салат «оливье», всеми любимая «селёдка под шубой», неповторимая мимоза, фаршированные перцы, и конечно – много шампанского. Однако отсутствие новогодней ёлки, обычный рабочий день без тени праздника, - навевали грустное настроение. Что делать, другой монастырь – другой устав.

Мы проводили старый год, выпили за удачную эвакуацию из бандитской злобной России, встретили Новый Год по томскому времени, затем – по Москве.

Стоял чудесный прохладный зимний вечер без дождя. Я вышел на балкон покурить и посмотрел вниз. Через дорогу находился детский сад, у которого крыша была выкрашена в белый цвет.

Нет, это не белая краска, это искрящийся белый снег!

Обалдевший от увиденного, я глядел с пятого этажа и верил, что на крыше лежит снег. Мне казалось, что я чувствую его холод, свежесть и неповторимый запах. Это какое-то наваждение.

- Лена, посмотри, там снег на крыше!
- Значит так, Баевич, следующий тост ты пропускаешь, а то, гляжу, у тебя фантазия разыгралась.
- Я уверен, что там снег, ведь Новый Год.
- Всё, тему закрыли; иди к столу, сними с селёдки шубу.

В Израиле я живу уже двадцать четыре года; как говорят репатрианты, «съел свою кучу дерьма», как-то устроился, но тот «снег» на крыше помню до сих пор.

Кстати, в Россию ездю исключительно зимой, поваляться в снегу, покататься на лыжах и просто помёрзнуть...

Неразменная

Планы на пенсию строились грандиозные. Перемена места, новое начало. Полная свобода от уже взрослых детей, здоровая дистанция от внуков.

«Это время – наше. Проживем его в свое удовольствие», – соглашались и муж, и жена.

Было решено переехать за город, и не просто в пригород, а подальше. Так, чтобы куда ни глянешь, никого. Ни соседей, ни машин, ни городского шума.

- Купим какой-нибудь заброшенный дом с участком и сами его восстановим. По собственному дизайну. Теплосберегающие материалы, солнечные батареи, оборотная вода. С таким проектом нам не то что соскучиться, продохнуть будет некогда – занятий хватит на годы вперед.

Энтузиазм мужа был заразителен. Марта – учительница французского на пенсии – представила их новый дом. Он был похож на идеальное место для написания ее так давно вынашиваемой книги.

Подходящий участок нашелся быстро. До ближайшего магазина полчаса езды, до Мельбурна полдня. Пять акров земли. Свой лес, ручей, домашнее хозяйство. Главное же, большой дом нуждался в полной переделке – то, что надо!

Все связи со старым решено было рубить сразу: супруги продали не только городской дом, но и большую часть имущества. «В новой жизни быть всему новому!»

Следующие четыре месяца были сказочными. Муж увлеченно занимался ремонтом. Марта, наконец, приступила к работе над черновиком. Из-за строительства писать в доме было шумновато, и она уходила на дальние кордоны. Одним краем их участок упирался в узкую глубокую долину, с другой стороны которой возвышалась горная гряда. Марта садилась в траву на склоне, открывала планшет, и слова сами появлялись на экране. «Господи, как

хорошо на пенсии! – периодически переводила она дух, – Хочу, чтобы это время никогда не кончалось!»

Время заявило о своей конечности внезапно: у мужа случился инфаркт. Вызванная немедленно «скорая» добралась до них лишь час спустя. За это время тело уже успело остыть.

Марта осталась одна. Вдали от всех. В пустом, побестолковому большом доме. О книге забылось. Все, что она хотела – это вернуться к семье. Но наполовину отремонтированный дом покупателей не привлекал. Кому охота доводить до ума чужое начинание?

Продавец в единственном на всю округу продуктовом посоветовал местного строителя, вроде бы мастера на все руки. «Надо отремонтировать, но по-минимуму», – на первой же встрече объяснила тому Марта.

Мастер оказался молодым (лет тридцать, не больше) и чем-то похожим на ее покойника-мужа. Тот же прищур в голубых глазах. Тот же русый вихор надо лбом. Было видно, что в строительстве он разбирался, в жизни тоже.

- Объем приличный, месяцев на пять работы хватит точно. На покупку стройматериалов деньги выделите сразу. Остальное будете оплачивать по мере завершения: сначала за крышу, окна, потом уже за внутреннюю отделку.

По уверенному голосу было понятно, что заявленные условия обсуждению не подлежат.

- Как скажете.

Он начал приходить каждый день, практически всегда с первыми лучами солнца. Сквозь сон Марта слышала скрежет колёс его джипа по гравию, сразу после – громкие звуки радио. Очевидно, молодой человек просто не мог работать в тишине. Для создания рабочего настроения ему необходима была ритмичная музыка.

- Сделайте тише! – кричала ему куда-то на крышу невыспавшаяся Марта.

- Не слышу! – также громко отвечал ей он.

Она плелась на кухню. Под ногами скрипели вздыбленные половицы, из всех окон безбожно дуло. С наступлением зимы в доме было ужасно сыро, и Марта

старалась проводить внутри как можно меньше времени. Она уходила на долгие прогулки. Одинокие, бесцельные, не приносящие удовольствия. Серые горы вдалеке переходили в свинцовое небо. Казалось, со всех сторон ее окружал железный занавес. Марта возвращалась домой продрогшей и еще более несчастной, чем до выхода. Такого холода и одиночества она не испытывала никогда. Она скучала по старой жизни, по общению, по мужу.

- Сто долларов за близость! – однажды выпалила она, споткнувшись об мастера на пороге. – Хотите? Только немедленно!

- Наличными? – недоверчиво ухмыльнулся тот.

- Да!

Семью Майкла в округе знали все. Строителями были и его отец, и дядья. Старший брат газовщик, младший электрик. Все здешние, коренные, известные каждой собаке.

- Майк, иди сюда. Дело есть, – подозвал его как-то к себе хозяин продуктового, – Тут одна «залетная» ищет мастера. Поговоришь?

«Залетными» местные жители называли между собой периодически появляющихся в их краях горожан. Их незнакомство с жизнью на земле вызывало у местных смесь презрения и нездоровой радости: на дураках можно и нужно зарабатывать.

Дополнительный заработок был кстати: Майкл и его подруга уже второй год откладывали деньги на покупку дома. Даже со свадьбой решили повременить: сначала дело, веселье потом. Подруга тоже была из местных. Девка крепкая и отчаянная, она подобрала его к своим рукам сразу, с самого начала дав понять, кто в их отношениях будет главным. Майкл ее даже побаивался: сил в ней было не меньше, чем у него, а характера больше. Он отдавал ей все заработанные деньги безоговорочно, оставляя себе разве что мелочь на пиво.

Работа, как и предполагалось, оказалась немудреной. «Залетная» хозяйка – простофилей. Майкл мог назвать любую цену, она на все соглашалась. При желании, на ней

одной можно было заработать на год вперед. Но слишком перегибать палку все-таки не хотелось. Было в его новой клиентке что-то жалкое. До этого таких женщин в их краях Майкл вообще не встречал: «Ну какой местной придет в голову выйти на прогулку в юбке и туфлях-лодочках?! Когда ясно, что вот-вот пойдет дождь!»

Когда она чуть не упала на него на пороге, он подумал, что ослышался. Мало ли, может, в песне слова такие – радио вон как орёт! Однако ожидающий взгляд подсказал, что предложение сделано всерьез. Майкл на секунду опешил. С одной стороны, о подобном его ещё никогда не просили. С другой, сто долларов на дороге не валяются. Тем более наличными. Дома и не узнают.

Майкл посмотрел на работодателямницу оценивающим взглядом: «А она еще ничего!»

Марта и Майкл лежали в постели. Смятая купюра – на тумбочке рядом. Майкл вернул ее на следующий же день, как только в голове развеялся туман. Случившаяся близость озадачила: худенькое, чуть ли не девичье тело, доверчивые ласки. Запах духов. Даже в тех местах, где по идее пахнуть ими не могло. Секс с Мартой отличался от того, чем занимались они с невестой, как день и ночь. Там от него требовалась одна физическая сила: сильно и с гоготом! Здесь речь шла о другом.

- Сто долларов за близость? – на пороге протянул он ей смятую бумажку. – И, если можно, прямо сейчас!

Марта попыталась скрыть улыбку:

- Тебе тоже понравилось?

С тех пор купюра сменила владельцев многократно. Ранним утром, пасмурным полуднем она кочевала из одной руки в другую. Часто - чтобы сразу быть брошенной на пол.

Ни Марта, ни Майкл не хотели думать о том, что будет дальше. С таким масштабным ремонтом их связь могла продлиться и три месяца, и полгода, и год.

- Ты понимаешь, что рано или поздно, но я этот дом продам? – на всякий случай предупреждала его Марта.

- Но сейчас-то покупателя нет, – беспечно отвечал Майкл.

Марта клала голову ему на плечо. За окном шел дождь. В машине горланило радио.

Сука - любовь

Мы встретились осенним вечером, когда я допоздна засиделся со срочной работой. Вообще-то, я всегда любил работать по ночам: на землю опускалась божественная тишина, и можно было слышать эхо шагов, когда я шел на кухню приготовить себе чай. Я брал чашку чая, выходил в сад, смотрел на луну и радовался одиночеству. Самые смелые и неожиданные решения приходили ко мне именно в такие минуты. Вот и тогда, я заварил зеленый чай и вернулся в кабинет, оставив дверь в сад открытой, чтобы комната проветрилась после дневной жары. И тут она заглянула ко мне и робко переступила порог. Уселась напротив.

Она была маленькая и какая-то жалкая. И еще голодная. Она почти дрожала от напряжения, готовая в любую минуту исчезнуть навсегда. Она заглянула вовнутрь меня, и я упал в пропасть ее глаз. Так прошла пара минут. Я встал с кресла и медленно подошел. Она превратилась в комок мышц, готовых раскрутиться, как пружина, чтобы испариться в темноте. Но взгляда не отвела. Я протянул к ней руку. Она медленно обнюхала каждый палец. Ее мокрый нос приятно щекотал мою ладонь, а потом шершавым языком она лизнула меня. Наши глаза встретились вновь, она что-то искала в моей душе (и, видимо, нашла – я думаю, что это была моя безграничная преданность ей, о которой я еще ничего не знал), и медленно забралась на мою ладошку. Еще раз посмотрела куда-то вовнутрь меня, свернулась калачиком и осталась там на долгие годы. Отважная и очаровательная.

Я привязался к ней, прирос душой. Покупал ей деликатесы, давал витамины, вычесывал шкурку. Она была, видимо, сибирской породы: серо-черно-коричневого тигриного окраса, с огромными карими глазами, которые становились иногда зелеными, а в другое время

янтарными, в зависимости от настроения. Она привыкла лежать у меня на коленях и умиротворенно мурлыкать. Она пристраивалась у меня на груди и обнюхивала мою шею, тыкаясь в нее мокрым носом.

Так мы и работали: я писал, а она смотрела на меня. Я рассказывал ей, что произошло за прошедший день, и она урчала в ответ. Если у нее было хорошее настроение, она пела мне свои песни, мурлыкала и была абсолютно счастлива. Но если ее что-то не устраивало, она шипела и выпускала когти. Ее урчание становилось рычанием, пушистым хвостом она разбрасывала бумаги на моем столе, царапалась и даже кусалась. У нее оказался ужасный характер – вспыльчивая и эгоцентричная. Со мной она совсем не считалась. В общем-то, она не была ручной. Она была тигрицей и еще вампиром. В минуты беспокойства, усаживалась у меня на ладони, крутилась и грызла мне вены. А потом, напившись крови, успокаивалась и затихала на какое-то время, пока я обессиленный лежал на кресле. Через несколько минут ее глаза начинали блестеть, а шкурка лосниться. Получив огромный приток моей энергии, она начинала буйствовать, кричать и требовать внимания. Заставляла меня собраться и разговаривать с ней, потому что боялась, что я не приду в себя, а жить без меня она не могла. Я открывал ящик стола, где лежала аптечка, заклеивал пластырями следы от ее зубов, прижимал ее к себе и гладил, пока она не успокоится.

Почему я терпел все это столько лет? Я любил тепло ее тела на моих коленях, ее взгляд прямо мне в душу. Когда она урчала – это была музыка моего сердца. Ее мокрый нос, шершавый язык имышленная мордочка смешили меня. Когда она злилась и скандалила – я умилялся над ее отвагой и беспомощностью. Если она была добра ко мне, мне казалось, что я задыхаюсь от нежности. Я любил ее и все ей прощал.

Когда мы ругались, и она выскакивала из комнаты, я кричал ей вслед, чтобы она не возвращалась. Что у меня нет больше сил. Что я не могу встречаться с клиентами из-

за царапин на руках, что мне приходится в самый жаркий день носить рубашки с длинными рукавами, чтобы скрыть следы от ее зубов. Она обижалась, шипела отвратительные вещи, била лапой по лицу, разбрасывала бумаги на моем столе и хлопала дверь, уходя в никуда. Я чувствовал облегчение и убеждал себя, что пусть она катится ко всем чертям. Покупал себе плитку черного шоколада, прибирал бумаги. Потом шел в киоск за мороженым, орехами, пиццей. Через несколько часов я начинал бояться, что она не вернется. Что не найдет дорогу и потеряется, что уличные коты растерзают ее. Или что кто-нибудь польстится на ее красоту и уведет ее к себе домой, а она не сможет спастись. По ночам я бродил по подворотням, выкрикивая ее имя. Раскаивался. Она всегда оставалась для меня крошечным существом, которое доверчиво свернулось на моей ладони. Отчаяние и беспокойство лишали меня сна. Я не мог работать, потому что думал только о ней. Я переставал есть - тревога переполняла меня, и я не мог проглотить кусок. Я начинал молиться, чтобы она вернулась ко мне. Боже мой, пусть она будет злобная и противная, пусть царапается и кричит – только пусть снова войдет в мою дверь, чтобы я смог погладить ее и прижать к себе, и поверить, что все в моей жизни наладилось. Пусть она щекочет меня, обнюхивая мою шею, и поет мне свои песни. Пусть мешает работать и путает мои мысли. Только с ней я ощущаю себя живым.

И она возвращалась – прыгала мне на грудь и плакала. И говорила, что жизнь бессмысленна и проходит мимо, если мы не вместе. И все возвращалось на круги своя. Я засиживался допоздна, мы разговаривали о жизни и о любви. О том судьбоносном моменте, когда она вошла в мой дом, и о том, что в этом мире мы были предназначены друг для друга. Она мурлыкала и таяла от нежности, и покой опускался на мою душу. Я думал о насмешках судьбы, о тех решениях, которые мне пришлось принять на протяжении всей жизни, о тех поступках, которые я совершил, чтобы тогда вечером открыть дом и заработать допоздна. Я поражался всему, что должно

было произойти с ней, чтобы она переступила мой порог и уснула на моей ладони. Кто бы мог поверить – этот сибирский тайфун и я? Как случилось, что мы нашли друг друга на маленьких улочках ближневосточного города?

Через несколько дней мы снова ругались. Она злилась, что я вечно занят и не уделяю ей внимания. Обвиняла меня, что я мало ее глажу и не провожу с ней достаточно времени. Что я не замечаю ее и не ценю ее тепло, красоту и верность. Выпускала когти. Снова била меня лапой и орала отвратительным гортанным голосом уличной торговки. Я тоже не успевал остановиться и кричал в ответ, что у меня нет сил выносить американские горки ее настроения, и пусть она убирается из моей жизни. А я смогу со временем залечить раны ее любви. Что есть и другие, кроме нее, которые будут добры ко мне. Что ее голос звучит, как противный гусиный крик. Она расцарапывала мои вены и пила мою кровь, а потом сметала хвостом графин с водой и уносилась в бешенстве в темноту. Я переставал есть и спать. Первый день говорил себе: «Так даже лучше. Ты выживешь, ты сильный, ты уже столько терял. Она не для тебя». Повторял эту мантру бессонными ночами. Не мог сосредоточиться ни на чем. Не мог работать, не мог дышать. Снова начинал бродить по тель-авивским подворотням, заглядывая в каждую дыру. А отчаявшись, заходил в синагогу и молился, чтобы она вернулась ко мне. Господи, сделай так, чтобы она вернулась ко мне! Она возвращалась и говорила, что не могла без меня жить, не могла дышать. И счастье окутывало нас. До следующей ссоры.

Барсик и инопланетяне

Кот запрыгнул на кровать и потёрся мордочкой о руку деда Егора.

«Будит. Знает, что пора вставать», — подумал Егор. Но встать не удавалось. Тело было словно чужое.

Ещё вчера дед почувствовал слабость, причём такого свойства, какое было незнакомо. Но заставил себя встать, пойти покормить кур, растопить печку. Сделал-то пустяк, а словно мешки таскал. Выпил чаю — кушать не хотелось — и уселся на диван. Так и просидел на диване до тех пор, пока кот с охоты не вернулся. Весь в снегу, мокрый, но довольный. Один только бог знает, кого он в такую погоду отловил.

На обед Егор также лишь один чай пил, но только с малиной. В шесть часов хотел ещё чаю с малиной попить — чтобы выздороветь, да не полез чай в глотку. Покормил кур — и завалился спать.

Не выздоровел, ещё хуже стало.

Кот потёрся мордочкой о руку Егора и полез под одеяло. Вытянулся вдоль тела — повеяло теплом.

Верно говорят, коты от человека хворобу забирают. Им-то что, у них девять жизней. Вот и сейчас пытался кот подлечить деда. Получится или нет — никому не ведомо, но одно несомненно — согревал. В доме уже холодно стало. Вчера по слабости на ночь плохо протопил, а с утра топить оказалось некому.

— Худо мне, Барсик, — Егор положил руку на кота.

Против обыкновения, кот не заурчал, как он обычно, когда дед с ним разговаривал, а начал крутиться, словно искал что-то. Наконец, вылез из-под одеяла и бросился на кухню.

«Время охоты», — подумал дед. И действительно, услышал, как мягко прошуршали кошачьи лапки по селу,

уложенному на чердаке. Кот таким путём на улицу ходил: по лесенке, которая была в кухне, забирался на чердак, затем пересекал чердак по диагонали, через слуховое оконце без стекла — дед специально не стал стекло на зиму возвращать — прыгал на пристройку возле крыльца, затем на крыльцо — и поминай как звали! Возвращался домой тем же путём.

Барсик поселился в доме Егора ещё в сентябре. Сразу после смерти Тузика.

Вышло всё странно и непривычно.

Тузик, замечательная собака, служившая деду Егору верой и правдой много лет, к лету последнему совсем состарился. Стремительный бег сменила медленная походка, стал плохо слышать, аппетит, бывший в былые времена почти что волчьим, исчез. Старость — она что у людей, что у собак — одинакова: уродливая и грустная. Егор разрешил Тузику в доме жить. Пока тепло было, Тузик днём на крылечке лежал, на солнышке грелся. А на ночь в дом уходил, спал под лавкой на кухне. В один день — в середине сентября — встал Егор, как всегда, с рассветом, и отправился на кухню. Глянул — а Тузик лежит под лавкой с открытой пастью, язык свешен в сторону, стеклянные глаза в никуда смотрят. Околел. Прикоснулся к нему дед ладонью — холодный. Должно быть, ещё посреди ночи дух испустил.

Жизнь есть жизнь, поэтому сначала дед кур покормил. Затем достал мешок из сарая, распорол по шву и сделал саван для собаки. Завернул в этот саван. Посидел около него — мыслей в голове никаких не было. Ушли вместе с собакой, которая последние годы разделяла его одиночество. С кем теперь длинными вечерами говорить? Кому на житейские мелочи и обиды жаловаться? Детей и внуков с кем обсуждать?

Нашёл ещё старый дырявый коврик — случайно не выбросил — и обернул им саван. Взял собаку на руки — и понёс к пригорку за околицей. Тяжело было нести, хотя и исхудал пёс в последнее время — не более пуда весил. Затем за лопатой сходил.

Могилу для Тузика рыл медленно, делая частые остановки. Прежде, чем опустить тело Тузика в могилу, опустился на колени и ещё раз погладил собаку через мешковину и коврик.

В изголовье могильного холмика воткнул обычную палку — не ставить же крест, всё-таки собака, а не человек.

Вернулся домой, сварил кутью, нарезал сала, достал бутылку водки. Вытащил из шкафа два стаканчика: плеснул в каждый водки. Один стаканчик поставил под лавку, там, где Тузик свою смерть встретил, сверху на стакан положил ломтик хлеба и кусочек сала.

Выпил водку, заел маленьким кусочком сала и огурцом. Потом себе ещё водки добавил. Кутьёй заел.

Допил бы Егор всю бутылку, да раздалась знакомая трель компьютера: «Скайп» ожил. Пошёл дед к компьютеру — то внук старший, Максим, вызывал.

— Привет, дедуля, — услышал Егор, как только нажал кнопку ответа. — Как жизнь молодая?

— Тузик помер, — сказал Егор упавшим голосом. И замолчал.

С лица Максима разом улыбка исчезла. Повернулся, что-то прокричал вглубь квартиры. Сзади показался Иван — другой внук.

— Дед, ты как? Может приехать? Ты не поддатый? А ну водку спрячь — нельзя тебе!

Как внук через компьютер почуял, что дед выпивши — один бог знает! Отговорил Егор их немедленно приезжать — вечер близко, а до города сто километров.

А на другой день, по возвращению с поля, в обед, увидел Егор на крыльце гостя необыкновенного. Кот здоровенный, чёрный с белой манишкой, пушистый, сидел посреди крыльца с таким видом, словно он тут хозяин. Егор подошёл к нему с опаской — кто знает, что на уме у этого незваного гостя! Но кот смотрел на него спокойно и дружелюбно, убежать — как это сделал бы дикий зверь — не собирался, и даже дал себя погладить.

— Откуда ты? — спросил Егор. Скорее всего, у себя самого, ибо смешно было надеяться, что животное могло

ему ответить. Появление кота было особо странным из-за того, что в той деревне он уж как месяц был единственным жителем.

Егор открыл дверь, и кот немедленно заскочил в дом. Обошёл комнаты — принохиваясь ко всему, что встречал на пути. Долго стоял подле того места у лавки, где Тузик свой последний час встретил.

— Эх, не понимаешь ты ничего. Здесь мой Тузик был. Знаешь, какая собака была замечательная...

И сам того не ожидая, уселся на стул, и стал коту про Тузика рассказывать — и как в лес с ним ходил, и как Тузик дом охранял, когда ещё в деревне люди были — и как внимательно выслушивал все его речи.

Кот слушал внимательно. В какой-то момент даже урчать стал, соглашаясь с той характеристикой, какую давал Егор псу:

— Хо-р-р-р-оший, хо-р-р-р-о-ший..

Кот сразу понравился Егору: с пониманием животное. Назвал его Барсиком и взял к себе жить.

На следующее утро Егор нашёл в коридорчике крысу удушенную. Кто удавил — ясно было, странно только, что Барсик крысу есть не стал. Должно быть, побрезговал. Погладил Егор кота и вышел с ним кур кормить. Тут только Барсика и видали! Рванул куда-то так, словно за ним стая собак гналась.

Вздыхнул Егор, как вздыхает человек, обнаруживший, что потерял что-то ценное и памятное с далёких времён.

Только зря кручинился. К обеду кот вернулся. Сытый и довольный. На следующий день повторилось всё, но теперь Егор успел проследить, что кот в лес убежал. Дом Егора был на окраине, до леса не более двухсот шагов.

Забавно получалось. Мало того, что кот в доме мышей давил, так он ещё и в лес за добычей бегал. Кот-охотник. И из-за этого Егор проникся к нему особым уважением.

В выходной сын с внуками из города приехали. Любовались котом и ахали:

— Дед, а это точно кот? Может, это пантера такая? Или рысь? Смотри, какой здоровый! — поражался Иван.

— Да где же ты рысь чёрную видел? Да ещё с длинным хвостом! — поражался дед неосведомлённости внука. И рассказывал, как настоящая рысь выглядит. Он это хорошо знал — в былые года охотничал.

— Что-то непонятное с этим котом, батя, — говорил сын. — Домашний это кот. Смотри, к людям идёт легко и с удовольствием. Чистый, ухоженный. Откуда он в деревне взялся, если ты говоришь, что в тот день, да и накануне, ни одной машины не было, и никто не приходил? И ещё странно — у кого рука поднялась такого кота на улицу выкинуть? Его хоть на выставку носи!

И фотографировали кота со всех сторон, обещая показать фотографии какому-то специалисту по котам.

— Может, батя, возмёмшь кота этого, да айда к нам жить? — заводил сын старую шарманку. — Будешь с этим котом по выставкам ходить. А здесь — кто его красоту оценит?

Егор делал вид, что этих слов не слышит. С тех пор, как остался Егор в деревне один, не было случая, чтобы по приезду сын не уговаривал его переехать.

— Коту этому в городе никак нельзя жить, — объяснял Егор сыну и внукам. — Он каждый день в лес на охоту ходит. Я его почти не кормлю. Так, сметаной он у меня балуется. Любит сметанку-то!

— Какой кот сметаны не любит? — смеялись внуки. — У других, дед, охотничьи собаки, а у тебя — охотничий кот. Добычей с тобой делится?

В другой раз внуки весы напольные привезли — кота взвесить. Кот никак на весы становиться не хотел, тогда Иван другое придумал: сначала без кота взвесился, потом Барсика на руки взял — проверить, сколько они вместе. Получили тринадцать килограмм разницы. Почти как рысь.

— Мы показывали фотки специалисту — говорит, что внешне больше похож на норвежского лесного кота, чем на сибирского. Только уж слишком велик по размеру...

Дед слушал внимательно, а в душе посмеивался над подобными изысканиями. Откуда тут норвежскому коту взяться? До той Норвегии тысячи километров. И что такое

— «специалист по котам»? Котолог, что ли? Разве такая профессия бывает?

А вечером делился с котом:

— Зачем нам в город ехать? Мы к городской жизни не привычны. Шум, суета, все куда-то бегут. А здесь — тишина, спокойствие. У нас всё есть. А теперь ещё и связь космическая, каждый день фильмы смотрим.

Барсик соглашался и мурлыкал, поддерживая деда:

— Пр-р-р-авильно, пр-р-р-авильно...

Дед не обижался на Барсика, что убежал. Кушать-то коту надо, на Егора надежды нет. Одного опасался — вернётся кот из-за обилия выпавшего вчера снега голодный, без добычи — чем тогда кормить? Кормить — нужно на кухню идти, там в шкафу сын консервы кошачьи на всякий случай оставил, а где силы для этого взять?

С тоской посмотрел дед на лампочку над столом. Не горела. На улице светло, но панель солнечную, наверное, снегом засыпало — вот она и не работает. Значит, нет электричества, компьютер не работает, и с детьми не связаться.

Минувшим летом последние жители деревню оставили. Анна Андреевна к дочке уехала жить, а Пановы в село, что в четырёх километра от деревни, перебрались. Хорошее село, крепкое. Когда-то и село было в упадке, а лет десять назад в гору пошло. Дорогу в село хорошую, асфальтовую сделали, птицекомбинат современный построили. Теперь в селе даже зимой шестьдесят семей живут, летом же количество жителей удваивается. Из всех соседних деревень, которые ещё остались, люди в село потянулись.

Стоило только Пановым уехать, как беда случилась. Во время дождя сильного завалился один из телеграфных столбов, по которым в деревню электричество поступало. Остался Егор без света, без радио, без телефона. Пошёл в сельсовет.

Председатель сельсовета наотрез отказался чинить линию.

— Там все столбы погнили. Их ещё двадцать лет назад полагалось поменять. Один поправишь — другой

завалится. А новую линию тянуть ни смысла, ни денег нет. Дешевле тебя сюда переселить. Дадим дом — из тех, что остались, отремонтируем — живи в удобстве. Нам ремонт по классу «люкс» в твоём новом доме будет в пять раз дешевле, чем линию тянуть. Да и зачем она? Прости, Егор Иванович, что напоминаю — не вечен ты. Деревне твоей конец приходит. Деревни — они как люди — рождаются, живут, умирают. Такая у жизни философия.

Председатель сельсовета любил пофилософствовать. И когда сын примчался, о том же говорил. Егор слышал, окно в кабинете открыто было.

— Да объясни ты отцу, что не дело ему одному оставаться. Дом — на окраине, до леса сто метров. Мало какая напасть случится. Годы у него такие, что нельзя без присмотра. Место там плохое — мобильная связь не работает, по телевизору — одни помехи. Куда ни кинь — одни минусы и никаких плюсов.

— Да мы его давно зовём, чтобы к нам переезжал, — вторил сын. — Квартира у меня большая, старший сын уже взрослый, практически с нами не живёт — тишина и спокойствие дома. Не могу ж я его силой заставить!

— А ты не силой, ты хитростью, — поучал сына председатель. И рассказывал, какие хитрости на этот счёт бывают.

Дед тихо сидел на скамеечке возле сельсовета и спокойно слушал то, что предназначалось не для его ушей.

А потом навалились на него всей компанией. Сын, внуки, даже Наташа пришла — жена двоюродного брата; когда-то они жили в деревне, да лет десять назад в село перебрались.

Наташа эта его всё время женить пыталась. Приходила к нему и начинала рассуждать:

— Не надоело тебе так жить? Кроме как с собакой и поговорить не с кем. А захвораешь — не дай бог! Ты посмотри, сколько в селе баб одиноких. Сколько можно бобылём жить? А так — живая душа рядом, и приготовит, и стирает, и если надо — подаст.

— Это что, жениться, значит? — отвечал Егор.

— Почему бы нет? Человеку на роду написано жить с кем-то, такова его сущность.

Дед Егор поковырял носком ботинка в пыли.

— Курей жалко.

— Что с твоими курами сделается? — не догадывалась о подвохе Наташа.

— Передохнут со смеху.

— Тьфу на тебя! — возмущалась Наташа. — Я о тебе забочусь, а ты шуточки шутить! Как бы твоя упёртость однажды боком не вышла.

Пожалуй, вышла. Теперь Егор лежал один в нетопленной избе, без электричества, без связи. Кот — и тот ушёл. Пусть на охоту, пропитание себе добывать, а всё же было так приятно, когда он под одеяло залезал. Жди теперь, когда Наташа придёт — она навещала его раз в неделю. Придёт бог знает когда, а на кровати вместо него — холодный труп.

Неужели конец его пришёл? День-то какой несчастливый — 13-е, да ещё и пятница. С одной стороны, умирать Егор не боялся. Сколько смог — столько прожил. Трое детей, пять внуков. А с другой стороны — почему бы не пожить ещё? Всё же интересней, чем под землёй лежать. Пусть даже возле Тамары, которую он схоронил десять лет назад.

И вдруг его посетила шальная мысль — а может, надо было Тузика на кладбище отнести? Там бы потихонечку и зарыл, неподалёку от того места, где Тамара упокоилась, и где ему лежать. Так бы и были бы все вместе. Ох, не сообразил вовремя!

В начале сентября — Тузик ещё жив был — привёз сын из города много вещей, прежде в деревне не виданных. Установил во дворе на столбе батарею солнечную, которая свет в электричество превращает. В дом кабель протянул и по комнатам лампочки необычные, плоские, установил. На кухне поставил аккумулятор, чтобы электроэнергия и ночью была. Холодильную сумку на кухне приладил, что от той батареи работать может. На крыше установили антенну космическую, по виду тарелку напоминавшую — внуки долго возились, направляя её на неведомый спутник,

который — как они объяснили — вокруг земли не крутится, а на одном месте висит. Как это так может, что спутник словно к небу прикреплён, Егор не понял, несмотря на объяснения, да бог с ним!

В спальне установили коробку электронную, а на стол поставили компьютер.

— Ты теперь, дедуля, сможешь двести каналов смотреть. Фильмы — любые. Хочешь — про войну, а хочешь — про любовь. А есть каналы, по которым весь день музыка идёт. Хочешь — современная, а хочешь — старая.

Ещё на компьютере была программа под названием «Скайп», по которой можно было разговаривать — как по видеотелефону. Микрофон поставили красивый и велели во время разговора поближе ко рту держать.

А ещё на экране, как говорили внуки — на рабочем столе — был маленький рисунок — красный крест.

— Если тебе вдруг плохо станет, — объясняли внуки — ты мышкой два раза щёлкни по этому красному кресту — и мы получим сообщение, что нужно срочно приехать. Как вызов «Скорой помощи».

Егор в тетрадку записывал всё, что ему говорили. Да разве за два дня всё поймёшь! Подходил Егор к компьютеру с опаской.

Более чудно было, что из дома внуки могли его компьютером управлять.

— Ты только по «скайпу» скажи или напиши — какой фильм хочешь — мы тебе его тотчас найдём, — говорили внуки. Слово фильмы — это грибы, которые нужно искать между деревьями.

Качество фильмов, которые к нему через космос приходили, было отличным. Не то, что прежний телевизор! Вот что значит наука!

Иногда по вечерам Егор выходил на улицу полюбоваться цветными огоньками, которые временами сверкали по ободу тарелки. И поражался тому, сколь изменилась его жизнь. Он помнил босоное детство, помнил, как первый раз на машине проехался, и даже как однажды на самолёте

летал — к старшей дочке в гости. И вот теперь из его дома прямая связь с космосом, и через этот самый космос он видит детей и внуков, и свободно говорит с ними. Что же ещё через десять или двадцать лет будет?

Вот только увидит ли он, что через десять лет будет? Обещал тогда, возле сельсовета, что этот год будет последним его годом в деревне. И, кажется, не ошибся. Только другим боком выходит последним. Ног он уже не чувствует. Чует лишь холод, который установился в нетопленном доме. А может, это хорошо, что он чувствует холод? Когда умирают — ничего не чувствуют.

Иногда Егор включал музыку на компьютере, садился в плетёное кресло напротив печи — так, чтобы видеть огоньки в щелку дверцы — и сажал на колени кота. Гладил Барсика и рассказывал о своей жизни. Кот лежал с закрытыми глазами, но слушал внимательно, мурлыкая в такт словам:

— Инте-р-р-р-есно, инте-р-р-р-есно...

В последнее время они с Барсиком полюбили фильмы о животных и о необычных явлениях природы. Почему про животных Барсику было интересно — это понятно. А что привлекало кота в фильмах о космических пришельцах — дед не знал. Гладил Барсика и спрашивал:

— Ты как думаешь — прилетали к нам с других планет?

Кот изгибал спину и начинал мурлыкать:

— Пр-р-р-р-илетали, пр-р-р-илетали...

Хорошо, если бы Барсик вернулся поскорее. Залез бы под одеяло, погрел бы. Может, и часть его болезни забрал, коты ведь — они лечебными талантами обладают.

Стал Егор в забытьё впадать. И начал ему сниться сон про Барсика. Словно не он Барсику о своей жизни рассказывает, а наоборот, кот рассказывает. И не замечает кот, что говорит на непонятном для Егора языке. А потом кот встал и повёл Егора в лес — показать свои охотничьи угодья. Кот бежит быстренько, снег ему вовсе не мешает — быстро продвигается вперёд. Егор отстаёт всё более и более. Попытался рвануться вперёд, да не получилось — поскользнулся и упал лицом в снег. А снег оказался

горячим и колючим, так что вздрогнул Егор всем телом и открыл глаза.

Над ним склонился человек с необычной — для наших мест — чёрною кожей, в синем комбинезоне. Лицо чёрного человека было закрыто белой марлевой повязкой, какие в больнице врачи носят. И на голове была странная белая шапочка, скрывавшая волосы. Человек этот одной рукой крепко держал левую руку Егора, а другой медленно вводил иглу с тянущейся за ней трубочкой в вену у запястья. Егор чуть не дёрнулся от удивления и испуга, но незнакомец только сильнее сжал руку.

Трубочка от иглы, которую вводил ему в вену незнакомец, шла к большому аппарату, стоявшему на стуле подле кровати. Аппарат светился, на экране его двигались цветные точки, оставляя кривые следы.

Правее аппарата стоял штатив, на котором висел пластмассовый мешок, наполовину заполненный желтоватой жидкостью. От мешка шла трубочка, то которой эта жидкость вливалась в вену той же левой руки, около локтя в вену была воткнута другая игла. Капельница. Он видел такую, когда Тамара в больнице лежала.

Чуть дальше стоял второй человек в похожем комбинезоне, также с марлевой повязкой на лице и в шапочке. А ещё дальше, почти у стены, на другом стуле сидел Барсик и внимательно наблюдал за происходящем.

Сначала Егор подумал, что это ему мерещится. Но тут явственно ощутил боль в руке, и новая мысль пришла в голову: «Я в больнице!». И тут же отбросил эту мысль. Это была его комната, он лежал на собственной кровати, компьютер на столе был всё также закрыт небольшим кружевным покрывалом, которым когда-то Тамара закрывала телевизор.

Егор попытался чуть повернуться, но был остановлен человеком в комбинезоне, который пластырем закреплял иглу на запястье.

— Тийхо, — сказал гость, сильно коверкая простое слово.

И только тут до Егора дошло, что это — врачи. Или врач и медбрат. Только не местные, а какие-нибудь приезжие, из Африки наверное. Сейчас мигрантов много. В селе есть таджикская семья, есть китайская семья. А один парень привёз себе жену из Чечни. Ничего, живут ладно, у них двойня растёт. Пускай едут. Ещё со школы Егор запомнил слова поэта, что жить надо так, чтобы не от нас, к нам бежали. Раз к нам едут, значит у нас жизнь лучше, а это — в радость. И эти, должно быть, приехали.

«Эфиопцы» — решил про себя Егор.

Почему он счёл их выходцами из Эфиопии, а не из Сомали или Кении — Егор бы объяснить не сумел. Вспомнил первое попавшееся государство Африки и поместил туда докторов. Может, они приехали сюда насовсем — у нас-то лучше, чем в Африке, а может — по обмену, опыт перенимать.

И стало тепло Егору от этой мысли. Неважно, что у них некрасивые, почти что уродливые лица. Это для нас они некрасивые. А в Эфиопии такие лица — в самый раз, а мы должно быть, им некрасивыми кажемся. Вот только кто их вызвал?

Скосил глаза Егор налево, направо — но никого, кроме двух эфиопских докторов и кота, в комнате не увидел. Успел только заметить, что часы напротив показывают уже час дня! И ещё почувствовал, что нет в комнате утреннего холода.

Второй врач тем временем поднёс ко рту Егора трубку в палец толщиной. Сантиметрах в пяти от окончания трубки было кольцо — чтобы трубка входило не слишком глубоко в рот.

— Бюдет хо-ро-шо, — сказал доктор на ломаном русском языке.

По трубке в рот — должно быть — кислород шёл. Потому что стало легко дышать. Доктор тем временем завязки от трубочки на уши Егору завязал — чтобы трубка не выпала случайно. А сам отошёл в сторону, к коту. И погладил Барсика.

Другой доктор тоже подошёл к Барсику — с другой стороны — и также погладил кота. Словно указывали Егору на того, кто их сюда привёл. Смешная получалась картина — на стуле кот — а по обе стороны от него два эфиопских доктора.

Стало от такой картину Егору легко и приятно на душе, и он заснул.

Проснулся от того, что кто-то его за плечо толкал. Открыл глаза — Максим.

— Дедуля, вставай! Обед скоро, а ты ещё в кровати. Проспишь всё на свете!

Сзади сын стоял.

— Батя, ты в порядке?

Егор рывком поднялся на кровати. Откуда сын с внуком появились? Окинул взглядом комнату. Куда доктора эфиопские делись? Неужто ему всё это приснилось?

Глянул на часы. Без четверти одиннадцать. Когда в прошлый раз смотрел — час дня показывали. Но часы только вперёд идут. Уже другой день?

Не стал ничего говорить Егор, а прежде осмотрелся. В комнате всё — как прежде. В двух шагах правее кровати стул стоит. На нём тогда Барсик сидел. Сейчас стул был пуст. Никаких следов того, что в доме ещё кто-то был.

— Батя, ты что, никак проснуться не можешь? — в голосе сына зазвучали тревожные нотки.

Тут Егор сообразил, что в доме тепло. И лампочка над столом горит — значит, панель почистили и электричество поступает. Кружевное покрывало с экрана снято и рядом на столе аккуратно лежит.

Сын смотрел с напряжением. Надо было что-то говорить.

— Приснилась ерунда какая-то. Давно приехали?

— Какое давно! Только зашли! Взгляд у тебя странный...

Егор встал и начал одеваться. Пусть всё это приснилось, путь по причине простуды спал долго, но кто печь протопил? По сыну и внуку видно, что только с дороги.

Глянул на пол — и душа словно в пятки ушла. Чистёхонек. Как после того случая пару месяцев назад,

когда Наташа пришла, и, несмотря на его протесты, полы в доме перемыла.

Сын тем временем поставил на пол большую сумку, раскрыл её, и стали они вдвоём с внуком из этой сумки другие сумки доставать. Одну за одной. Хотел было дед спросить — что за выставка, но тут его взгляд на запястье упал.

Две полоски пластыря — крест-накрест в том месте, где вчера эфиопский доктор ему иголку в вену вводил. Потрогал рукой выше запястья — и там под рубахой другой пластырь прощупывался. Были доктора.

Выскочил дед на кухню, к печке. Около печи горкой пять или шесть поленьев — кто принёс? Вчера не оставалось. Дрова в печи уже почти прогорели, но опытным взглядом Егор определил — печь растопили часа три назад. Потому и дом успел прогреться.

«Что творится?» — в отчаянии подумал дед. А вслух сказал:

— Я в уборную...

Ему в самом деле хотелось по нужде, но выскочить из дома казалось важнее, чтобы со случившимся разобраться и мысли привести в порядок.

До уборной он вмиг добежал, успев лишь по дороге заметить, что снегу много навалило, но панель солнечная чистая.

«Наваждение», — подумал дед и вдруг встрепенулся. Увидел, что дверь курятника приоткрыта. Не настезь, а лишь на треть, или даже на четверть — но открыта! Бросился к курятнику, но уже по дороге увидел, что весь задний двор испещрён лисьими следами. Екнуло сердце — в трёх метрах от курятника на снегу горстка перьев и алели застывшие капли крови.

Подбежал Егор к курятнику, распахнул толстую, утеплённую на зиму дверь — и руки бессильно опустились.

На полу валялись две курочки — одна с перекусанным горлом, второй лиса полностью голову оторвала. Перья, застывшие брызги крови.

Дверь курятника внизу была исцарапана и изгрызена лисьими когтями и зубами. Язычок деревянной задвижки не был выдвинут.

Наверное, по причине плохого самочувствия Егор забыл задвинуть язычок массивной деревянной задвижки — почти в два пальца толщиной. Дверь прикрывалась плотно, даже туго, так что лисе пришлось немало времени и сил, чтобы когтями и зубами открыть дверь. А потом началось...

Первую курочку лиса съела в трёх метрах от курятника — видимо, голодна была, даже не стала уносить добычу в лес, так ей свежего мяса хотелось. Затем — судя по следам — она сделала два круга по двору — догоняла и душила разбежавшихся кур. Затем вернулась в курятник, и загрызла тех, кто не рвался на свободу.

Егор читал следы, как обычный человек читает книгу. В десятке метров увидел цепочку путанных лисьих следов — плутовка гналась за кем-то, кто не просто убежал, а делал зигзаги, пытаясь оторвать от преследования, подлетал в воздух, стремясь найти спасения на каком-либо возвышенном месте. Не получилась. Лиса в прыжке настигла её и угодила небольшой сугроб. Снег возле сугроба был размётан энергичными ударами куриных крыльев. Но не спаслась.

Кур у Егора оставалось немного, поэтому он знал их — как говорить — «в лицо». Такими зигзагами от лисы уходила Хамка — наглая курица, распихивавшая других при раздаче корма, при любой возможности пытавшаяся вырваться из курятника. Почему-то Егору её наглость нравилась, в мыслях он говорил: «Такая не пропадёт, умеет постоять за себя». Зимой Егор резал по одной-две курицы в месяц, Хамку трогать не собирался — пусть живёт. Да вот, лиса...

— Батя, ты где пропал? Не май месяц! — выскочил из дома сын — посмотреть, почему отец из уборной не возвращается.

— Куры, — только и сказал Егор.

Сын оглядел истоптанный лисьими следами огород.

— В дом пошли, простудишься! Не судьба курам вышла. Так ты поэтому согласился?

По пути в дом Егор повторял раз за разом слова сына: «Ты поэтому согласился?» На что он согласился? Непонятно.

На кухне Егор сразу бросился к печи — отогреться. И только тут увидел, что все шкафы его открыты, а на полу раскрыли свой зев две сумки.

— Дедуля, что грузить? — довольным голосом спросил Максим. — Всё за раз не увезём.

— Куда не увезём? — насторожился Егор.

— Как куда? Домой, конечно! Как получили вчера от тебя послание, что согласен на переезд и просишь сегодня забрать — праздник начали готовить.

— У деда лиса всех кур передушила, — объяснил отец. — Потому и согласился на переезд.

Максим с сочувствием посмотрел на деда.

— Ну и бог с ними! Не стоил этот десяток кур тех сил и здоровья, какие ты на них тратил. Тем более, что рядом — в селе — птицеферма, тебе бы таких кур со скидкой продавали — как ветерану труда. Не горюй.

«Потому и согласился на переезд», — мысленно повторил Егор. Когда это он на переезд к сыну согласие давал?

— Максим, не торопись, дед не завтракал. Тебе что сделать? — повернулся к нему сын.

Егор пытался понять, что случилось. Они приехали, чтобы увезти его в город. И они говорят, что он согласился и даже сам просил.

— Сегодня какой день? — осторожно спросил Егор.

— Ты уже счёт дням потерял? Вот что значит — глушь. Суббота сегодня. Поэтому Иван и не приехал, в колледже занятия.

— Четырнадцатое? — зачем-то переспросил Егор.

Сын кивнул.

Одно к одному. Заболел он в четверг, в тот день лёг рано, не закрыл на задвижку курятник. Ночью лиса пришла и устроила разгром. В пятницу, тринадцатого — число-то

какое роковое — ему было так плохо, что встать не сумел, и думал уже, что помирает. Но приехали откуда-то эфиопские врачи, поставили ему капельницу, ещё что-то влили, кислородом дали дышать. Было это в час дня. Проспал он почти сутки — с часу дня пятницы до одиннадцати часов субботы. Врачи эфиопские оставались в его доме, даже убрали чисто и печь растопили. С его компьютера послали письмо слёзное — мол, не могу больше один — забирайте.

Вспомнил Егор фильм про Шерлока Холмса, и подумал, что если бы был помоложе, мог бы не хуже дела распутывать.

— Чай прежде пить будем, — сказал Егор. — Яйца отвари. Поедим напоследок нормальных яиц. От моих курочек...

Чуть не добавил — «покойных». Пока сын хозяйничал на кухне Егор подошёл к компьютеру. Тот был включён. Доктора эфиопские включили — не сам же он включился. Открыл программу для переговоров.

В разделе письменных сообщений он увидел текст, который как будто он отправил вчера в 16 часов 22 минуты — время было обозначено точно:

«Созрел для переезда. Заберите меня завтра»

Про то, что «созрел» эфиопцы написать не могли. Они по-русски говорили плохо и не знали его истории. И не стали бы доктора убирать в доме. Откуда эфиопцы печь русскую топить умеют?

И вдруг ударил себя по лбу. Как же не сообразил! Наташа! Пришла как раз в тот момент, когда ему плохо стало. Пока врачи лечили его, в доме убрала. Ей не впервой. И печь топилась вчера и сегодня. Может, и ночевала у него. И компьютером умеет пользоваться.

Значит, это она за него судьбу его решила. Конечно, не могла не заметить вчера лисьих следов и решила — нет кур, нет смысла оставаться.

Пока Егор размышлял — сердиться на Наташу или нет, завтрак подоспел.

Кушал Егор молча. Внук постоянно дёргал его, сын помалкивал. Наверное, понимал, что не просто

расставаться с домом, который сам поставил, и в котором пятьдесят лет прожил. А Наташа... Бог ей судья.

Егор был почти безучастен, пока собирали его вещи. Какая разница — что брать, что оставлять.

Потом снимали и разбирали солнечную панель, а напоследок Максим полез на крышу и снял тарелку.

Егор обошёл вокруг дома. Станным было, что никаких следов, кроме следов машины, на которой приехали дети, не было. А на чём же эфиопцы приехали? Не на себе же они из села тащили медицинское оборудование?

— Вы когда сюда ехали, следы другой машины видели? — не выдержал он.

Сын удивился.

— Ты что, вчера шум машины слышал? Нет, никаких следов не было. Ни машины, ни человека.

— Может, где-то в стороне были следы?

— Какое «в стороне»! Сам знаешь, тут и дороге не всякий раз проедешь!

Егор остановился. Может, рассказать сыну про эфиопских докторов?

— Точно, никаких следов не было?

— Вчера снега не было. Мы бы увидели следы другой машины. Ты лучше скажи, где твой Барсик?

Кота не было, хотя уже было начало третьего. Из леса Барсик возвращался обычно часам к одиннадцати или к двенадцати. Один или два случая были, что возвращался в час дня.

Если следов нет, то как эфиопцы попали в его дом? Не на вертолёте же? Да и вертолёт оставил бы след. Наташа ушла, оставив его одного спящего после капельницы и других медицинских процедур?

Куда кот делся? После того снегопада, который был позавчера, все следы — как на ладони. Нет кошачьих следов возле дома.

И вновь словно обожгло Егора догадкой: не было здесь Наташи. Если это она вызвала врачей, если это она убрала в доме и топила печь вчера и сегодня, если это она вызвала сына из города — то осталась бы возле больного.

Не ушла бы к себе, пока Егор не проснулся. Не ушла бы к себе, зная, что должен племянник приехать.

Голова шла кругом. Решил Егор отвлечься и пошёл в сторону леса. Повернул налево, пропахал валенками по снежной целине сотню шагов. Пересёк лисьи следы. Тут она к его курятнику пробиралась, а здесь назад бежала, судя по посторонним следам, с собой ещё курицу тащила. Курица ещё жива была, крыльями махала, пытаясь вырваться. Оттого и чёрточки поперёк цепочки лисьих следов.

Развернулся, и пошёл в другую сторону. И снова — никаких кошачьих следов.

Дед остановился. Никогда не задумывался, на кого кот в лесу охотился? Сначала полагал — за мышами, в лесу их немало. А когда зима пришла, и до мышей стало не так просто докопаться — на кого? Если взять вглубь леса, в полутора километрах есть болотце, которое зимой не замерзало — кроме сильных морозов. Подле него всегда много живности обитает. Неужели кот каждый день бегал полтора километра туда, и столько же назад — ради того, чтобы какую-нибудь птицу поймать?

— Ты что, следы Барсика ищешь?

Егор кивнул. И решил перевести разговор на другую тему.

— Чего тарелку не грузите?

— Посмотри, что с тарелкой случилось.

Володя и Максим повернули тарелку к деду. Дед ничего особенного не увидел.

— Ты ничего не замечаешь?

Егор пожал плечами.

— Когда мы тарелку сюда привозили, она изнутри была специальной серебряной краской покрашена. А сейчас?

Сейчас тарелка внутри была чёрная. Только в центре оставалось белое пятно. Дед коснулся рукой внутренней поверхности. Гладкая. Ему даже показалась, что чуть тёплая.

— А где лампочки?

— Какие лампочки? — удивился Максим.

— Я по вечерам, когда на улицу выходил, часто видел: по ободу огоньки цветные горели. Красные, синие, зелёные. Красивое зрелище было.

— Дедуся, ты ничего не путаешь? Тут никаких лампочек нет.

Егор недоверчиво склонился над тарелкой, ища спрятанные лампочки. И вдруг услышал знакомое мурчание:

— Пр-р-р-рощай. Пр-р-р-рощай...

Отшатнулся от тарелки, окинул взглядом двор:

— Барсик! Барсик!

— Ты что, дедуся?

— Вы слышали? Барсик мурчал!

Сын и внук переглянулись.

— Нет, ничего не слышали...

От досады Егор чуть кулаком по тарелке не стукнул. Снова склонился над ней: белое пятно в центре ему вдруг манишку кота напомнило. И снова услышал:

— Пр-р-р-рощай. Пр-р-р-рощай...

Отскочил дед от тарелки, словно ошпаренный, замер на секунду и бросился на крыльцо — пристройку рассматривать. Искать на ней следы кошачьи. Из слухового оконца кот на пристройку должен был прыгнуть. А с неё — на крыльцо.

Снег ровным покрывалом укрывал пристройку. Словно никогда на неё кот не прыгал.

Вернулся к тарелке. И прежде чем сын с внуком водрузили её на машину, снова засунул голову во внутрь. Опять услышал:

— Пр-р-р-рощай. Пр-р-р-рощай...

Сжалась душа. Как в тот момент, когда под лавку, где околел Тузик, поставил стаканчик с водкой, накрытый ломтиком хлеба с салом.

Вот она, философия. Живём, не зная, что впереди. Когда счастье придёт, а когда горе. Чему радоваться, а над чем плакать. Где найдёшь, а где потеряешь.

Дети тем временем закрепили тарелку на крыше внедорожника, зачихали последние сумки в машину.

— Всё, батя, — сказал сын. — Дом замыкаю, тут ещё добра полно осталось. Надеюсь, никто не позарится. Начинаем Барсика искать?

Дед отрицательно покачал головой.

— Ушёл он. Как пришёл из ниоткуда, так и ушёл в никуда.

— Ух ты! — изумился Максим. — Дедуля наш стихами заговорил!

— Три часа, — сказал сын. — Тогда поехали. Кот такой, что за него опасаться не надо. Если что — в дом через чердак залезет, всё не на улице ночевать. Через недельку приедем оставшиеся вещи забрать — и увидим, был он или нет. Если вернётся — заберём.

— Не вернётся, — убеждённо сказал дед Егор. — Мы ему не нужны.

Хотел добавить, что это ему кот нужен был, а не он коту — да не стал. Понял Барсик, что дед далее без него обойдётся — и ушёл.

И решил Егор Иванович, что это должно оставаться его маленькой тайной. Его и Барсика.

Генетическая память

Есть такая группа заболеваний в психиатрии, о которой могут знать только самые близкие люди. А всё потому, что эти больные совсем не выглядят как больные, они ходят на работу, влюбляются, женятся, разводятся, смотрят футбол, пьют пиво и делают шопинг. Словом, всё как у людей. Но у каждого из них есть свой скелет в шкафу, но если честно, то не какой-то большой, а такой относительно маленький, типа ящерицы или воробья. Да и не в шкафу, а в ящике стола, за коробкой со значками и солдатиками, или связкой писем не первой молодости.

И называется эта проблема - фобия. Существует их, если верить психиатрам, больше трёхсот. Чего там только нет! Простые и сложные, обыденные и очень странные. Боязнь пауков, тёщи, острых предметов, клоунов, длинных слов и далее по списку...

Среди них лисофобия - боязнь собак. Конечно, всегда есть причина: большая или маленькая. Лающая, рычащая или молча бросающаяся на свою жертву.

Толстый шарфюрер СС с моноклем, двигался вдоль строя заключенных, внимательно вглядывался в глаза измученных, истощенных людей и улыбался. Его начищенные до блеска сапоги поскрипывали. Пройдя треть строя, он остановился и начал детскую считалочку.

Die Mousesingen,
Die Katzenspringen
Beiunsim Ort.
Dochdumusstfort.

Мыши песенки поют,
Ну, а кошки – тут как тут!

Ищут кошки - где же мыши?
Кто увидел мышку - вышел!

Палец в перчатке уперся во впалую грудь сутулого заключенного в полосатой робе.

- Gefangener, treten Sie aus der Reihe aus.

Семён Варшавский вышел, дрожа, переминаясь, с ноги на ногу и затравленно посмотрел на группу смеющихся эсэсовцев. Его мутило от голода, он с трудом держался на ногах. И ещё - холод, пронизывающий до костей холод. Между костями и холодом была символическая преграда, почти прозрачная голубоватая кожа, похожая на мрамор и такая же безжизненно-холодная. Если бы не длинный шерстяной шарф, связанный заботливыми руками беременной Ривки, который Сёма обмотал вокруг тела, он давно покинул бы этот ледяной ад сизовато-серой струйкой дыма. Самым тёплым местом здесь были печи крематория.

Семён хорошо запомнил свой первый день в лагере. Эту огромную надпись на воротах: "Каждому своё", которая отделяла ужас в глазах новоприбывших от бирюзового неба.

Выходя из вагона, он оглянулся и увидел большие буквы RU; потом капо, с зеленой нашивкой уголовника на полосатой робе, объяснил, что это сокращение двух немецких слов "возвращение нежелательно" и, хохотнув, показал на дымящиеся трубы. Все эти долгие месяцы его согревала мысль, что он успел, отдав массивные золотые часы деда, в последний момент впихнуть беременную жену в переполненный эшелон, идущий в глубокий тыл, в далёкий Казахстан. Интересно, как она добралась, и кто у него родился.

И так почти каждый день...

Один из эсэсовцев отсчитал сто шагов и поставил на грязный снег миску, наполненную свекольными и картофельными очистками. Потом полез в карман шинели и достал оттуда маленький свёрток. Развернув промасленную бумагу, он водрузил поверх отбросов

огрызок кровяной колбасы. И тыча в него толстым пальцем, хохоча, произнёс:

- Das Sahnehäubchen!

Возвращаясь назад, солдат воткнул посередине пути расстояния до миски какой-то колышек.

Варшавский хорошо знал немецкий, без труда закончил специальные курсы и стал учителем немецкого языка, пытаясь донести до своих учеников всю красоту языка Гёте, Гейне и Шиллера.

Das Sahnehäubchen - вишенка на торте. Последнее угощение в его короткой жизни, которое ему так и не удастся попробовать. Шарфюрер СС Карл Вагнер придумал забаву для своих сослуживцев – собачьи бега. Первым должен был бежать заключенный, ему давалась фора, а когда он пересекал отметку половины пути, то с поводка спускалась овчарка. Солдаты сделали свой "табачный тотализатор" и ставили сигареты на то, кто доберется до миски первым. Хотя итог был заранее предрешён.

Это было шестое соревнование за последний месяц. Первые четыре выиграли собаки. Семён видел их окровавленные морды, когда стоял вместе со всеми. Он помнил, как овчарка сбила с ног старого цыгана Шандора и вцепилась ему в пах. А тот крутился по земле и выл по-собачьи, под лошадиный гогот эсэсовцев. Троицким, имён которых Семён не знал, псы порвали горло. Пятым был солдат Иван Борщенко, высокий русский, который отказался бежать и плюнул в лицо немцу. Взбешенный шарфюрер взял автомат, выпустил очередь, убив непокорного и ещё троих товарищей по несчастью.

Нет, Варшавский смерти не боялся, она стала его ежедневной попутчицей, с тех пор как Сёму втолкнули в товарный вагон. Он боялся боли, но больше всего он боялся собак. Когда-то в далеком детстве на него набросились две собаки и сильно покусали. С тех пор, заслышав лай, он обходил то место десятой дорогой. Он взглянул пустыми глазами, на раскормленную чёрно-рыжую овчарку, которая, склонив голову, внимательно рассматривала свою будущую добычу.

Эсэсовец, махнув рукой, гаркнул:

- Вперёд!

И Семён, неуклюже раскачиваясь, бросился в сторону миски.

Когда он поравнялся с колышком, он услышал:

- Альберт, взяты!

Ещё пятнадцать-двадцать шагов и... Что-то тяжелое сбило с ног Варшавского. Он хотел закричать по-детски громко, но не смог выдать из себя ни звука, мощные челюсти сомкнулись на его горле.

- Интересно, а кто у меня роди...

Это была последняя мысль Семёна, так и оставшаяся неоконченной...

- Надолго в Германию? - поинтересовался офицер на таможенном контроле.

- Надеюсь, надолго, очень надеюсь, - произнес полнеющий брюнет лет сорока.

- Герр Варшавский, битте! - и немецкий таможенник, громко шлёпнул печать в паспорт.

Эдуард Варшавский широко улыбнулся и произнёс:

- Данке шейн.

Ну, вот и всё! Он в свободной Европе! А не в говённом, туземном Израиле. Израилевке... Целых три года он прожил в этой Богом забытой стране, больше похожей на географическую ошибку, с постоянно изменяемым размером: от микроскопического до лилипутского.

Эти вечно оружие марокканцы на рынках, хамы и бюрократы всех мастей, перед которыми он унижался, добиваясь выезда в Германию. Эти километры вымытых полов, и ночные бдения над самоучителем немецкого языка. Ему, выпускнику-краснодипломнику Ташкентской консерватории по классу скрипки. Ничего, ничего... Он начнёт всё заново. Его имя ещё будет сверкать на афишах. Да, придется трудно, но не привыкать! Пусть сначала маленький город, не страшно. Он списался с хозяйкой, даже переслал ей залог, двести евро. Комнатки, конечно,

крошечные, но немецкая чистота и приличные соседи, которые не жарят селёдку.

Никогда, никогда больше он не вернётся ТУДА!

Два часа в автобусе пролетели быстро. И вот он уже идёт по зеленой улице, рассматривая уютные пряничные домики, насвистывая "Турецкий марш" Моцарта, Вольфганга Амадея, кстати австрийца, почти немца... Вот уже почти и пришёл...

И тут неожиданно открылась калитка, и ему навстречу вышла здоровенная овчарка чёрно-рыжей масти. Пару раз громко пролаяв, она утробно зарычала и легла на дорогу, преграждая путь вновь испеченному жителю Германии. Эдик замер как вкопанный, ноги как будто пустили сквозь асфальт глубокие корни. Он же вроде никогда не боялся собак. Во рту стало сухо, как в высохшем колодце. Сейчас она бросится и вцепится ему в горло или в пах...

Потом он на какое-то мгновение выпал из реальности. Он почувствовал жирный запах дыма, услышал лай собак, какие-то страшные крики и стрельбу. Собака не сдвинулась с места.

Эти десять секунд показались вечностью.

Калитка открылась и появилась благообразная старушка, и с укором помахала пальцем собаке:

- Эльза, нехорошая девочка! Посмотри, как ты напугала нашего гостя. Не бойтесь, герр Варшавский, это хорошая, воспитанная, собака. Проходите в дом.

Неожиданно Эдик попятился назад, и, развернувшись, бросился по улице, волоча за собой чемодан.

- Куда же вы? – удивленно закричала ему вслед старушка.

Ещё через три часа он был в аэропорту.

- Уже?!! - тот же таможенник удивленно смотрел на Варшавского.

- Знаете, ужасно соскучился по Израилю, - виновато произнёс Эдик.

- Герр Варшавский, битте! - и немецкий таможенник, громко шлёпнул печать в паспорт.

Шапка-невидимка

Волшебных историй про шапку-невидимку существует великое множество...

Но это история не похожа ни на одну из них. Возможно, она похожа на сказку, но самое страшное в этой сказке, что это правда.

Изя хотел жить. Он не просто хотел, он делал всё, чтобы остаться в живых. В его животе урчало так, как будто тысячи лягушек в старом болоте решили устроить хоровое пение. Поэтому, воровато спрятав картофельные очистки за пазуху и заслышав немецкую речь, он изо всех сил рванул к своему бараку. Там, лёжа на нарах, пропитанных, как смолой, человеческим потом и страхом, он жадно поедал то, что ещё три года назад выкидывал вместе с мусором.

В голове мелькнула мысль, что надо оставить хотя бы горстку очисток на утро, но голод, - он был как огонь, который пожирал всё на своем пути. Наконец последняя кожура была съедена, чувство приятной сытости и усталости разлилось по телу... Сейчас он натянет поглубже на голову свою полосатую шапочку и забудется тяжелым сном. Чтобы утром, по команде капо выползти из брака в объятия мутного рассвета...

Рука коснулась головы и мгновенно отёрнулась, как от укуса змеи. Медленно, весь сжавшись в комок, Изя опять коснулся темени, рука автоматически погладила стриженный ежик колючих волос. Шапки не было. Он встал на четвереньки и начал шарить в крошечной темноте вокруг себя. Шапки не было.

Вот так приходит смерть...

Три года адского труда, ежеминутного страха за свою жизнь, смерть матери и двух сестёр, вечное, неистребимое чувство голода - и всё напрасно... Его после утренней проверки расстреляют. Шапочку нельзя было терять ни при каких обстоятельствах. Наступило сначала оцепенение от

накатившего ужаса, перешедшее быстро в апатичное отупение.

Изя, как китайский болванчик, который стоял у бабушки Зельды на старом комодe, безмолвно раскачивался из стороны в сторону. Так прошёл час; несмотря на холод, он вспотел, хотя пота тоже не чувствовал. Ему оставалось жить всего четыре часа, а может, и того меньше.

В сущности, какая разница... Часом больше или часом меньше? Смерть умеет ждать. Три года выживания, и вдруг такая ошибка. Проклятый желудок. Изя чувствовал, что давно стал его рабом, а теперь ненасытное брюхо стало его палачом...

Приговор прозвучит завтра, его просто выведут из строя, поставят на колени и выстрелят в затылок. Поставят свинцовую точку на всей недолгой семнадцатилетней жизни. И всё.

Вдруг, как пробиваются из-под снега самые смелые цветы-подснежники, в голове мелькнула искрой мысль: нужно достать шапку.

НУЖНО ДОСТАТЬ ШАПКУ, НУЖНО ДОСТАТЬ ШАПКУ, НУЖНО ДОСТАТЬ ШАПКУ!!!

В горле пересохло, он должен достать шапку. Но где? Вернуться обратно нельзя: его пристрелит либо охрана, либо часовой с вышки. Надо украсть! УКРАСТЬ...

Изя медленно сполз с нар и крадучись пошел вглубь барака, куда неделю назад пригнали группу поляков, кажется, из Гданьска. Некоторые из них тяжело ворочались во сне, другие лежали как убитые. Глаза до боли всматривались в темноту. Есть! Подросток примерно такого же возраста, как и он, беспечно положил шапочку рядом с собой.

Я или ОН? Я или ОН? Я!

Худенькое тело ужом скользнуло между заключёнными, и рука схватила шапку. Так же быстро он скользнул на свое место, натянув шапочку и прикрыв голову своей курткой.

Потом было утро, Изя вместе с другими построился на проверку. Лаюющие команды на немецком:

- Шапки долой. Шапки надеть. Выйти из строя.

И жалобное:

- Проше, пан офицер...

И выстрел.

Ицхак Штерн вскрикнул... и открыл глаза. За окном поднимался иерусалимский рассвет. Он непроизвольно провел рукой по голове. Старая выцветшая полосатая шапочка прикрывала лысую морщинистую голову, похожую на голову древней черепахи.

Сегодня День Катастрофы, он обещал прийти к внуку в класс и выступить перед детьми. Что он им расскажет?

Притихший класс видел перед собой старого высохшего старика, который мял в руках какую-то сине-белую тряпочку.

- Я был старше вас на четыре года... И на целую жизнь. Война - это очень страшно. Находясь в лагере смерти, ты понимаешь, что правил нет. Вернее, они есть, но все против тебя. Любой проступок карается смертью. У тебя даже нет имени, а есть только номер.

Старик непроизвольно погладил свою левую руку с вытатуированным пятизначным номером.

- То есть ты уже не человек, ты набор цифр. Безликие цифры... Им ничего не нужно, они даже не исчезнут со смертью. Но жизнь, особенно молодая, не хочет этого признавать. И ты понимаешь, что тебя превращают в животное... Хищное животное, такое, как волк. Волк, который загнан, его положение безнадежно, но он всё равно хочет жить.

Вы, наверное, хотите услышать про героических подпольщиков, про героев. Но я не знаю таких историй. Честно, не знаю... Я вам расскажу историю, которую не рассказывал никому шестьдесят лет...

И он рассказал всё.

Он поднял над головой выцветшую шапочку и обратился к притихшей аудитории.

- Вот эта шапка-невидимка, с помощью которой я спрятался от смерти...

Но я не смог спрятаться от самого себя! Я прошел здесь ещё две войны, был ранен. Я всю жизнь убивал в себе ВОЛКА...

Конечно, скорее всего этот парень, чью шапочку я украл, всё равно погиб бы, так как вряд ли смог бы приспособиться к лагерным условиям... Но я знаю, что поступил плохо, да уже ничего исправить нельзя.

На войне нет героев, есть только живые и мёртвые... И есть память, которая не дает человеку превратиться в волка...

Публикации Архива русско-израильской литературы Бар-Иланского университета

Михаил Юдсон

«Остатки»

Составление и примечания Романа Кацмана

Мы продолжаем публикацию фрагментов, сохранившихся в архиве Михаила Исааковича Юдсона (1956-2019) в конверте под названием «Остатки». Предыдущие публикации см. в №№ 14-15.

*

И медленно, но неуклонно ночное становилось сонным — дождями звезд размыто полотно... Ну вот — зевота одолела...

-

«Опухли словаря и вывихи синтаксиса» (Чуковский — с восхищением — о Зощенко). «Свифт, которого приняли за Аверченко».

-

Весь Александр Грин написан гимназистом Чечевицыным из чеховских «Мальчиков».

*

Ах, Русь, емелящее пугалко, разиня-степь!

-

И Берберова курсивила Шатобрианом: «Перемены в литературе, которыми хвастает девятнадцатый век, пришли к нему от эмиграции и изгнания». Двигайтесь больше, братцы!

-

«Сверкали огни вин», как писал А. Грин.

-

Тут позвольте крикнуть караул, как писал Чехов, анализируя женскую какую-то прозу.

-

Вопрос: Кстати, как вам «Улисс» или «Ада» на русском? С. С. Хоружий в интервью мне пошутил, что там не меньше его самого, чем Джойса. А С. Ильин посвятил перевод набоковского шедевра своей (!) жене!

-

Глобальное еврейское местечко! Широк шинок при всякой погоде — вольно и плавно несет в свои плавни и заводи... И не бей плавниками, сынок — косым и счастливым вынесет тебя на крыльцо, пыхнешь ты люлькой, качнешь оселедцем, дыхнешь селедкой, вздохнешь итогово: «Достаточное количество!..».

*

Я речив, вечера удалась — загребут в кутузку на закланье и распнут, раз плюнуть, близя связь (в локоть путь — куснуть, испить, свершилось, и уснуть), снуя по-черепашьи, растекусь благодатью по дереву, вестию из грязи грёз, хлипкою дощечкой через лужи, лестницей иаковною в небо, вертикальный мост меж мечтой и исполнением желанья...

-

Покой нам, Толька, снится! (Добровичу, что ли...)¹

*

Гоголь о критиках: «Толкуют о гостиных, а допускаются в передние».²

-

Бабочки летали — «гусеницы ангелов», как называл их Набоков.

-

Вещать пастве пасту на уши... Ватикин!³ Папизм! Бравурные речи раввинов!

¹ Анатолий Борисович Добрович (р. 1933) — русско-израильский писатель, поэт, психолог и автор книг по психологии.

² Из «Театрального разъезда» Н. В. Гоголя: «толкуют о гостиных и допускаются только в передние».

³ В иудаизме, обозначение особенно праведных и мудрых, торопящихся исполнить заповеди, например, завершить первую

-

Серфинг эмиграции. Валы. Нумерованные волны.

*

Текст, изрытый оспинами злобы.

-

Кошер, кореш!

-

Вскачи и скачи — вкривь и вкось!

-

Кто — Ситников, Зверев (по Гробману)¹ — Моцарт соц-арта? Кто главней, одарённой? Кто кого сборет?

*

Ван-Гог, человек-подсолнух, а после плюща сравнивал кипарисы с египетскими пирамидами.

-

Засмеялся по-детски, открыв сахарные кариесные зубы...

-

Набоковский безобидный повелитель мух (сами дохнут, как тени) — Цинциннат Ц. (це-це).²

*

У Стругацких в их ранних романах знаменитый звездолет назывался «Хиус» (сибирский ветер). А потом многих и многих унес ХИАС³ — и тут братья угадали!

*

Флобер сравнивал книги с пирамидами в пустыне — внизу шакалы, а кто взбирается на вершины? Буржуины?⁴

молитву «Шма Исраэль» точно с первыми лучами солнца (Вавилонский Талмуд, трактат Благословения, 26:1).

¹ Художники: Василий Яковлевич Ситников (1915-1987); Анатолий Тимофеевич Зверев (1931-1986); Михаил Яковлевич Гробман (р. 1939).

²Цинциннат Ц. — герой романа В. Набокова «Приглашение на казнь».

³ХИАС (HIAS) — Общество помощи еврейским иммигрантам (Hebrew Immigrant Aid Society).

⁴«Книги не рождаются, как дети, их строят, как пирамиды, по заранее обдуманному чертежу и таская на собственном хребте громадные глыбы, громоздят их одну на другую, не жалея ни времени, ни труда, а ведь это сооружение бесполезно! Все это останется стоять в

-

Моя «Лестница»¹ — это семейная кухонная ссорка. Ашер Гинцберг (он же Ахад ха-Ам), идеолог сионизма в России (в Одессе), называл подобные тексты «ранами от любящей руки». Да, сарказм, да, сатира, но и неотъемлемая общность с общиной.

-

С. Лем в «Философии случая» сравнивает текст с коробкой с цветными кубиками. Иногда из фрагментов возникает картинка, а иногда нечто хаотичное. Так стоит ли вообще складывать, заниматься утомительным декорированием?..

-

Все уехали! Когда в Орду пригоняли новых невольников-славян, то старожилы невольники их спрашивали: «Ну что, на Руси еще кто остался ай нет?»

*

Вперед, двуногое без перьев, поёт нам ангел на мосту — там, за рекой, в тени деревьев, под сенью девушек в цвету...

*

«Гусев вынул из мешка полбутылки спирта, захваченной с Земли. Марсиане выпили и залопотали» (А. Толстой, «Аэлита»).

-

Мой друг профессор Миша Сидоров (а он родом из Барнаула) рассказывал мне, что на гору Белуха, самую высокую точку Сибири, горноалтайцам не то что совершать восхождения, а и смотреть нельзя! Табу!

*

пустыне! Но будет величественно господствовать над ней. Шакалы испражняются у ее подножия, а буржуа взбираются на ее вершину». (Г. Флорбер. Письмо Эрнесту Фейдо, Круассе, конец ноября – начало декабря 1857 // Собрание сочинений в 10 томах. Том 8: Письма 1855-1880. М.: Художественная литература, 1937).

¹Роман М. Юдсона «Лестница на шкаф». СПб.: Геликон Плюс, 2003 (части 1-2), М.: Зебра Е, 2013 (части 1-3).

О, школьные коды. Сочинюхи-вопросня — «как я провел лето в гетто», да «о, Хау, а Юде»... Прыщавый очкастый отрок в майке с серпом и молотом и призывной надписью славянской вязью: «Коси и забивай!»

*

У Ремизова («Крестовые сестры»): «выругался с таким исто-русским коленцем, такие чертежи пустил, что уж от звучности и крепости родной речи у самого глаза на лоб полезли».

-

МКАД — Московская Кольцевая Аппиева Дорога.

-

Сибирь постепенно прирастает Китаем — русскоянцзычное пространство...

-

Жидаы — комары...

Дождь не убивает комаров (хотя средняя капля раз в сто тяжелее комара) — потому что они прилипают к капле и летят с ней, избегая удара (а у земли отлипают). Так и евреи — прилипают к другим народам.



Иллюстрация **Александра Канчика** к двенадцатой главе романа **Якова Шехтера** «Бесы и демоны»

На смертном одре

Глава двенадцатая из книги «Бесы и демоны»

Лимонный свет луны постепенно наполнял комнату. Звуки дня один за другим сходили на нет. Сначала стихли выкрики уличных торговцев, затем перестук кованых железом колес товарных фур, потом вопли мальчишек. Когда свет заполнил комнату до самого потолка, словно чай стакан, Зуся понял, что умирает.

Нет, он не испугался. Это было правильно и закономерно. Всему на свет приходит конец, и хорошему и плохому. Он прожил долгую жизнь, полную сладости и горечи. И вот пришла пора прощаться.

Неожиданно для самого себя Зуся тяжело вздохнул. Значит, больше не будет горячей бани перед субботой, а затем неспешного шествования в синагогу и наслаждения от ветерка, охлаждающего шею и распаренное лицо. И сладости от кубка с вином по возвращении домой, и обжигающего язык чолнта прямо из печки, и томного субботнего сна рядом с горячими бедрами жены.

– Какие еще горячие бедра?! – Зуся невольно усмехнулся. Все это осталось в прошлом. Но в его памяти ничего не изменилось. В ней он по-прежнему молод, полон сил и жаден до земных утех.

Зуся твердо верил в существование будущего мира и не сомневался, что попадет в него. Но в том блаженном мире души существуют без тел, и плотские радости, к которым он привык за долгое земное существование, недоступны. В раю души наслаждаются светом Торы, повторяя то, что успели выучить на земле, и Зуся приложил немало усилий, чтобы его душе было там чем заняться.

Сказать по правде, он никогда не получал удовольствия от учебы, просто тянул лямку, как вол, как ломовая лошадь, как каторжник. В будущем мире он – несомненно! – получит награду за эти усилия, но разве можно сравнить усладу от холодной рюмки водки и фаршированной щуки с чтением псалмов или разбором темы в Талмуде?

Да, воспоминания – это пища души в раю. Сделать уже ничего не сделаешь, остается лишь без конца возвращаться к тому, что было, и переживать прошлое заново, смакуя каждый вздох, аромат, вкус. Для того и дана человека большая голова, дабы запомнить все-все, до малейшей черточки, и унести с собой в мир душ.

– А что вспомню я? – подумал Зуся и снова тяжело вздохнул. В его памяти горой вздымалась нескончаемая война с самим собой, противоборство с волнами бесчисленных искушений. Да, почти все он сумел преодолеть, где взлететь на вершину волны и скатиться с противоположной стороны, где - поднырнуть и пропустить ее над головой. Ну а толку, толку от этого? Чего он добился изнурением и воздержанием?

Ох, как ему хотелось жену. Особенно в молодости, когда бурная кровь бешено ходила по телу, а земля сама убегала из-под ног, казалось, еще шаг – и взлетишь. Но по закону почти половину каждого месяца к жене возбранялось даже прикасаться. А когда добренький закон, наконец, разрешал, самое сладкое все равно оставалось запрещенным. Этого нельзя, чтобы дети не родились немыми, а от того упаси Боже, чтобы дети не родились слепыми, туда нескромно, сюда неудобно. Все ради детей, все для них!

Ну, вот он и старался. Лишал себя того, отказывался от другого, закрывал глаза на третье, и даже не смел мечтать о четвертом. И что? Что в итоге? Чего он добился, подмяв радости своей жизни под правила и указания?

Два сына ушли. Перебрались в Данциг, закрутили торговлю, разбогатели, обзавелись семьями. Да вот беда – Закон Моисеев помехой оказался! Мешал деньги зарабатывать, а потом тратить в свое удовольствие. Вот они и отодвинули его в сторону, как ненужный хлам.

Дочь, его радость, его любовь, его отрада, самая младшенькая забавница, вышла замуж и осталась в Куруве. Заповеди соблюдает, что называется, на малом огне. Зусе, шамесу центральной синагоги Курува, в ее доме даже есть невозможно, поди догадайся, что дочка по рассеянности или по недосмотру положила в кастрюлю.

Ну, и чем помогло ему, Зусе, соблюдение запретов? Он, конечно, не великий праведник и не праведник вообще, но хотел, чтобы дети пошли его путем, соблюдали заповеди, жили по Торе, были хорошими евреями. Ради этого он и отказывал себе в удовольствиях. И получилось, что зря. Предали его сыновья, бессовестно предали.

И ведь предупреждали его умники, предостерегали: дети берут от родителей лишь половину их праведности. Пеняли, укоризненно помахивая указательными пальцами: чтобы сын соблюдал субботу, отец должен хранить святой день с двойным рвением.

– Ну-ну, – посмеивался он, – а чтобы дети ели мацу, отец должен питаться мукой?

Теперь Зусе уже не смешно. Ему давно уже не смешно, ведь не дети выросли у него, а свиньи, наглые неблагодарные свиньи.

Он горестно вздохнул и отер рукавом набежавшие на глаза слезы. Не боится он смерти, даже хочет ее. Подальше от позора, кривых ухмылок, и снисходительных взглядов «добрых» людей.

С Зусей творилось что-то странное. Перед глазами то и дело проплывали полосы плотного тумана, перекрывающие лимонный свет луны. Туман проникал в голову, наполняя ее предвкушением чуда, делая осмысленным прошлое и обещая удивительное будущее. Это длилось всего несколько мгновений, но они погружали сердце Зуси в сладкий сироп тихого счастья.

Затем полоса тумана исчезала, бесследно растворяясь в оконном стекле, беспощадная четкость линий вновь наполняла комнату, и Зуся ясно понимал, что прожил жизнь зря. Ради закона он отказался от удовольствий, ради семьи работал с утра до вечера. И все понапрасну, его судьба,

брошенная под ноги закону и семье, от этого не стала ни на каплю лучше.

От горечи и обиды перехватывало дыхание. Чтобы как-то успокоиться, Зуся принялся вспоминать, от чего он отказался ради неблагодарных свиней. Удивительное дело, картины, казалось бы, давно забытого прошлого, ушедшей навсегда жизни начали всплывать перед его мысленным взором с хрустальной прозрачностью, ясные, словно осенний день, когда прохладный воздух уже не мешает рассмотреть все подробности леса за речкой и пересчитать скирды на желтом от стерни поле.

Вот одно из ранних воспоминаний. Мальчиком он бежал домой после игр. День выдался знойным, воротник рубашки промок от пота, и пить хотелось неимоверно. Соседка в начале улицы, полька, стояла на пороге дома и, увидев пробегающего Зуся, поманила его рукой.

– Ой, хлопчику, як тебе жарко, ты же весь мокрый. Почекай, я тебя холодненьким напою.

Она скрылась в доме вскоре вышла, неся большую кружку.

– Пей, хлопчику, пей.

Зуся решил, будто в кружке вода и доверчиво протянул руку. Ладонь тут же наполнилась мокрой прохладой, он поднес кружку к лицу, и в нос шибануло сладким и пахучим, от чего рот наполнился слюной.

«Это же хлебный квас, – сообразил Зуся, глотая слюну. – А сейчас Пейсах! Нельзя, ни в коем случае нельзя. Но как же хочется пить!»

Полька заметила, как изменилось его лицо, и негромко произнесла.

– Да пей, хлопчик, пей, никто ж не видит, а я никому не скажу.

– Он видит, – ответил Зуся, поднимая глаза кверху.

– Он! – вскричала полька. – Неужели он такой жестокий, ваш Бог, что станет наказывать дитяtko из-за кружки холодного квасу?

Зуся покачал головой и протянул кружку обратно.

– Спасибо большое, но я не могу.

– Ну и Бога вы себе выбрали! – горестно воскликнула полька, принимая кружку.

И на всю жизнь, да-да, на всю долгую жизнь Зуся запомнил этот запах, эту прохладу, эту сладость близкого, доступного греха.

Прошло лет десять. Уже парнем послал его отец сопровождать возчиков с товаром в Люблин. Они бы и сами прекрасно справились, но отец знал, что при сыне хозяина возчики постесняются беззастенчиво напиваться. Пить все равно будут, какой возчик после дня дороги не примет вечером на постоялом дворе чарку-другую водки. Сын был нужен для того, чтобы речь не зашла о третьей, четвертой и пятой чарке.

Хозяин постоялого двора умер два года назад, и всем заправляла его вдова Гжешка, задиристая, скорая на слово бабенка лет под сорок. Бедра у нее были круглые, зад оттопыренный, груди как два снопа, глаза голубые, зубы белые. Шагу она не могла пройти по залу, чтобы кто-нибудь из обедающих не попытался шлепнуть ее по заднице или ухватить за другие волнующие мужское воображение места. Получалось у них плохо, от загребущих рук Гжешка ловко уворачивалась, а особенно напористый мог запросто схлопотать по усам.

Общая комната для проезжих располагалась рядом с большим залом на первом этаже, в котором выпивали и закусывали. Расположение правильное и весьма удобное, подвыпившему возчику не приходилось долго искать, где преклонить голову: прошел на заплетающихся ногах пять-шесть шагов и упал.

Комнаты для состоятельных гостей находились на втором этаже, рядом с дверью на половину хозяев. Покойный муж Гжешки всегда оставлял возле этой двери зажженную лампу, чтобы досточтимому гостю, в случае необходимости, было видно, куда стучать.

Оставшись одна, Гжешка по ночам дверь не открывала, но лампа продолжала гореть, освещая выкрашенные в салатовый цвет стены и беленый потолок, с черными точками, оставленными за лето полчищами мух.

Возчики допили по третьей, и пошли укладываться. В дороге поднимались рано и выезжали чуть свет, чтобы до темноты успеть как можно дальше. Зуся проводил их взглядом и отправился себе на второй этаж. Толстые стены гасили шум хмельных голосов, было тихо и спокойно.

Из приоткрытой форточки задувал свежий ветер. Большая луна светила прямо в окно. Зуся зажег свечу, помолился в тишине и прохладе, и стал готовиться ко сну. Читал дневной раздел из Пятикнижия, псалмы, думал о своих поступках за прошедший день.

В дверь постучали неровно и нервно. На пороге стояла дрожащая Гжешка, в запахнутом кое-как ночном халате, не могущим скрыть ее пышные формы.

– Спаси меня, хлопчик!

– Что случилось?

– Летучая мышь через форточку залетела, а я их боюсь до смерти. Выгони ее, умоляю.

Зуся про себя удивился, что такая резвая, рукастая баба боится летучей мыши, но удивления своего не выказал, а сразу отправился на помощь.

Большая комната была едва освещена единственной горячей свечой в большом бронзовом канделябре.

– А где же мышь?

– Она не здесь, она в спальне, – Гжешка указала на дверь, ведущую в смежную комнату.

Там было сумрачно, свет от оставшейся в большой комнате свечи, еле освещал порог спальни, оставляя кровать в таинственном полумраке. Зуся завертел головой, пытаясь отыскать мышь, но ее нигде не было.

– А где же мышь? – удивленно произнес Зуся, оборачиваясь к Гжешке.

– Та вот она, – улыбнулась та, сбрасывая халат, и задирая рубашку до шеи.

– Хватай, же ее, лови! – Гжешка указала подбородком на черный треугольник под животом.

Зуся впервые видел голую женщину и замер, с трудом удержавшись, чтобы от изумления не открыть рот.

– Что же ты медлишь, хлопчик? – удивилась Гжешка, – Спаси меня, спаси от тоски и одиночества! Не пожалеешь, обещаю!

Что-то сладкое стало твориться с телом Зуся, похожее на ночные сны, манящие и волнующие, всегда кончавшиеся липким восторгом. Он, словно зачарованный сделал шаг навстречу и тут краем глаза увидел, откуда в спальне свет. Темноту едва прорезали дрожащие лучи от лампы в углу перед образом какого-то польского святого.

«Иноверка! Икона! Лампада! – подумал Зуся. – Нет, это слишком много».

– Иди ко мне, мальчик! – Гжешка ловко стащила через голову рубашку, и протянула к Зуся полные белые руки. Но тот, увернувшись, выскочил из спальни, прогрохотал по лестнице и бросился во двор.

Ночь он провел на конюшне, подложив под себя одну попону и укрывшись другой. Утром, расплачиваясь с Гжешкой, он изо всех сил делал вид, будто ничего не произошло, и она ловко подыгрывала ему в этом. Лишь на прощание улыбнулась и негромко произнесла, так что лишь он мог слышать:

– Я буду ждать твоего возвращения.

Зуся ничего не ответил, но в Люблине, когда товар был продан, попросил главного возчика возвращаться в Курув другой дорогой.

Устав от воспоминаний, от тоски, от злой обиды на себя за бессмысленный отказ от наслаждений жизнью, Зуся откинулся на подушку и прикрыл глаза.

«Кому помешала бы эта кружка кваса? – думал он, часто и коротко дыша. – И Гжешка... мог подарить одинокой женщине радость и сам получить немало. Кому лучше от того, что все это не состоялось?»

Обида на самого себя походила на горячий камень, положенный на грудь. Дышать становилось все тяжелее, а от жара на лбу проступили капельки пота.

«Вот, значит, как заканчивается жизнь, – подумал Зуся. – Умираешь от сожаления по упущенным возможностям. О-хо-хо... Но где же ангел смерти, почему медлит?»

Зуся открыл глаза от голоса внучки. Комнату наполняло белое сияние нового дня. Внучка приоткрыла форточку:

– Доброе утро, дедушка. Давай свежим воздухом подышим. Все болезни от плохого воздуха.

Зуся едва заметно усмехнулся. Ишь, пигалица, все уже знает, всех уже учит.

Внучка присела к его постели, держа в руках дымящуюся чашку:

– Дедуль, свежий бульончик. Самое лучшее лекарство. Позволь, я тебя напою.

Зуся хотел ей ответить, что сначала надо омыть руки после сна, затем произнести утренние благословения, и лишь после этого что-то съесть перед молитвой, но тут дверь скрипнула и отворилась. В комнату вошел незнакомец. Вошел так, словно был здесь хозяином.

Зуся изумленно уставился на незваного гостя, рыжего, точно царь Давид. Рыжая, с полосами благородной проседи борода, была тщательно расчесана, щеки покрывали мелкие рыжие веснушки, такие же были на кистях рук, с длинными, чуть подрагивающими пальцами. Незнакомец перехватил удивленный взгляд Зуси, подкупающе улыбнулся и объяснил:

– Ты звал, голубчик, вот я и пришел.

– А ты кто? – выдохнул Зуся.

– Самуил, слуга Всевышнего.

– Не звал я никакого Самуила!

Зуся перевел глаза на внучку. Она сидела с таким видом, будто в комнате по-прежнему были только они вдвоем.

– Звал, еще как звал! – воскликнул Самуил, приближаясь к постели. – Твои вздохи и охи по поводу зря прожитой жизни и есть зов. Думаешь, мысли человеческие - пустой звук? Вовсе нет! Каждую мы слышим, видим, чувствуем и приходим на помощь.

– Да кто же это мы?

– Слуги Всевышнего! Самые верные, преданные слуги. Но давай к делу, времени у нас немного, – Самуил выразительно окинул взглядом Зусю. – Предлагаю тебе

прожить жизнь еще раз, но уже так, как хочешь. Сможешь вернуться в любой миг и пройти по его дорогам, только теперь уже понимая, что к чему.

– В любой миг жизни? – недоверчиво спросил Зуся.

– Ну, не в любой, конечно, но в самые сладкие, смачные минуты, – Самуил облизнулся, – обещаю.

– А что за это?

– Ерунда, выполнишь одну мою просьбу. Небольшую, несложную. Если увидишь, что она тебе не подходит, откажешься, и все вернется обратно.

– А какая просьба? – уточнил Зуся, уже понимая, кто стоит перед ним.

– Сейчас сказать не могу. Давай начнем, там все прояснится.

– Дай подумать.

– Думай. Только быстрее, голубчик, времени у тебя совсем ничего, – Самуил уселся на табурет и принялся раскуривать трубку.

«Вот она и пришла, последняя минута, – лихорадочно думал Зуся. – Ангел смерти собственной персоной. Совсем не такой, как его описывают. Не стоглазый, без меча с каплями яда на острие, и ужаса не внушает. Сидит на стуле, мирно трубочку покуривает. Запах от нее, правда, адский! Но ведь это он, он, кто же еще?»

Что ему от меня надо? Глупости какие, прожить снова жизнь, испытать сладкие минуты....Куражится ангел со своей добычей, забавляется? А как по-другому объяснить его предложение?

С другой стороны, что я теряю? С этой постели мне уже не встать, почему не попробовать? Если плата окажется позором или нарушением закона я всегда могу отказаться и вернуться назад».

– Очень правильное заключение, – воскликнул Самуил, выбивая трубку. – Ну, начнем прямо сейчас?

И Зуся в знак согласия опустил веки.

Там, в розовой полутьме, скрывался целый мир. Да-да, весь мир его жизни был там, и Зуся тут же, очертя голову бросился по следам несостоявшихся удовольствий.

Начал с кваса. Того самого, сладкого и пахучего, наполнившего рот тягучей слюной. Память о мокрой тяжести кружки преследовала его с самого детства. Но сейчас, идя по следам, он не стал дожидаться, пока полька вынесет кружку, а последовал за ней в избу.

Жбан с квасом стоял в сенях, и когда полька брала ковш и кружку с полки, Зуся сразу увидел, как по деревянной, черной от грязи крышке снуют здоровенные тараканы. Его передернуло от отвращения, а полька, ничего не замечая, сняла крышку, выудила ковшом двух плавающих на поверхности тараканов, выплеснула их в помойное ведро, набрала полную кружку кваса и протянула:

– Пей, милоч.

Зусю чуть не вырвало. Он обернулся и, что было сил, бросился вон из избы.

«Ладно, с квасом не получилось, – подумал он, не желая открывать глаза. В розовой полутьме за прикрытыми веками все казалось простым и доступным. – Куда бы отправиться теперь? А, Гжешка! Конечно, Гжешка!»

История с ней, тщательно затертая, вытесненная на самую границу воспоминаний, за которой начиналась серая пустошь беспомыслия, не давала ему покоя до самой женитьбы. Да, он преодолел искушение, ушел от соблазна, но голая Гжешка с призывно протянутыми руками, коричневыми пятнами вокруг сосков тяжелых грудей и черной мышью приходила к нему чуть ли не каждую ночь. Не раз и не два он оказывался в ее жарких объятиях и просыпался, перепачканный от восторга. Только жена сумела спасти его от этого липкого ночного безумия. И вот теперь представилась возможность сравнить, насколько отличается лихорадочное наслаждение снов от того, как это могло быть на самом деле.

Он снова оказался в спальне, освещенной лампадкой, увидел зазывно приоткрытый рот Гжешки и блеск ее глаз, но теперь не бросился наутек, а со спокойствием опытного мужчины пошел навстречу распахнутым объятиям.

Да, он ожидал подвоха, вроде тараканов на жбане с квасом, и был готов к нему, примерно представляя, что

может его оттолкнуть или испугать. От Гжешки крепко пахло духами. Зуся понимал, что их аромат должен перебить запах пота и других испарений, выделяемых женским телом после дня тяжелой работы, но отвращения не испытывал. Духи пахли довольно приятно, и значит, главное препятствие, которого он опасался, было преодолено.

Руки Гжешки легли ему на плечи, а живот крепко прижался к его животу, вызвав умопомрачительную волну восторга. Светлые округлые пятна покрывали шею Гжешки, подобно воротнику. Днем их не было видно из-за кокетливо повязанного платка, но сейчас, даже при тусклом свете лампы, даже прикрытые слоем пудры, их трудно было не заметить.

Зуся уже собрался прильнуть к влажным губам женщины, как вдруг понял, что ничего не получится. Почти полвека, проведенные рядом с женой, незаметно сделали свое дело. Да, ругала она его, и он, случалось, отвечал ей, но если оглянуться на прожитые годы, хорошего в их общей жизни было куда больше, чем плохого. И самым главным, о чем он даже не подозревал и что понял только сейчас, была привычка. Женщиной для него была только жена, единственной в мире женщиной, к которой он мог прикоснуться. И за многие годы, за тысячи этих прикосновений, в нем укоренилось точное представление о том, как должна пахнуть женщина, какой должна быть ее фигура, интонации голоса, ласки. Гжешка настолько не походила на впечатанный в его сознание образ, что тело отказывалось признать в ней женщину, отказывалось однозначно и недвусмысленно.

– Извини, – Зуся высвободился из объятий Гжешки и сделал два шага назад. – Ничего не выйдет, извини.

– Я помогу тебе, хлопчик! – вскричала Гжешка. – Иди ко мне, помогу!

«Хлопчик, – с горечью подумал Зуся. – Эх, будь я действительно хлопчиком, может, все пошло бы по-другому».

– Извини, – повторил он, отвернулся и вышел вон из комнаты.

Год спустя, проезжая через тот же постоялый двор, Зуся обнаружил в нем другого хозяина, менее расторопного и более говорливого, чем Гжешка.

– А где предыдущая хозяйка? – спросил Зуся, заказав чаю.

– Та утопилась в речке, – охотно ответил хозяин.

– А почему?

– Дурную болезнь подцепила. От всех скрывала, пока нос не начал проваливаться.

Самуил не обманул. Пройденные пути безропотно открывались перед мысленным взором Зуси. Его жизнь напоминала длинный шлагбаум, наподобие тех, которыми перегораживали въезд в расположение воинских частей. Черные полосы, белые полосы... И к каждой можно было прикоснуться, да-да, просто протянуть руку к любому событию в жизни и снова оказаться в нем.

Поначалу Зуся с воодушевлением пустился в эту игру, но вскоре охладел. О, если бы он оказался в том же месте с той же головой на плечах и с тем горячим током молодой крови! Но сейчас, умудренный опытом многих лет, с погасшим сердцем, осыпанным горьким пеплом перегоревших желаний, он просто не хотел ввязываться в приключения.

Ему трудно было определить, сколько прошло с тех пор, как, опустив веки, он оказался в розовой полутьме и начал новое путешествие по уже прожитой жизни. Минуты или годы, не поймешь, время в полутьме текло как-то по-другому. Честно говоря, ему уже прискучила эта игра. Ведь в итоге все получалось точно так же, как оно вышло в первой жизни, менялись только причины. Ему так ни разу и не удалось ухватить ускользнувшее наслаждение, а еще раз проживать неудачу, но уже по иной причине, надоело. И тут он вспомнил про богача. Вспомнил так ясно и четко, словно смотрел на картины жизни со стороны, будто хладнокровный наблюдатель.

Жил в Куруве еврей по имени Алтер, богатый, но дурной. Как такое может быть, непонятно! Все тому

дивились, разводили руками, но, в конце концов, принимали – реальность словами не переделаешь.

Всевышний дал Алтеру хорошую практическую сметку, однако начисто лишил возможности учиться. Ну не понимал человек Талмуда, не мог связать один с комментарием с другим. На уроках он лишь посмеивался, и на все вопросы отвечал только одно:

– Моего отца благословил большой ребе.

– Какой?

– Не скажу, семейный секрет. Отец попросил у ребе, чтобы его сын был связан с раввинами и цадиками. А ребе благословил меня на богатство. Как же так? – удивился отец. – Если твой сын станет богачом, – улыбнулся ребе, – раввины и цадики сами захотят быть с ним в связи.

На людях Алтер смеялся, но, затворяя дверь и оказываясь в тишине своего роскошного дома, огорчался бесконечно. Все евреи как евреи: задают вопросы, спорят с раввином, ведущим урок, пытаются, хоть и безуспешно, гнуть свою линию, а он сидит, почти ничего не соображая, тупой, словно пьяный поляк из шинка.

Спал Алтер плохо. Не зря написано в «Почувствиях отцов»: множащий богатство множит заботы. А заботы гонят сон, как пастух стадо.

Он ненадолго проваливался в мутное забытие, просыпался, когда в поту, когда с бьющимся сердцем и сразу шел в туалет. Долго справлял нужду, стоя босыми ногами на холодном полу, и снова ложился. Часа за два-три до рассвета заснуть уже не удавалось. Беспокойные мысли накатывались одна за другой, разрушая песочный берег ночного спокойствия.

Он поднимался, омывал руки, произносил наизусть вызубренные еще в детстве молитвы, пил чай без сахара и направлялся в синагогу. Оказавшись там ни свет, ни заря, часто первым, Алтер читал псалмы до самого начала молитвы. Ничего другого он все равно не умел делать.

После Алтера в синагоге появлялся шамес Зуся и начинал готовить помещение. Зажигал свечи, собирал молитвенники и складывал их аккуратными стопками на

столе, если было нужно, подметал, а в холодные зимние дни успевал даже затопить печку. Синагога наполнялась запахом горящих дров, блики пламени весело плясали в поддувале, и от этого чувство необыкновенного уюта и тепла охватывало молящихся.

Как-то раз Алтер уселся за колонной, поближе к окну, и Зуся его не заметил. Зато богач обратил внимание, что шамес, зажигая свечи, тихонько бормотал себе под нос то ли благословение, то ли специальную молитву. Не в силах сдержать любопытства, Алтер подошел к Зусе, когда тот занялся растопкой печи, и без обиняков спросил:

– Зуся, что ты шептал во время зажигания свечей?

– Я говорил: да будет свет! – ответил Зуся.

– Да будет свет? – удивился богач. – Это Всевышний в начале творения говорил такие слова, а ты здесь при чем?

– Я помогаю Всевышнему освещать наш мир, – сказал Зуся. – Зажигая свечи, благодаря которым евреи смогут молиться, я участвую в Творении.

Алтер аж затрясся от волнения.

– Зуся, пожалуйста, отдай это мне! Ты же знаешь, я не могу учиться, а тут такая заповедь идет в руки. Я ведь все равно прихожу в синагогу раньше всех, вот и буду зажигать свечи. Уступи! Не бесплатно, за каждую неделю получишь один золотой, четыре в месяц. Ты же человек со стесненными средствами, а я со стесненными способностями. Давай поможем друг другу! Идет?

С того дня началась в доме Зуси совсем другая жизнь. Один золотой в неделю – большое подспорье! Но через месяц, другой, третий и шамес задумался: правильно ли он поступил? А что делает еврей, когда сам не находит ответа на вопрос? Идет к раввину.

Ну, ходить к раввину не было необходимости, ребе Ашер сам приходил по пять раз в день в центральную синагогу Курува: вести молитву, давать уроки, разговаривать с прихожанами.

На следующий день Зуся остановил раввина после утренней молитвы и попросился на разговор. Ребе не стал

откладывая дело в долгий ящик, сел с Зусей в дальнем углу синагоги и внимательно выслушал.

– Тебе сколько лет? – спросил он после длительного раздумья.

– Сорок восемь.

– А дочке Алтера?

– Шесть.

Раввин снова задумался.

– Нет, нехорошо, – наконец произнес он. – Ты ведь уже получаешь за эту работу жалование из общины.

– Так что, расторгнуть договор? – спросил Зуся. Жалко четырех золотых в месяц, ох, как жалко, но он не зря чувствовал, что дело не совсем чисто, ох, не зря.

– Нет, – ответил ребе Ашер. – Оставь все, как есть. Человек ценит лишь то, за что платит. Бери с Алтера деньги, но откладывая их в сторону. Всевышний пошлет тебе возможность употребить их на доброе дело выполнения заповеди. И в итоге вы оба окажетесь в выигрыше.

От разговора с раввином Зуся пришел в некоторое недоумение. Причем здесь дочка Алтера, причем ее возраст? А уж его-то причем? И почему доброе дело выполнения заповеди? Есть доброе дело, есть выполнение заповеди. Почему вместе? Но ладно, сказано, значит сказано.

Вырвать из тощего семейного бюджета один золотой в неделю стоило больших слез и немалых упреков. За долгие годы семейной жизни Зуся уже привык выслушивать от жены обвинения в собственной никчемности, укоризны и оскорбления. Особенно тяжело приходилось в сезонные обострения, осенью и весной.

– Опять ты возвращаешься ни с чем, нищий! – кричала жена, стоило ему переступить порог. – Меня не жалеешь, детей своих пожалей! Как они в такой обуви в хейдер пойдут?! А шапки, на шапки посмотри! Их только на чучело огородное нахлобучивать! А рубашки? Дырка на дырке! У всех мужья, как мужья, деньги зарабатывают, а мне попался неудачник и неумеха.

Зуся молчал, безропотно выслушивая упреки. Он сравнивал себя с праотцем Авраамом, с той лишь разницей, что Авраам возложил своего сына на жертвенник по слову Бога, а Зуся, по слову раввина, возлег на него сам.

Быстро ли, коротко ли, прошли двенадцать лет. Медленно катилась жизнь в Куруве, но года, почему-то летели, как лошади под гору. Не остановить, ни унять.

Единственная дочь богача Алтера обручилась в восемнадцать лет. Поздновато, по курувским понятиям, да только вины девушки в том не было. Всем она взяла, и умом, и красотой, и большим приданым. Сватались к ней пачками и пачками получали отказ. Алтер знал цену своему сокровищу, и с той же придирчивостью, с какой много лет лелеял и пестовал дочку, подбирал ей самого лучшего жениха. И выбрал, наконец, отыскал замечательного парня, сына раввина из Риминава.

Молодые встретились два раза, понравились друг другу, и дело завертелось. Породниться с раввинской семьей – большая честь! Алтер взял на себя все расходы на свадьбу и денег за дочку положил щедро, пятьсот золотых.

– Зачем нам с женой роскошь? – повторял он. – Поживший человек довольствуется малым. Старость не должна быть богатой, старость должна быть долгой, но это к деньгам отношения не имеет. Деньги нужны в молодости, когда глаза горят и сердце просит.

Беды начались за две недели до свадьбы. Нежданные и беспощадные, как удар молотка. Неудача взяла в руки косу и принялась выкашивать все, что Алтер возводил на протяжении многих лет. Коса свистела без устали день и ночь, и за одну неделю Алтер из богача превратился в бедняка.

Да-да, он вылетел в трубу, пошел по миру, протянул ножки. Хорошо, что хоть успел заплатить за свадьбу, но на приданое денег даже близко не осталось. И взять их было неоткуда: кто одолжит в пух и прах разорившемуся торговцу целое состояние, пятьсот золотых?! Напасть пришла столь внезапно, что слухи о беде, постигшей

Алтера, не успели далеко разлететься, и в Риминове еще никто не знал о полном разорении курувского богача.

Алтер пребывал в полнейшем смятении. Как поступить: сообщать жениху или не сообщать. Жених парень порядочный и честный, и невеста ему очень нравится. Если сообщить, вряд ли тот станет отменять свадьбу. Бог поможет, удача вернется, и Алтер, конечно, первым делом выполнит данное обещание.

Беда в том, что вокруг жениха много советчиков-доброхотов. Начнут нашептывать, предупреждать, остерегать. Бывали, бывали случаи, когда из-за приданого все рушилось.

Смолчать? Рассказать после свадьбы? Еще хуже, это значит намеренно обмануть. Вот тогда у молодого мужа будет настоящий повод для возмущения.

Хоть до Риминова слух о разорении Алтера докатиться не успел, но в главной синагоге Курува эту новость не обсуждал только ленивый. Когда ее сообщили Зуся, тот вострепнулся, точно гончая, почуявшая след.

Вот оно, доброе дело! Вот она, заповедь! Как в воду глядел ребе Ашер. Бросив все дела, Зуся поспешил домой, выгреб из тайника отложенные золотые, заперся в чулане, чтобы жена, не приведи Господь, не увидела, пересчитал. Пятьсот семьдесят шесть.

Он сложил деньги в три торбочки, тщательно запрятал под одеждой и пошел к Алтеру. Никто об этом не должен узнать, как сказано: настоящая помощь та, которая оказывается негласно. Ведь слава и уважение это тоже плата, которая вычитается из заслуги заповеди.

Честно говоря, больше всего Зуся боялся, что слух о его невиданной щедрости дойдет до жены, и тогда... и тогда. Ему было даже страшно думать о том, что случится тогда, чем закончится для него такая слава.

Слава Богу, все осталось в тайне. Алтер поначалу отнекивался, но, узнав, что речь идет о его собственных деньгах, молча схватил торбочки.

За свадебным столом Зуся сидел на самом почетном месте, за одним столом с женихом, рядом с раввином из

Риминова. Разумеется, столь неожиданное возвышение шамеса тут же породило множество слухов, и заняло внимание досужих болтунов Курува дня на полтора. Но никому даже в голову не могло прийти, что, на самом деле, послужило причиной почета.

Алтер свои обязательства перед женихом исполнил до конца, молодые начали самостоятельную жизнь, а бывший богач на семьдесят шесть золотых затеял небольшую коммерцию и неплохо преуспел. Нет, к прежнему богатству он не вернулся, но встал на ноги и встал очень крепко. Будучи человеком честным и благодарным, Алтер взял себе за правило пятничным утром отправлять жене шамеса муки для хал, две дюжины яиц, рыбу и мясо, вино и овощи. Жена Зуси не раз и не два приступала к мужу с требованием объяснить непонятную щедрость Алтера, но тот лишь пожимал плечами.

И вот сейчас шамес с острым сожалением вспомнил об этой истории. Почему он отдал все деньги? Ведь мог половину оставить себе, тоже затеять коммерцию, и уже потом, разбогатев, вернуть оставшееся. А собственно, почему не попробовать? Шлагбаум-то вот он, прямо перед глазами, руку протяни.

Так Зуся и сделал. Зашил двести золотых в кожаные мешки, сел на телегу вместе с другими бедняками и покатил в Краков. Заподозрить, что в потертом кожаном мешке бедняка скрыто целое состояние, мог только сумасшедший.

Стучали копыта лошадей по начинающей подмерзнуть земле, мерно скрипели колеса, и Зуся постепенно наполнила дорожная безмятежность, особое состояние покоя, когда не нужно ни о чем заботиться, беды и заботы отложены до конечной станции, и все, что остается путнику – рассматривать дорогу.

Желтые от стерни поля, серые холмы Галиции, зябко стынувшие оголенные деревья, белые столбики дыма над черными крышами, упирающиеся прямо в низкое мутное небо. Почему-то во второй попытке прожить жизнь он постоянно оказывался в осени. Желтые поля и голые рощи уже сводили Зуся с ума.

После полудня дорога завернула в кленовую рощу. Холодный ветер гонял опавшие листья, они заполнили выбоины в дороге и мягко хрустели под колесами. В самой середине рощи, когда поля полностью скрылись за стволами деревьев, телегу остановили лихие людишки с топорами в руках.

– Какие еще разбойники? – удивлялись пассажиры. – Сроду их тут не бывало! И кого они собрались грабить? Нищих?

Атаман в низко сидящей меховой шапке, с лицом, закутанным в шарф, подошел к телеге и рывком вытащил из нее шамеса.

– Вот ты-то нам и нужен, голубчик! – пробурчал он, передавая побелевшего Зуся в руки другого разбойника.

– А ты езжай, себе, езжай, – бросил атаман возчику. Тот взмахнул кнутом, лошади взяли с места и спустя минуты в роще остались только Зуся и грабители.

– А ну, скидывай кожушок! – велел атаман. – Давай, давай, шевелись.

Зуся покорно стал раздеваться.

– Кто их навел, кто? – лихорадочно соображал он. – Ни одна живая душа не знала про монеты. Как этот бандит догадался?!

Атаман взял кожушок и похлопал рукой точно по тому месту, куда Зуся зашил золотые.

– Двести монет, а? Неплохая добыча!

Зуся обомлел. Невозможно, невысказанно! Никому на свете не было известно, сколько золотых он зашил в кожушок.

Атаман снял шапку, размотал шарф и расхохотался.

– Самуил! – вскричал Зуся. – Так это ты, Самуил!

– А кто же еще, разве не признал?

– Вот теперь признал! Сделай милость, объясни, что все это значит?

– А то, голубчик, что пришло время расплачиваться. Или ты нам помогаешь, как обещал, или мы забираем деньги, и гребни дальше нищим.

– Уф, – Зуся отер лоб. Несмотря на холодный ветер и отсутствие кожушка, его бросило в пот.

– Чем расплачиваться, как? Что тебе нужно?

– Мы тайное братство слуг Всевышнего, чистых католиков! – степенно начал Самуил. – Все это мишура, – он небрежно кивнул на топоры в руках его поделщиков. – На самом деле мы хотим добра. В первую очередь католикам Польши, а во вторую остальному человечеству, и евреям тоже.

– И как же вы хотите принести это добро? – осторожно спросил Зуся.

– Здесь не простая роцца, – с важным видом произнес Самуил. – В ней есть особое место. Его обнаружил почти триста лет тому назад святой примас Николай Куровский и собственноручно воздвиг небольшой алтарь. Он же и положил начало тайному братству. Если бы люди знали, чем они обязаны этой роцце, на ее месте давно высился бы огромный костел. Но чтобы победить, нужна внезапность, а значит скрытность! Понимаешь меня, Зуся?

Зуся покорно кивнул, хотя для чего нужна внезапность в духовной работе, не мог уловить. А скрытность? Ладно еще, евреи, гонимый и притесняемый народ, должны скрываться, чтобы не злить иноверцев, но полякам на своей земле от кого прятаться?

– Пойдем! – воскликнул Самуил, – Я покажу тебе святыню.

Он двинулся вглубь роцци, громко шурша палыми листьями, Зуся побрел следом, остальные разбойники замыкали шествие, продолжая держать в руках топоры.

«Он просто сумасшедший, – вдруг подумал Зуся. – Конечно, умалишенный! Какое еще святое место в роцце, какие к черту чистые католики?!»

– Сними сапоги, – провозгласил Самуил, замирая, как вкопанный. – Мы подошли к святой земле.

Он оперся спиной о ствол, стащил сапоги и, блаженно пошевелив пальцами ног, приблизился к валуну посреди поляны.

– Вот он, алтарь! – упав на колени, Самуил истово поцеловал землю, сдвинув рукой палые листья.

«Безумец, безумец, – лихорадочно соображал Зуся. – С ним бессмысленно спорить, надо на все соглашаться. Лишь бы ноги живым унести!»

Самуил наскреб полную горсть подмерзшей земли и протянул ее в сторону Зуся.

– Чувствуешь, святость, чувствуешь?

– Чувствую, – покорно согласился Зуся.

– Это хорошо, это правильно, – заметил Самуил, поднимаясь колен. – Мы хотим, чтобы святость засияла не только на этой заброшенной поляне, но воцарилась в сердце Польши, в Кракове!

– Достойное желание, – поддакнул Зуся.

– И ты нам в том поможешь! – воскликнул Самуил. Быстро перебирая ногами, он подбежал к Зуся и протянул ему зажатую в кулак землю. – Вот эту часть святости ты привезешь в Краков и бросишь в колодец на рыночной площади напротив Ратушной башни. Это и есть та самая маленькая просьба. Не забыл?

Зуся остолбенел. Он ожидал чего угодно, но только не такого предложения.

– Я вижу, ты боишься, – усмехнулся Самуил. – Думаешь, что я подсовываю отраву. Не бойся, Зуся, все честно и чисто! – он поднес кулак ко рту, раскрыл его и, высунув длинный розовый язык, жадно облизал землю.

– Хорошо! – поспешно ответил Зуся. – Привезу и брошу. Давай сюда.

– Не так быстро! Святость не терпит суеты!

Свободной рукой Самуил достал из-за пазухи бархатный мешочек темно-вишневого цвета и бережно пересыпал в него землю.

– Бросишь прямо так, вместе с мешочком, – сказал он, протягивая его Зуся. – Но перед тем как бросить, скажешь: я делаю это во имя славы истинного Бога! Повтори!

Зуся взял мешочек и быстро повторил. Бессмысленно перечить сумасшедшему. Сказать, что требует, взять

мешочек, унести ноги. А там подумать, как лучше изобразить, будто выполнил обещание.

– Вот и замечательно! – радостно вскричал Самуил. – Отправляйся немедленно. Одна беда, дороги нынче опасные, лихих людишек хватает. Отряжу-ка я с тобой двух крепких парней, чтоб ни одна холера не помешала. Не волнуйся, они тебя доставят до самого колодца, днем и ночью охранять будут. Под их защитой можешь спать спокойно до самого Кракова.

Самуил заложил два пальца в рот и свистнул, как настоящий разбойник. Сразу из-за деревьев раздалось лошадиное фыркание, и вскоре к поляне, влекомая могучим битюгом, подкатила телега с разбойного вида возницей. Два бандита подхватили Зуся под локотки, забросили в телегу, набитую сеном, а сами уселись рядом, слева и справа.

– Желаю вам удачной дороги! – осклабился Самуил. – Вороной у вас крепкий, до самого Кракова потянет без отдыха, а хлеб и бочонок с водой найдешь в сене. Чего еще надо? Завтра к вечеру Зуся, ты будешь на рыночной площади. Пошел!

Он снова свистнул, да так резко и заливисто, что битюг рванул с места и галопом понесся через рощу, каким-то чудом огибая деревья.

«Ну, попал, – думал Зуся. – Ни сбежать, ни отвертеться. Что делать, что делать?»

Вокруг тянулся тот же осточертевший осенний пейзаж Галиции, поля сменялись перелесками, телега прокатывалась через деревни, грохотала по мосткам через речки с черной, предзимней водой. Битюг не знал усталости, гнал и гнал неспешной трусцой, ни на мгновение не сбавляя шага. По рытвинам и колдобинам, по черной, раскисшей грязи, а иногда, сокращая путь, прямо по полю.

«Заколдованный он, что ли, – думал Зуся, глядя на блестящую от пота черную спину битюга. – Не может обыкновенный конь так долго скакать без отдыха. И главное – ровно-ровно, словно это не лошадь, а заводная игрушка».

Он вытащил книжечку псалмов, чтобы найти утешение в словах царя Давида, но сидящий слева попутчик резким движением заставил его закрыть книгу.

– А вот этого не надо, – глухо произнес разбойник. – Смотри лучше на дорогу и думай о своей жизни.

И тут Зуся окончательно понял, в чьи лапы угодил. Понял, и затрясся от ужаса.

Человек, вошедший в дом архиепископа Кракова, не церемонился. Решительно отодвинув плечом слугу, вставшего у него на дороге, он направился прямо в приемные покои архиепископа.

– Нельзя! – закричал вслед слуга. – Остановитесь, его высокопреосвященство отдыхает.

Незнакомец, не обращая внимания на его слова, взялся за массивную серебряную ручку двери, украшенной орнаментом из слоновой кости. Слуга взметнул над головой руку с колокольчиком для вызова стражи, да так и замер, не в силах ни позвонить, ни опустить руку, ни даже вымолвить слово.

Несмотря на черную сутану, архиепископ краковский, оставаясь наедине с самим собой за плотно закрытыми дверьми, жизнь вел достаточно пеструю. Не отказывал себе ни в дорогом вине, ни в изысканных яствах, сдобренных диковинными специями, ни в роскошной посуде, ни в легкомысленных книжках.

Вот и сейчас, плотно пообедав, он сидел, удобно расположившись в глубоком кресле, опустив ноги на подставку с мягкой подушечкой. В одной руке архиепископ держал кубок со сладким рейнским вином, помогающим пищеварению и ласкающим язык, а второй перелистывал лежащую на коленях книгу шалопутного содержания. Разумеется, читал он ее для того, чтобы понять, как скверна улавливает сердца, дабы отыскать спасение от пагубы и подсказать его прихожанам.

Мирянин, ворвавшийся в покои без стука и приглашения, начал говорить еще с порога, предвосхищая негодующий жест святого отца.

– Прошу простить мою наглость, ваше высокопреосвященство, но я принес вам наиважнейшие сведения, не терпящие отлагательства.

Он сорвал шляпу, которую носили только очень богатые шляхтичи, и склонился в столь низком поклоне, что рыжие выщипанные кудри упали на лицо.

Архиепископ не любил, когда мешали его послеобеденному отдыху, а уж случаев, когда кто-то врывается к нему без приглашения, он вообще не помнил. Но что-то в тоне незнакомца и особенно изящество и глубина поклона остановили закипающий гнев.

– Говори, – милостиво разрешил он. Незнакомец прижал шляпу к груди и начал:

– Враги рода человеческого задумали страшное злодейство. Жиды решили отравить Краков.

– Это не новость, – слегка поморщился архиепископ. – У вас есть доказательства?

С подобного рода обвинениями его высокопреосвященству приходилось сталкиваться довольно часто. Как правило, добрые прихожане в порыве религиозного рвения выдавали желаемое за действительное. В первые годы своей службы, еще простым ксендзом, он честно разбирал каждую жалобу, но так ни разу и не сумел отыскать отравителя. При подробном расследовании обвинения рассыпались в прах.

– Да, разумеется, – ответил незнакомец. – Иначе бы я не решился столь бесцеремонно нарушить покой его высокопреосвященства.

Архиепископ вопросительно поднял брови.

– По моим сведениям, важный жид из Курува собирается завтра подсыпать яду в главный колодец Кракова.

– И чем он важен?

– Управляющий главной синагоги Курува.

– Сколько ему лет? – архиепископ отхлебнул из кубка и чуть прищурил глаза от удовольствия.

– Не меньше семидесяти. Но он еще силен и крепок.

– Объясните мне, – архиепископ снова приложился к кубку, – зачем важному человеку в таком возрасте

тащиться за тридевять земель? Разве в Куруве не живут католики, разве в нем нет колодцев?

– Он хочет принести жертвоприношение во славу истинного Бога, – ответил незнакомец. – Своего, разумеется, Бога. И для этого ему нужно как можно больше жертв.

Архиепископ тяжело вздохнул. Выгнать этого дурака нельзя, начнет всем рассказывать, что его предупреждением пренебрегли. А заниматься столь явной глупостью нет времени, есть дела поважнее.

Он перевел взгляд на полуоткрытую дверь, в проеме виднелась коренастая фигура начальника стражи. Он бы давно схватил наглеца, но, видя, что его высокопреосвященство беседует с ним, замер в нерешительности, ожидая знака.

Архиепископ поставил кубок на столик, взял тяжелый золотой колокольчик и несколько раз взмахнул им. На звук, оттеснив начальника стражи, моментально явился слуга.

– Проводи этого человека к секретарю, – усталым голосом произнес архиепископ. – Пусть без промедления займется его делом.

Секретарь, итальянский аббат, присланный святой инквизицией, служил у его высокопреосвященства пятый год и прекрасно разбирался в намеках, неразличимых для постороннего уха и глаза. Архиепископ велел осторожно замять дело, но, выслушав посетителя, секретарь пришел в возбуждение. Его внутренний голос не говорил, а просто кричал, что тут все совсем не так просто.

– Что вы предлагаете? – спросил он, внимательно разглядывая рыжую, с полосами благородной проседи бороду посетителя. Аббат давно выработал манеру смотреть вроде бы в лицо собеседнику, но так, чтобы у того возникало ощущение, будто его не видят в упор.

– Я предлагаю, – твердо произнес посетитель, – устроить засаду возле колодца и взять жида с поличным. А дальше вы сумеете развязать ему язык.

– Это да, – усмехнулся аббат. – Это мы умеем. Хорошо, быть по-вашему.

Сидеть на куче мягкого сена невеликий труд, но Зуся устал даже от него. День казался нескончаемым, оранжевое солнце словно приклеилось к васильковому небу. Мерно стучали копыта битюга, скрипели колеса, похрапывали по очереди конвоирующие Зуся разбойники, а он не находил себе места от тревожных мыслей. То и дело, запуская руку в карман, Зуся ощупывал бархатный мешочек с землей и холодел от страха. То, что показалось ему в начале бредом сумасшедшего, теперь выглядело куда опаснее. Прошло несколько долгих часов, прежде чем он решился признаться самому себе, что попал в лапы нечистой силе.

Откуда-то налетел порывистый ветер, пригнал низкие серые тучи. Сразу стало сумрачно, тяжелые капли дождя застучали по плечам и шапкам. К счастью, за поворотом дороги показался постоялый двор, и когда ливень картечью ударил по старым ветлам, телега была уже под крышей.

Славно сидеть в теплой зале шинка, слушая, как стучит дождь по окнам, как воет ветер во вьюшке жарко натопленной печи. Славно прихлебывать дымящийся чай из большой кружки, чувствуя, как уют и покой разливаются по телу. Но не успел Зуся насладиться мимолетным счастьем отдыха, как стол перед ним начал заполняться тарелками, уставленными грубой снедью – его спутники решили пообедать.

– Давай с нами, – предложил возница, обнажая желтые от табака зубы. – Бери миску, хватай чарку и наяривай.

– Я еврей, – выставил перед собой руки Зуся. – Такого не ем.

– Глупости, глупости, – настаивал возница. – Никто не видит, никто не узнает. Когда еще доведется столь славно перекусить?!

Он впился зубами в жареную свиную ножку и замычал от удовольствия.

– А ты припомни, – усмехнулся один из охранников, вгрызаясь в свиные ребрышки, – в чем топтались эти ножки?

– Зачем об этом думать? – отмахнулся возница. – Думать нужно только о хорошем.

– Правильная мысль, – согласился второй охранник. – За нее стоит выпить. Давай Зуся, понужай с нами.

– И правда, Зуся, – вскричал возница. – Ладно, есть ты не хочешь, так хоть выпей за компанию. Водку ведь ваш брат принимает?

Чтобы отвязаться, Зуся выпил чарку крепкой, чистой водки и сразу сладко захмелел. Все стало казаться не таким уж страшным, рожи попутчиков не столь разбойными, а его положение вовсе не бедственным.

Ливень кончился так же внезапно, как начался. Разбойники наспех доели, выкатили телегу и двинулись дальше. Облака унесло ветром, красное золото заката стояло над вечереющей лиловой Галицией. От усталости и от водки Зусю разморило и, свесив голову на грудь, он крепко заснул под мерный стук копыт.

Очнулся он уже в темноте, дрожая от холода. Судя по луне, была глубокая ночь, он проспал, как убитый много часов. Пытаясь согреться, Зуся обхватил себя руками и сразу почувствовал утолщение в том кармане, где лежал бархатный мешочек с землей. Запустив руку внутрь, он сразу понял, что содержимое мешочка изменилось. Земли стало больше и в ней прощупывалось нечто твердое, вроде камушков, которых раньше не было.

«Они чем-то меня опоили, – понял Зуся, – и подменили содержимое мешочка. Понятно, что не для моего блага, Самуил явно затеял какую-то гадость».

Минут десять Зуся бездумно разглядывал луну. Сейчас он понимал волков, ему тоже хотелось выть, выть от тоски и безысходности.

«Идиот, – сказал он сам себе пронзительной ясностью. – Во что ты вляпался? Если поляки поймают тебя, высыпавшим непонятное зелье в колодец на рынке, как ты сможешь это объяснить? Расскажешь им про чистых католиков, святую землю и примаса Куровского? Ты закончишь свои дни в пыточной камере, а потом на костре. Идиот!»

Стук копыт превратился в барабанную дробь, возвещающую о начале казни. Зуся поднял веки и посмотрел на приоткрытую дверь в комнату, на внучку, застывшую рядом с его постелью и проклял ту минуту, когда согласился на предложение Самуила.

«Что я делаю, куда лезу? – с горечью подумал он. – Жизнь уже прожита, что я там добуду в этом Кракове? С таким

трудом зарабатывал долю в будущем мире и сейчас ее лишусь, непонятно ради чего. О, Всевышний! Если Ты решил забрать меня, забери прямо сейчас, не мучай!»

Зуся опустил веки и снова оказался на катящейся в Краков телеге, под черным куполом ночи, усеянным мириадами равнодушно мигающих звезд.

«Это не настоящая жизнь, – думал Зуся, – а только её отражение в моей голове. Всё прячется внутри меня, всё зависит от моей мысли, моего понимания. Я могу уйти из него по своему желанию, а могу остаться и поглядеть, что будет дальше.

Но если так, что же такое настоящий мир, и есть ли он вообще? И будущий, неужели он тоже внутри моей памяти? И почему мне так горько и больно, почему все кажется ужасающе грубым и пошлым?»

Разбойник справа зычно рыгнул, а его товарищ, сидящий слева, в ответ громко выпустил газы.

– Оп-па! – воскликнул возница и все трое весело зареготали. Не в силах больше это сносить, Зуся засунул руку в карман, проник дрожащими от волнения пальцами в нутро бархатного мешочка, вытащил твердый шарик, сунул его в рот и, что было сил, сжал зубы.

Засада, посланная аббатом, напрасно прождала целый день и всю ночь. Когда небо над Ратушной башней из черного превратилось в фиолетовое, а затем в бледно-розовое, и стало понятно, что уже никто не придет, раздосадованные солдаты решили связать рыжего незнакомца. Офицер решительно положил ему руку на плечо, но незнакомец крутанулся юлой, и припустил наутек так быстро, что догнать его не смогли.

Внучка обернулась вслед за изумленным взглядом Зуси.

– Дедуль, куда ты смотришь? Блазнится тебе, нет тут никого, только мы с тобой. Сквозняком из форточки дверь приоткрыло. Давай лучше бульону выпьем. Ладно, не поднимайся, если тяжело, я тебе осторожно волью, не захлебнешься.

Она зачерпнула ложку, наклонилась к старику и поняла, что опоздала.

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Узи Вайль

Это не ХАМАС, это смерть, мать ее...

Несколько минут спустя после того, как малышка, наконец, задремала, Меир Коэн без сил рухнул на диван в гостиной.

- Заснула? – спросила Ронит.

- Заснула, - ответил он. Глаза у него закрывались уже сами собой, но тут раздался звонок в дверь.

Ронит открыла – на пороге стоял невысокий человек в очках, державший в руках большую папку с бланками.

- Меиль и Монит Кохам? – спросил он.

Ронит молча смотрела на него, не понимая¹.

Человек повторил вопрос.

- Меир и Ронит Коэн, - поколебавшись, поправила она.

- А, - проговорил тот и заглянул в свои бумаги. – Ох уж эти мне компьютеры, вечно все перепутают. Я – демограф, из Института национального страхования, - наконец представился он и протянул руку.

- Очень приятно, - Ронит машинально пожала ему руку и переспросила: - Вы – кто?

- Демограф. Я провожу социологический опрос. Вас не затруднит ответить на несколько вопросов?

- Да мы только что...

- Всего лишь несколько маленьких вопросов.

Ронит обернулась и вопросительно посмотрела на мужа – Меир безразлично пожал плечами.

¹ Статистик перепутал имя и фамилию героев, причем на иврите это звучит забавно: меиль – пальто, монит – такси, кохам – их сила.

- Отлично! – обрадовался демограф и вошел в квартиру.

Спустя полчаса он все еще сидел у них в гостиной, копаясь в своих бланках и продолжая монотонно задавать вопросы.

- Так, теперь относительно детей, - почти ласково произнес он и огляделся. – Дети есть?

- Есть, девочка, - ответил Меир.

- И сколько ей?

- Полгодика, - устало сказал Меир, - у вас еще надолго, а?

- Нет-нет, уже заканчиваю, - бормотал тот, записывая в свои бумаги. – Так, полгода. Наверное, уже говорит.

Ронит и Меир, удивленные, посмотрели на него.

- Не говорит? – почувствовал демограф свою оплошность.

- Нет, - сказала Ронит, - а вы знаете много полугодовых младенцев, которые разговаривают?

- Я... - мужчина растерялся. – Извините, у меня нет своих детей, я еще слишком молод. Я просто выгляжу старше, это из-за очков. Или из-за этой работы в национальном страховании.

Меир молча поднял глаза к потолку, Ронит смотрела себе под ноги.

- А как ее зовут?

- Яэль, - ответила Ронит.

- Красивое имя. – Он сделал запись. – Это в честь кого-нибудь из близких?

- В честь Рабина, - сказал Меир, - еще много вопросов?

- Нет-нет, - ответил очкарик и записал в анкете: «В честь Рабина».

Меир и Ронит переглянулись.

- Да это шутка, - сказала Ронит. – Муж пошутил.

Молодой человек посмотрел на нее вопросительно, но потом до него дошло:

- А, чувство юмора, это очень важно, - он понимающе кивнул, однако не зачеркнул написанное.

- Профессия? – обратился он к Меиру.

Тот некоторое время смотрел на демографа в упор, потом произнес:

- Я произвожу воздух. Воздух произвожу, вот моя профессия.

Статистик записал, потом перешел к следующему вопросу:

- А сколько, если позволительно спросить, вы зарабатываете? Ваш ответ будет сохранен в полном секрете. Итак, от тысячи до двух, от двух до четырех или более четырех тысяч?

- Я хочу взглянуть на ваше служебное удостоверение, - произнес вдруг Меир.

Молодой человек несколько погрузился, но достал документ. Это было официальное удостоверение Института национального страхования с фотографией и указанием должности – демограф-статистик.

- Итак, - продолжил он.

- Итак, более четырех тысяч, - продолжил и Меир. – Намного больше, может, восемь тысяч. – Он смотрел на очкарика с искренним любопытством: неужели кретин и это запишет?

Кретин и это записал.

- Больше восьми тысяч? Вот это да... – он задумался. Казалось, у него даже промелькнула мысль о переквалификации. – Вот это неплохо.

- Совсем неплохо, - согласился Меир, - но летом нет работы.

- Правда? А почему?

- Да вы же знаете, как у нас здесь летом – совсем нечем дышать, воздуха-то нет.

- А, понятно, - сказал демограф и записал в свои бумаги. – А вы? - обратился он к Ронит.

- А я работаю девушкой по вызову.

Подумав немного, она прибавила:

- С гостями из-за границы, но это официально.

Статистик покраснел.

- В свое время я ублажала Рока Хадсона, - добавила Ронит с гордостью.

Очкарик склонился к своим бумагам и записывал, записывал... Меиру и Ронит не было понятно – чего он там столько пишет? Наконец, статистик поднял голову и спросил:

- А из какой вы этнической общины?

- Мы – пришельцы, - сказала Ронит.

- То есть?

- Ну, мы с некой звезды, - пояснил Меир.

На этот раз молодой человек, наконец, оторвался от бумаг, снял свои большие очки и уставился на супругов. В этот момент проснулась их маленькая дочка и начала плакать.

- Малышка запела, - сказала Ронит и встала, - извините меня.

- Она кормит девочку грудью, да? - спросил демограф, посмотрев вслед Ронит.

- Да нет, что вы, - ответил Меир, - жена мочится на ребенка каждые пять часов. Так принято на нашей звезде.

Статистик покраснел. На мгновение Меир почувствовал себя неловко:

- Простите, - произнес он, - я должен посмотреть, как там ребенок.

Когда он вошел в спальню, Ронит стояла, склонившись над кроваткой малышки, с трудом сдерживая хохот.

- Тихо, тихо, - удержал ее Меир, - мы переборщили, уже становится неудобно.

- Ну и идиот, - прыснула Ронит, - ну и идиот, а?

- Да нет, он не идиот, так, немного... тормоз, не въезжает. Наивный. Но, мне кажется, до него начинает доходить.

- Ты проверил – его удостоверение настоящее?

- Да вроде настоящее, написано: Институт национального страхования, а там поди знай.

Меир взял дочку на руки, и тут позвонили в дверь

- Кто это в такой час? – спросил он. Ронит пожала плечами.

Меир подошел к двери и открыл, – на пороге стояла Смерть. Она не была одета в черное, в руках у нее не было

косы, крыльев тоже не было. Голос – обычный. Но это была Смерть, без всяких сомнений.

Что впечатляло, так это ее глаза. Спустя годы, когда демограф будет пытаться вспомнить, как выглядела Смерть, то единственное, что останется в его памяти – ее глаза. Причем они были не какие-нибудь холодные или пугающие, наоборот: добрые и нежные. Однако – решительные...

Меир с малышкой на руках окаменел. Ронит вышла из спальни и тоже застыла на месте.

Смерть посмотрела Меиру прямо в глаза.

- Я? – прошептал он.

- Ты.

Меир не пошевелился:

- Я?!

- Ты, – подтвердила Смерть.

- Но... почему я?

- Время пришло...

- Но я еще молодой, у меня дочке всего полгода!

- А молодые не умирают? Пойдем, через полчаса у тебя автокатастрофа.

И тут вдруг Ронит бросилась вперед, обхватила мужа и закричала Смерти:

- Нет! Ты не можешь вломиться вот так, сразу, посреди... посреди всего.

Смерть удивленно взглянула на нее:

- Это почему же?

- Но... За что? – продолжала молодая женщина, - что он сделал?

Смерть грустно улыбнулась.

- Нет, - не могла смириться Ронит, - я хочу знать – почему? Ты не можешь забрать его вот так вдруг, даже не сказав мне почему.

- Сейчас ты хочешь знать почему, - проговорила Смерть, - потом захочешь узнать – куда? Нет, мы не сообщаем.

Меир открыл было рот, намереваясь что-то сказать, но передумал. Он обернулся к жене и протянул ей ребенка. И посмотрел на них обоих. Затем повернулся и вышел на

темную лестничную площадку. Ронит слышала, как постепенно затихают звуки их шагов по ступенькам.

Молодой демограф очнулся первым. Он закрыл входную дверь и аккуратно повел Ронит назад в гостиную.

- Присядь, - сказал он ей, - прежде всего, присядь.

Все еще в шоке, она села.

- Ужасно, что с тобой произошло, - сказал очкарик, - ужасно. Может, приготовить тебе стакан чаю? Или, или чего-нибудь покрепче?

- Там есть виски Меира, - проговорила Ронит и начала плакать.

Статистик огляделся, увидел небольшой бар с напитками и налил ей немного виски в высокий стакан. Ронит механически глотнула и закашлялась. Постепенно ее дыхание выровнялось. Она взглянула на дочку и снова заплакала:

- Что же мне теперь делать? Как нам жить? Как я одна справлюсь?

Демограф беспомощно молчал.

- Как я.., - слезы душили Ронит, - как я скажу ей, что у нее теперь нет отца?

Сейчас она плакала тихо и горько, долго, пока совсем не обессилела. Потом взглянула на девочку и проговорила:

- Теперь мы одни, малышка, только ты и я.

И тут снова позвонили в дверь... Никто не двинулся, и после третьего звонка дверь распахнулась сама.

Это опять была Смерть.

Ронит и демограф, онемев, смотрели на нее. Смерть вошла в комнату и указала на женщину. Ронит, не веря своим глазам, остолбенела.

- Да, - печально проговорила Смерть, - так иногда случается.

- Но что... - начала было Ронит.

- Заминированная автомашина на улице Ибн Габироля, - прервала ее Смерть.

Очкарик вдруг вскочил на ноги:

- Минутку! Одну минутку, - начал он торопливо. – Здесь, наверняка, ошибка, ведь только что вы забрали ее мужа.

- И что? – смерть устало пожала плечами. – Как там они обычно пишут в «Едиот ахронот»: «Считанные часы спустя после автокатастрофы, в которой погиб ее отец, маленькая Яэль потеряла и мать в результате террористического акта». Такова жизнь, вы ведь не вчера родились?

- Но я... Прошу вас! – Ронит умоляюще смотрела в глаза Смерти. – Я не могу оставить девочку одну! Ей лишь полгода!

Озадаченная, Смерть задумалась.

- Ну, - предложила она неохотно, - я могу забрать и ее с нами.

Ронит ничего не ответила.

- Ладно, прощайся с дочкой.

Женщина уложила девочку на диван, поцеловала ее и тщательно завернула в розовое шерстяное одеяло. Затем направилась к выходу, Смерть открыла перед ней дверь.

- Ох уж эти мне теракты, - пробормотала она себе под нос, когда Ронит вышла из квартиры и стала спускаться по лестнице. – Работы невпроворот.

Когда дверь за ними закрылась, и молодой демограф остался с малышкой вдвоем, он некоторое время не мог прийти в себя. Наконец он глубоко вздохнул и подсел к девочке на диван. Та проснулась и начала плакать.

Очкарик взял ее на руки и стал напевать:

Как рождается песенка?

Да как младенец.

Сначала... Тра-та-та...

- А потом, а потом... Нет, не помню. - Он прекратил петь.
- Эй, малышка, что же я с тобой буду делать? Не знаю даже, как и сказать тебе, но произошло нечто очень нехорошее.

Девочка перестала плакать и улыбнулась ему.

- Послушай, - сказал он и взял ее за малюсенькие ручки.
– Знаешь, э-э-э, тебе придется расти без папы с мамой.

Она забавно пискнула.

- Но это все-таки не конец, ты не думай, жизнь, в общем, не такая плохая штука. Жизнь хорошая, правда, очень хорошая. Но вот иногда случается такое, что невозможно... что трудно... Ну, то есть, я имею в виду...

Мужчина вздохнул. Малышка смотрела на него широко открытыми глазами.

- Но это не значит, - повторил он, - что жизнь нехороша.

Девочка улыбнулась и надула пузырь.

- Я думаю, - начал демограф говорить уже сам с собой, - что они меня разыграли. Во всем. Начиная с твоего имени. Наверное, никакая ты не Яэль.

Она снова заплакала.

- Ну, ну, не плачь, я здесь. Послушай, я почти ничего не знаю о маленьких детях, у меня их никогда не было, но я постараюсь. Я тебя не оставлю.

Он начал укачивать ее и опять тихонько запел:

*Спи-засыпай,
Баюшки-бай...*

Раздался звонок в дверь, и в квартиру нерешительно вошла Смерть.

- Еще один теракт, - как бы извиняясь, произнесла она и кивнула в сторону ребенка.

Демограф вскочил на ноги:

- Ах ты, сволочь, мать твою..! А ну пошла вон отсюда!

Смерть неуверенно помялась, посмотрела в потолок...

- Ладно, пусть так, - пробормотала она, повернулась и вышла.

Не веря себе, очкарик тихонько положил девочку на диван, покачал головой и повторил:

- Сволочь.

Перевод Александра Крюкова

Конец недели

Одного беглого взгляда ему было достаточно, чтобы узнать её.

Среди десятков женщин, в тот час находившихся в зале прилёта аэропорта Франкфурта, она была самой привлекательной. На её плечи было накинуто чёрное кожаное пальто, красный свитер обтягивал пышную грудь, чёрная юбка мини подчёркивала длинные стройные ноги в высоких сапогах, тоже чёрных. В руках женщина держала табличку с его именем, написанным от руки.

Он не сразу поверил своим глазам: обычно в деловых поездках партнёрские компании предоставляли ему в сопровождающие немолодых женщин, деловых и малопривлекательных. В первый раз его встречала настоящая красавица.

Когда он подошёл к ней, она широко улыбнулась яркими губами, показав два ряда белоснежных зубов, словно встретила старого друга. Более приятной встречи он не мог и ожидать.

Они пожали руки, её была тёплая и мягкая:

- Очень приятно, меня зовут Карен, - голос был чуть хриплым.

Он был уверен, что она уже всё о нём знает: о предприятии, где он управляющий, о продукции предприятия, его возрасте и семье – жене и двух дочках, о цели приезда – по приглашению местной торговой палаты ему предстояло встретиться с крупными бизнесменами. Было понятно, что организаторы мероприятий снабдили Карен всей этой информацией.

Шофёр ожидавшего их серебристого «мерседеса» - молодой высокий мужчина по имени Йохан – сообщил, что находится в полном распоряжении гостя в любое время суток. С подчёркнутой предупредительностью он распахнул перед ним и его сопровождающей дверцы автомобиля и ждал, пока они усядутся на заднем сидении. В салоне был

комфортный микроклимат и ощущался запах хорошей кожи. Был ранний вечер, и когда автомобиль направился в город, снаружи начался лёгкий дождь.

Карен обещала, что гостиница понравится ему, и рассказала о расписании встреч, запланированных на завтра. Она сидела близко к нему, почти касаясь, и он почувствовал исходящий от неё тонкий запах духов.

Не переставая слушать её, он вдруг подумал о том, что ни в одной из своих прежних деловых поездках по миру он так не волновался. Он сразу забывал имена сопровождавших его женщин, как только поднимался в самолёт, возвращаясь домой. А вот Карен, он был уже почти уверен, забудется не так скоро...

Гостиница действительно была роскошной и удобной. Карен, он и носильщик поднялись на лифте в его номер на шестом этаже. Глубоко поклонившись за щедрые чаевые, носильщик поспешил оставить их.

Карен прошлась по просторному номеру, задержала взгляд на широкой кровати, выглянула в окно, отметила удобный письменный стол и старинный стул возле него, затем остановила на госте взгляд своих голубых, как море, глаз.

- Ну как, всё в порядке?

- Да, всё выглядит отлично, - он был чуть растерян, не зная, как поступить: начать разбирать чемодан или сначала проводить Карен до выхода из гостиницы.

Ему хотелось, чтобы она осталась. По правде говоря, он уже был настроен на краткое и необязывающее романтическое приключение. Не то, чтобы так случалось в его предшествующих поездках, но почему бы не произойти этому сейчас? Что мешает ему забраться с Карен в постель? Никто не узнает, тем более – жена.

Карен взглянула на наручные часы.

- Вы устали? - спросила она своим чуть хриплым голосом, который уже начинал кружить ему голову.

- Нет.

- Отлично, - её голубые глаза загорелись. – Хотите пойти поужинать?

Если честно, то как раз есть он сейчас не хотел: еда в самолёте стояла комом в желудке и даже вызвала изжогу. Но он хотел быть с ней, узнать её поближе, насладиться её обществом.

Йохан терпеливо ждал их в «мерседесе». Карен назвала ему ресторан, и после короткой поездки автомобиль остановился. Шофер предупредительно открыл им дверцу. Карен поручила ему подождать их.

- Мы пришлём вам что-нибудь перекусить, - пообещала она, и Йохан благодарно кивнул.

Ресторан не разочаровал: столики на удалении друг от друга, приглушённый свет, свечи на столах, тихая музыка, прекрасная еда, отличное вино. Карен не забыла отправить поднос с бутербродами для водителя, и гость не мог не отметить про себя её внимательность.

Они мило беседовали, она сообщила, что изучает в университете архитектуру, он рассказывал о жизни в Израиле. На вопрос о возрасте Карен сообщила, что на прошлой неделе ей исполнилось двадцать семь.

«На двадцать лет моложе меня», - подумал он. Мысль о романе с девушкой при такой разнице в возрасте приятно льстила его мужскому эго.

Вино немного вскружило им голову и, выходя из ресторана, Карен чуть споткнулась. Он поспешил подхватить её за талию, узкую и гибкую. Удерживая девушку чуть дольше, чем было необходимо, он почувствовал, что она не спешит отводить его руку.

Йохан привёз их в гостиницу.

- Чудесный был вечер, - поблагодарила Карен. – Мне было очень хорошо.

Он хотел было пригласить её подняться к нему, но подумал, что не стоит спешить... «Терпение, немного терпения», - сказал он себе и попрощался.

Её рукопожатие было тёплым и продолжительным.

- Буду ждать вас завтра в лобби в половине девятого, - напомнила Карен.

Йохан открыл для него дверцу и, подождав, пока гость выберется из автомобиля, мягко захлопнул её. Тонированные стекла скрыли Карен.

Официальные встречи проходили с немецкой аккуратностью. Карен везде сопровождала его и терпеливо ожидала их окончания, находясь в приёмной или в секретарской. А он часто с нетерпением ждал, когда же она снова будет с ним. В отличие от его предыдущих деловых поездок, теперь не их содержание становилось для него главным...

В обеденное время Карен показывала ему немецкие рестораны. Они ели знаменитые большие сосиски с квашеной капустой, пили много пива, смеялись. После окончания дневных встреч Йохан отвозил его в гостиницу, а спустя час-другой Карен заезжала за ним – вечерний отдых также входил в программу пребывания гостя во Франкфурте. Не было ни одного дня, чтобы она не предложила ему провести вечер вместе, что он принимал с радостью. Они сидели в пабах, танцевали в ночных клубах и на дискотеках. Карен была прекрасной партнёршей, интересным собеседником и обаятельной женщиной. Уже тысячу и один раз он проговаривал про себя слова, которые скажет ей в конце вечера, проигрывал в голове ситуацию, как удобнее пригласить её провести с ним ночь. Однако каждый раз, когда он уже собирался сказать ей, видел устремлённые на него в ожидании её очаровательные глаза, у него начинали дрожать колени и он менял тему, отступался.

Ночью, ворочаясь в своей одинокой постели, он проклинал себя за нерешительность и слабоволие, ведь он был уверен, что и она хочет его. Так почему же, чёрт побери! он не может это сделать? Может, из-за мыслей о жене? Может, из-за того, что по возрасту Карен годится ему в дочери? А может, из-за боязни быть оскорбленным, если Карен откажет ему?

В пятницу деловые встречи должны были закончиться к полудню, а новые начнутся только в понедельник. В выходные дни Франкфурт, кипящий деловой активностью в будни, превращался почти в сонное царство, где жизнь словно замирала. Поэтому гость не хотел оставаться там на уикенд, когда Карен не будет рядом. Поэтому ему пришла идея арендовать автомобиль и предложить девушке поехать с ним в краткое путешествие по близлежащим живописным городкам. А вечером накануне он устроил себе настоящую репетицию, бесконечно повторяя перед зеркалом решающее предложение, которое готовился произнести...

Ему казалось, что последняя встреча в пятницу проходит невыносимо медленно. Наконец, она завершилась, и он облегчённо вздохнул. Когда они с Карен спускались в лифте офисного здания, он понял, что вопрос приглашения на прогулку нужно решать сейчас, до того, как они

встретятся с Йоханом и сядут в «мерседес». Побывать вдвоём оставалось только две-три минуты.

Тем временем лифт опустился на первый этаж, и двери раскрылись. Они вышли. «Сейчас или никогда», - сказал он себе и остановился. Карен тоже остановилась и взглянула на него. Мгновение они молчали, потом Карен вдруг спросила:

- Какие у вас планы на конец недели?

- Я хотел...

Она опять опередила его:

- Что думаете о поездке вдвоём на лоно природы?

Её глаза, как ему казалось, умоляли: «Пожалуйста, не говори: "Нет"».

- Э-э-э... Да... С радостью, - пришёл он в себя, поражённый тем, что она или прочитала его мысли, или хотела ровно того же, что и он. В этот момент он даже не подумал о жене. По правде говоря, сейчас он не мог думать ни о чём, кроме того, что увидел в её глазах.

Они поехали к ней, чтобы она взяла кое-что из одежды и купальные принадлежности. «Мерседес» остановился возле старого дома в тихом жилом квартале. Карен пригласила гостя подняться в квартиру. Мебели было немного: письменный стол с несколькими учебниками на нём, старый расшатанный стул, на полу – широкий матрас со сбитым постельным бельём.

- Выпьете чаю? – предложила она.

Он согласился.

Карен приготовила зелёный китайский чай, весело рассказывая о месте, куда они отправятся:

- Если вы не против, я выбрала маленькую гостиницу прямо в лесу, далеко от города и вообще от какого-либо жилья. Вам там понравится.

Ему уже нравилось.

Затем поехали к нему в гостиницу. Он поднялся в номер, чтобы взять только самое необходимое из одежды и бритвенные принадлежности. Он привез из Израиля две новые книги, которые надеялся прочитать здесь, однако решил их не брать с собой на выходные: планы на отдых с Карен не предусматривали чтение...

Они выехали из города и поехали вдоль Рейна. Солнце пробивалось сквозь легкие дождевые облака и играло бликами на речной воде. По сторонам дороги шли

виноградники, и гроздьям крупного винограда предстояло вскоре стать молодым рислингом.

Карен сидела рядом с ним, и он ощущал тепло её тела. Волнение и возбуждение, которые владели им все последние дни, проведённые рядом с Карен, сейчас достигали своего пика по мере приближения минуты, о которой он мечтал всё это время.

Йохан свернул с шоссе на узкую боковую дорогу и поехал лесом, густые деревья даже не пропускали солнечные лучи. Через некоторое время автомобиль остановился возле двухэтажной гостиницы, стоявшей на лесной поляне. Из трубы на черепичной крыше здания шёл лёгкий дымок, свидетельствовавший об ужине, готовившемся на кухне. Из окружающего леса раздавались голоса птиц. Небольшая парковочная площадка была почти пуста, что говорило о малочисленности обитателей гостиницы, и это порадовало его.

Когда Йохан помог им занести вещи в небольшой приёмный холл, Карен взяла его за руку и отвела в сторону.

- До всего, - произнесла она тихо, - я хочу, чтобы вы пообещали мне кое-что.

- Конечно, - взволнованно ответил он, готовый пообещать что угодно.

- Я хочу... - она запнулась, - чтобы вы пообещали, что никому не расскажете о том, что произойдёт здесь.

- Да мне это и в голову не могло прийти, - отвечал он с напряженной улыбкой.

- Прекрасно...

Карен подошла к стойке регистрации и вернулась к нему, передав ключ от комнаты.

И тут произошло то, что заставило его остолбенеть: с другим ключом Карен подошла к Йохану, отдала ключ ему и, обнявшись, они пошли к лестнице, ведущей в номера...

Он смотрел на них, и в мозгу у него постепенно прояснялось: все эти вместе с Карен проведённые вечера, рестораны и дискотеки были призваны ввести его в заблуждение, изобразить, будто она увлечена им. Всё это было разыграно ради его готовности прикрыть её романтический уикенд с Йоханом! Карен знала, что ради гостя организаторы его визита оплатят всё.

Час спустя, за ужином, Карен поблагодарила его за возможность провести время со своим другом, и поинтересовалась, не огорчает ли его эта ситуация. Чтобы

не показать, как он разочарован, он прикусил губу и ответил, что рад за них. Понятно, какими глазами он смотрел, совершенно подавленный, как они поднимались к себе в номер.

Двое суток тянулись для него целую вечность: стрелки часов, казалось, замерли на месте, тишина в номере давила. С Карен и Йоханом он виделся только в столовой, замечая их блестящие глаза и нескрываемые счастливые улыбки.

Он позвонил жене и рассказал, что проводит уикенд в лесной гостинице.

- Тебе нравится? – спросила она.

- Хочу домой, - лаконично ответил он.

Перевод Александра Крюкова

Дина Березовская

Поворот, переулоч

Под крышкой сундука, на дне последней клади -
земли трущобный дух и бабушкин платок,
а в уголок платка зашиты чьи-то пряди:
заблудшее дитя, родильный завиток.

В тот край далёкий наш, где мы блуждаем вместе,
поклажи горький дым с собой не унести,
потерян наш багаж, забыт при переезде,
и ключ-ни-от-чего ещё зажат в горсти.

Дни, прожитые зря, и все мои ошибки -
под крышкой сундука, пошарю - не найду,
здесь прядки октября в небесный свод зашиты,
сквозные облака и первый дождь в году,

в пути застигший нас удар тяжёлых капель,
неведомо куда бегущих налегке,
и каждый божий раз приход его внезапен,
и ключ-ни-от-чего ещё зажат в руке.

Стареет близкий человек,
плывёт в края иного счастья
по карте островов и рек
на тыльной стороне запястья.
Прощаясь, он в саду сидит,
в районном садике заросшем,
где безотходный керамзит
усыпал куцые дорожки,
где чутки только провода,
сигналя при любой погоде -
мир безответен, как всегда,
и равнодушно безотходен.

Когда душе пора и в путь,
нет сил за нею волочиться
и слушать, как неровный пульс
надсадно бьётся за ключицей.
К закату тени всё длинней -
его, и проводов, и дыма -
переплетенье их теней
единственно, невосполнимо.

что нам дорого - коротко,
каждый прожитый час -
мандариновых корок
насушить про запас

промелькнуло, померкло,
не кольнуло нигде -
пустячок, водомерка
по свинцовой воде

поворот, переулоч,
что там будет, бог весть -
стариковских прогулок
одинокая спесь?

и в награду - на грани
чёрно-белых страстей -
тростниковой ограды
многострунная тень?

ненадёжна, предвзята -
то ли тень, то ли свет -
и легла полосато
до скончания лет...

Песенка песней

Настал черёд шестого дня
и яблоку упасть,
когда ты спрашивал меня:
откуда я взялась?
Откуда каждый мой грешок
и странный мой покой,
и тот обманный мой штришок -

глаза прикрыть рукой?
В какие тайные края
готовлю я побег,
какую бездну вижу я
там, за изнанкой век?

Здесь дом и пища есть у нас,
и на двоих кровать,
а там, откуда я взялась,
тебе несдобровать.
Там у запретного плода
совсем иная сладость,
ты лучше не ходи туда,
откуда я взялась.

Там все на птичьем языке
запретные слова,
туда сбегая налегке,
заслышав их едва,
туда, откуда я взялась,
в спасительную тьму.
Но возвращаюсь каждый раз
к порогу твоему.

на клеёнке поздний ужин,
чадный кухонный покой,
подоконник перегружен
пёстрой жизни шелухой

стопки книг, а в них закладки -
все лекарства от тоски -
опустевшие облатки,
бесполезные очки

узамбарская фиалка -
в плошке крошки со стола,
пепел всюду, где не жалко,
пепел, пепел и зола...

за окошком запотевшим
тушью мокрые кусты
поредевшей, облетевшей,
овдовевшей чистоты

меж кустов, в сыром просвете
снег клубится тяжело
и ложится, словно пепел,
лунный пепел - на стекло

Что там есть за душой - на весы
положу, только дайте
услыхать, как вступают басы
в поднебесном анданте,
том промозглом и колком,
что слышат порою живые -
как стекают по стёклам
бемоли его дождевые,
как пустыня следит, не мигая,
за этой игрою,
и верблюжьи холмы накрывает
попоной сырою,
словно шейх темнолицый
в пастушьей джеллабе расшитой,
что привык тяготиться
непрощеной этой защитой.
Осень всё же права,
что скрывает порезы и ранки,
что оливки листва
неприметно седеет с изнанки,
что безмолвно клонится вперёд,
ожидая удара,
и покорно бредёт
дождевых колокольцев отара.
Не смутить тишину
ни единым аккордом случайным,
нотный стан наполняя,
одним терпеливым молчаньем -
так фонит пустота,
беспокойно гудя проводами -
этот шанс неспроста
безголосым живым выпадает.

20-е навсегда

(посв. М.Ю)

20-е навсегда.
Уходят твои города.
Все дальше от этой земли
уходят твои корабли.
Уходят, ты смотришь светло,
как раньше, а мне повезло
хотя бы на краешек дня узнать,
что ты есть - для меня.
И дальше - ты есть день и час,
с тобою сверяю сейчас
все знаки и звуки и цвет -
советчика лучшего нет.
Советчика лучшего нет -
ушел, но не выключил свет.
Горит он, горит и горит...
со мной о тебе говорит.

Атукорона

Аты-баты, шли солдаты,
Аты-баты - наугад,
Кто – за щуку, кто – за рака,
Кто за правду, кто - за так,
Кто за мнимую зарплату,
Кто-то против, кто-то за,
Кто смеется, кто-то плачет,
Прячет мокрые глаза.

Аты-баты – может, хватит,
Мы устали - дайте свет,
Мы почти похожи стали
На себя - тому сто лет,
Нам от дома и до дома
Не пройти - висит замок
И луна сидит в короне
Над землею, как намек.

Аты-баты - мы солдаты,
Все солдаты - при войне,
Кто на брата, кто – за брата,
Кто здоров себе вполне,
Кто-то жнет, а кто-то сеет,
Кто-то холит, кто-то ждет,
Кто кружит на карусели
Без помех и без забот.

Аты-баты - без зарплаты,
Аты-баты - вот так так,
Шаг налево, шаг направо,
Шаг вперед и два назад.
Аты-баты, пешкой взято
Всей планеты колесо,
Мы солдаты, все солдаты,
Мы поборемся еще.

Прощение

Я приготовилась к прощанию,
С тобой, я собрала все мысли,
Разбросанные по дивану,
По чашкам, по стаканам чистым,
По нашим встречам обреченным,
По чинному гулянью чаек,
И по желаньям заключенным
В воздушном улетевшем шаре.

Я отнесла в химчистку вещи,
Я отстирала дни недели,
Которые от встречи с нами
Непониманьем заболели.
Я приготовила на ужин
Тебе из соли и из перца
Признание, что ты не нужен
Ни моему уму, ни сердцу.

Я вымела из комнат дальних
Слова, забытые тобою,
Чтобы не наступить случайно
На острие босой ногою.

Я убирала испугленно,
Себе доказывая с каждым
Движением, что мне, влюбленной,
С тобою рядом быть не надо.

Варила черный крепкий кофе,
Гадала на кофейной гуще,
И всё во мне кричало против,
И всё, что ты не самый лучший.
Вокруг качалось и свистело,
И в окна ветка ветром билась,
Я так забыть тебя хотела...
Но ничего не получилось.

Медведь

Характер терпкий и густой -
Турецкий кофе.
А мне бы липовый настой
И солнца профиль,
А мне бы сладкие уста
И шелком слово,
А мне бы день за днем, и так -
Сначала, снова.

Ты самодур и мужеслов,
В посудной лавке -
Медведь, тебе претит любовь,
Тепло и ласка.
И твой язык забрали в плен
Степные волки.
Ты арестант своих же стен -
Пустых и горьких.

Ты разрушитель, ты слепец,
Душевный скряга...
Ты самый сладкий в мире лжец,
Когда ты рядом.

В баре надежды

Непереносимость моих слов, вопросов. Знакомо -
Только руки в законе.

Я могу молчать, говорить о знакомых,
Соглашаться, не возражать,
Не петь, не читать стихи,
не рассуждать,
не молоть чепухи,
не быть счастливой,
быть виноватой, если не цветут сливы,
идет дождь, светит солнце досрочно,
ответить, почему с бедностью еще не покончено,
почему хожу на работу на каблуках,
люблю есть в красивых кабаках,
смотреть фильмы без тени насилия,
считать, что женщина может быть сильной,
почему до сих пор не признаю твою власть
над миром - какая напасть,
я, свободная, должна упасть,
согнуться, просить пощады...
знаешь - мне от тебя ничего не надо,
ни мечты, где ты мачо и самый в мире,
ни руки - мне слабой в твоей любящей силе.
Ни ожидания своей вечной мечты,
Встречи того, кем бы мог быть ты,
Однако не стал и, видимо, навсегда -
У нас разная ерунда,
Разная главная буква и запятая.
Плачу или плачу, неважно, для тебя - не та я,
И не тебе – аз есмь...
Значит, до встречи, в баре надежды,
Ровно в семь.

Чужие минуты

Как мало тебя, как тебя не хватает,
Хватают за руки чужие минуты
И мимо, и вместо, и руки на талии
Рассеянно держат на радость кому-то.

А ты - словно не было,
Ты - словно слово
Пустое - без букв, только черточки, нити,
И ниткой твоею прошиты неровно
Мои обреченные чувства и мысли.

И нет продолжения этого рая,
И вместо него просто падаю с лета
На землю сухую - такая земная
И оглушенная новостью этой.

На ветке, как прежде, поет не смолкая
Простой соловей, за которым в погоне
И поезд спешит, на ходу подбирая
Всех раненых в этом любовном сезоне.

И лечит мельканьем полей бесконечных,
И лечит обычным движением буден,
И лечит, и лечит, и лечит ...и легче,
И будит, и будит, и будит ...и будет.

Иллюзия любви

Иллюзия любви
напрасная работа,
Направо никого,
Налево - крепкий чай,
Иллюзия чтобы
Тебя услышал кто-то
Иллюзия чтобы
На это отвечать.

Лазейка для страстей,
Для усыпленья боли,
Таблетка для борьбы
За черный, черствый хлеб,
Глотаешь и летит
Твоя душа на волю
С рожденья и до всех
Тебе законных лет.

Иллюзия - зачем,

Иллюзия - обманом,
Банально и смешно,
И слезы на кулак,
То щурится в лицо,
То шарит по карманам,
То ласкою ее обманываться рад.

Иллюзия любви,
Ты главная прописка,
Ведь без тебя никак
На этом этаже.
Я обниму тебя,
И станет близко-близко
И больше никуда
Не отпущу уже...

Мысли

Мысли - быстрее крыла куропатки,
Гуляют по паркам, играют в прятки, холодно-жарко.
Заглядывают в глаза - чистая бирюза,
Задают вопросы, в небо уносят,
Взлетают качелями, были - не были...
Чиновники времени...
Взбивают прическу, танцуют чечетку
Черными каблуками по бедрам, ранам.
Ранние, поздние, близкие, посторонние,
Птичками невеличками гнездятся в личке,
Приличествуют, тусуются парами
На тротуарах, над тротуарами,
Гнедые и белокурые - смеются, хмурятся
Ласковой кошкой, жмуриком.
Разделяют и властвуют - покорные, страстные..
Не сосчитать, не построить.
Осторожно, внимательно, старательно - настроить...
Чтобы не ломать - строить.

Магда

Поэма в 4-х танцевальных балладах с прологом, эпилогом, интермедией и постскриптумом

...Вечером 16 июня 1933 года на тель-авивском пляже неизвестными был убит один из ярчайших сионистских деятелей Хаим Арлозоров. Убийство это до сего дня остаётся нераскрытым. Было рождено много версий о причастности тех или иных кругов к этому преступлению, но ни одна из них не получила окончательного подтверждения...

ПРОЛОГ

*«– ...Срывайте двери – два несчастья
хочу я видеть, сыновей убитых,
злодейку- мать, убившую несчастных!..
Появляется колесница, запряженная драконами.
В ней Медея с телами детей...»
Еврипид. Медея. Пер. Даниэля Клугера*

Две женщины носили имена
Похожие, и первая – Медея,
Царя Колхиды бешеная дочь.
Чтоб отомстить неверному супругу,
Колдунья черная зарезала детей.
Прошли века, прошли тысячелетья.
Несчастную преступницу жалеем
И думаем: «Безумна от любви».

Вторую звали Магда, и она
Была женой министра пропаганды.
И, приготовив в чашке цианид,
И обмакнув конфеты в это зелье,
Она детей убила – и себя.

Был месяц май, и грохотали пушки.
Йазон и Йозеф, Магда и Медея.
И никого, кто мог бы пожалеть...

ПАЛЕСТИНСКОЕ ТАНГО

Во время обучения в Германии Виктор (Хаим) Арлозоров познакомился с Магдой – будущей супругой Йозефа Геббельса, которая была подругой его сестры. Магду с Хаимом связывала не только страстная любовь, но и увлечённость сионизмом.

Осенний Берлинский вокзал.
Прощаются Виктор и Магда.
Он пристально смотрит в глаза
Зеленые, словно смарагды.
Она улыбнется легко,
Снимая дождя паутину.
А Виктор уже далеко –
Он видит страну Палестину.

*А марши в Берлине гремят
И рев оглушает трибуны.
И факелы ночью дымят,
Зигзагами – молнии-руны.
Ах, мутная эта вода,
Поет она дьявольским ладом...
Но тянет и тянет туда –
К огням, площадям и парадам...*

Вокзала невнятная речь.
Невнятная сцена прощанья.
Не будет ни писем, ни встреч,
Не стоит давать обещанья.
Под небом глубоким едва ль
Он будет вздыхать по Берлину.
...А ветер уносится вдаль,
В чужую страну – Палестину.

А марши в Берлине гремят

*И рев оглушает трибуны.
И факелы ночью дымят,
Зигзагами – молнии-руны.
Ах, мутная эта вода,
Поет она дьявольским ладом...
И тянется Магда туда –
К речам, площадям и пародам...*

ТЕЛЬ-АВИВСКИЙ ФОКСТРОТ

16 июня 1933 года Виктор (Хаим) Арлозоров со своей супругой Симой сидели на балконе тель-авивского пансиона «Кэте Дан» (ныне гостиница «Дан»). Когда вокруг них стала собираться толпа зевак, они решили прогуляться вдоль моря...

Весел и прекрасен, юн и говорлив
Городок у моря, в золотом песке.
Но оставлен ими шумный Тель-Авив,
Он, она – и море... Жилка на виске...
В полумраке тают милые черты...
«Нынче в целом свете только я и ты...
В синем небе блекло светит лунный круг.
Тени, тени, тени наплывают вдруг...

*В небе ангел смерти свой заносит нож.
И ужалит пуля – подло, будто ложь.
И глаза закроет темной пеленой.
И надежду смоем смертною волной...*

Море безутешно, море слезы льет.
Море гасит звуки, и безлюден мол.
До Берлина ветер письма донесет.
И министру рапорт прилетит на стол:
«Встретили на пляже, всё успели в срок.
Завершили дело в восемь двадцать пять».
Йозеф прячет рапорт в ящик, под замок.
Выпивает рюмку – и ложится спать.
*В небе ангел смерти свой заносит нож.
И ужалит пуля – подло, будто ложь.*

*И глаза закроет темной пеленой.
И надежду смоем смертною волной...*

Рано утром Магда встала ото сна.
Странные виденья мучили ее.
– Магда, дорогая, что же ты грустна?
Без улыбки смотришь в зеркальце свое?
– Милый, мне сегодня снился страшный сон.
Небо, словно бездна... Мертвый человек...
– Ты его узнала? – Мне не ведом он.
– Успокойся, Магда. Всё прошло – навек...

*Над Берлином ангел занесет свой нож.
Яд с ножа прольется горький, будто ложь.
И Берлин накроет темной пеленой.
Чью-то память смоем смертною волной...*

ЕВРЕЙСКИЙ ВАЛЬС

Перед Первой мировой войной мать Магды вышла замуж за еврейского промышленника Рихарда Фридендера. Он удочерил рожденную вне брака Магду, так что в пять лет Магда стала Магдой Фридендер. В 1938 году по распоряжению зятя, Йозефа Геббельса, Рихард Фридендер был отправлен в концлагерь.

Старый еврей тоскливо
Ждет два часа в приемной.
Орден приколот криво –
Старый, солдатский, черный.
Орден носить негоже
С желтой Звездой Давида.
Он понимает. Все же
Носит – и не для вида.

*...На виске пульсирует жилка,
Отзывается громким стуком:
«Фрау Гёршкович, Вам посылка.*

*Вам коробка из Равенсбрюка.
Муж скончался – в пансионате.
Посылали ему подарки.
За кремацию – счет к оплате.
Девяносто четыре марки...»*

Входит министр. Он занят:
«Фридлиндер, что ты хочешь?
Высылка – наказание?!
Что ты, еврей, бормочешь?
Вот Бухенвальд. Так даже
Пища там здоровее!
Или Дахау, скажем:
Это курорт евреям!»

*...На виске пульсирует жилка.
А у Бога – простое сальдо.
«Фрау Хóровиц, вам посылка.
Вам коробка из Бухенвальда.
За кремацию – счет к оплате.
Девяносто четыре марки.
Распишитесь вот здесь, в квадрате.
Погуляйте сегодня в парке...»*

Фридлиндер, гость незванный,
Не доводи до лиха.
Фридлиндер смотрит странно
И произносит тихо:
«Как бы мне попрощаться,
Прежде, чем я уеду?
С Магдою повидаться...»
Зять оборвет беседу.

*...На виске пульсирует жилка.
Почтальона встречают робко.
«Фрау Адельберг, вам посылка.
Берген-Бельзен... Легка коробка...
И не плачьте, Вам слез не хватит –
Причитанья к лицу дикарке.*

*За кремацию – счет к оплате.
Девяносто четыре марки...»*

Фрйдлендер тихо выйдет
Под берлинское небо.
Он ничего не видит,
Просто шагает слепо...
Может быть, стало легче?
Может быть. Не гадайте.
«Магделе, – Рихард шепчет. –
Мейделе, нит гедайге...»¹.

*...На виске пульсирует жилка.
Пульс под локоном бьется светлым.
«Фрау Фрйдлендер, Вам посылка.
Из Дахау –коробка с пеплом.
За кремацию счет к оплате –
Девяносто четыре марки».
А посылка совсем некстати...
А за окнами краски яркие...*

ИНТЕРМЕДИЯ. ПИСЬМО МИНИСТРА

Министр напишет вечером письмо
По поводу комедии Шекспира.
Коснувшись образа жестокого еврея
Отметит он, что Шейлок-иудей
Есть точный образец семитской расы,
А кровожадность Шейлока, жестокость
И ненависть к арийцам таковы,
Что стоило б использовать сей образ
В имперской пропаганде. Но, увы,
Досадна в пьесе явная ошибка:
Ведь Джэссика, которую Шекспир
Зачем-то сделал дочерью еврея,
На самом деле олицетворяет
Арийскую красавицу. И вот

¹ «Магдочка, девочка, не волнуйся» (идиш).

Министр предполагает, что Шекспир
Еще не знал учения о расах.
И потому неплохо было бы
Дополнить пьесу. Указать на то,
Что Джессика отнюдь не иудейка, –
Приемное, а вовсе не родное,
Не кровное для Шейлока дитя.
Была похищена у бедных христиан,
А после продана богатому еврею.

БЕРЛИНСКИЙ МАРШ

*Выйдя замуж за Йозефа Геббельса, Магда подружилась с
вождем Третьего Рейха Адольфом Гитлером. Гитлер любил
бывать у нее в гостях и никогда не приходил без подарка.*

У Магды дом – полнее полной чаши
Цветы живые, Рубенса холсты.
Берлин все тот же – или даже краше.
Зари победной розовы персты.
«Herbei zum Kampf!»¹...

Картинки переклеив,

С детьми идешь орехи золотить...
Вот только странно – нет нигде евреев...
Но, впрочем, это можно объяснить.

*Магда ночами глотает таблетки.
Сердце тревожится, что-то не так.
Магда не может уснуть на кушетке.
Видит во тьме опустевший барак...*

А дети на конверты клеят марки,
Солдатам вяжут теплые носки.
И фюрер шлет букеты и подарки,
И вовсе нет причины для тоски,

¹ «На борьбу!» (нем.) – начало нацистского марша, скопированного, как полагают, с советского «Марша авиаторов» (через немецкую «коммунистическую» версию – марш «Rote Flieger»).

«Herbei zum Kampf!»...

Ни Хаима, ни Хаву

Не помнишь ты – оборванная нить.

Вот только странно: отчим твой в Дахау...

Но это тоже можно объяснить.

Магда ночами глотает таблетки.

Сердце тревожится, что-то не так.

Магда не может уснуть на кушетке.

Видит во тьме опустевший барак...

Отныне ты свободно, вольно дышишь.

Отныне ты гуляешь налегке.

Так отчего же ты все время слышишь

Шопена звуки где-то вдалеке?

«Herbei zum Kampf!»...

Кто в сумраке безлунном?

Кого ты так стараешься забыть?..

Вот только странно жить в краю безумном.

Но это тоже можно объяснить.

Магда ночами глотает таблетки.

Магда не может уснуть на кушетке...

Магда не может...

Магда ночами...

Магда...

Ма...

ЭПИЛОГ

«Мир, который придёт после Фюрера, не стоит того, чтобы в нём жить. Поэтому я и беру детей с собой, уходя из него. Жалко оставить их жить в той жизни, которая наступит».

Из предсмертного письма Магды Геббельс сыну Харальду Квандту.

Бомбят дома, вокзалы и Рейхстаг,

Бомбят мосты, и зоопарк, и церкви...

Но церкви, впрочем, нынче не нужны –

Нужны бойцы, патроны, танки, пушки.

И Фауст уж не доктор, а патрон.

И Мефистофель просто застрелился.
А Гретхен мечется и вновь убьет ребенка...
Не одного – но столько лет прошло!

Советник Гёте! Были бы вы тут –
И третью часть поэмы написали
О Магде, что баюкала детей,
Отравленных недрогнувшей рукою.
...За десять лет бессонницы ужасной
Впервые Магда захотела спать.
Сойдя с ума и спутав утро с ночью,
В белесом небе пели соловьи...

В страстном и долгом романе будущей первой леди Третьего Рейха и ярчайшего сионистского лидера, много темных мест. Тайна убийства Хаима (Виктора) Арлозорова на тель-авивском пляже летом 1933 года, по сей день остается тайной.

Харальд Квандт, старший сын Магды от первого брака, служил в Люфтваффе, попал в плен к американцам. После войны занимался бизнесом. Его дочь Хильда прошла гитлер, стала иудейкой, вышла замуж за гамбургского еврея. Их сын, правнук Магды Геббельс, уехал в Израиль. После срочной службы в израильской армии, стал кадровым офицером. Он носит имя Хаим.

POSTSCRIPTUM. СТАРИННЫЙ РОМАНС

В воздухе запах сирени,
Капли грибного дождя...
Кружатся блеклые тени,
Чтобы уйти, погода...
Только разбиты ступени,
Стерты давно имена.
В воздухе запах сирени,
А на глазах – пелена.

Мы не узнаем друг друга.
В этом смешении лиц
Будут метаться упруго
Черные строки ресниц.
Больше не выйти из круга,
Чтоб без тюрьмы и сумы.
Мы не узнаем друг друга...
Полно, а кто это – мы?

Мне перестали сниться сны

Дай високосному году закончиться,
не торопись с умножением бед,
пусть многоточие снова отсрочится –
слушай вселенной незримый совет.

Пей влажный воздух глотками и радуйся
запахам снега, костров и машин.
Просто плыви с облаками,
под градусом,
просто допей.
Долюби,
допиши...

Не начинай словопренья нервически,
не разрушай покосившийся дом,
перетерпи. Раздвоение личности,
может быть, сможешь исправить. Потом.

Просто себя обними и задумайся,
вспомни улыбку свою по утрам.
Памяти нашей любимые улицы
ждут и скучают по тихим шагам.

Дай високосному году закончиться.
Не торопись с умножением бед.
Ночью и днём мелодичная звонница
шлёт от ушедших далекий привет.

Мне перестали сниться сны,
когда в телесном одеяньи
приходят гости в подсознание,
и ставят память на весы.

Когда я накрываю стол,

и водкой потчую ушедших,
по сонной радуге пришедших
мне сделать совести укол.

Когда враспяжку разговор...
Не разговор, а монологи!
И, как предвестие тревоги
ответ-молчание в укор.

Я знаю, что не виноват,
но не спешу на толковище,
где лютый ветер злобно свищет,
где не спасёт ни сват, ни брат.

Из ниоткуда жду друзей,
когда удобная подушка
погладит ласково макушку,
и ангел встанет у дверей.

Я все чаще вспоминаю папу -
Может, это старость, господа?
Как он брёл по зимнему этапу
десять лет неведомо куда.

Чаще говорю его словами
и смотрю с прищуром сквозь года.
Может, это догорает пламя,
что во мне зажгла его звезда?

Он все чаще снится мне, ребята,
то больной, то строгий, то чужой,
и не только в горестные даты
он приходит поболтать со мной.

Только нет канвы у разговора,
что поделать, - это просто сон,
говорит он: "позвони!" сурово.
Я с утра не помню телефон...

Не пишется, сука, не можется!
Душа расползлась как овсянка,
устал видеть в зеркале рожу я,

звоню всем друзьям спозаранку.

Под кофе несу околесицу,
и строю воздушные замки,
за слово поддержки и лестницу
я вывернусь весь наизнанку!

О, лестница в небо! «Лед Зеппелин»,
года вереницей ушедшие...
На то, что тогда был нацелен я,
сейчас – как мечты сумасшедшего.

И, вместо улыбки джокондовой,
в сети только рожки, а рожицы
кричат мне про «правду посконную»...
Не пишется, сука, не можется!

Пил тишину осенний листопад,
и на вершине тихого блаженства,
достигнув, как казалось, совершенства,
слова шептал я снова невпопад.

Мне снились вновь пророческие сны,
и я в поту холодном просыпался,
зачем-то мне стократно повторялся
тот мамин вздох: «дожить бы до весны...»

Шла осень в наступление на лень
и разгильдяйство летнего безделья,
шуршащим смехом странного веселья
гнал листопад, накрыв мой судный день.

А я заклеил окна, чтоб зима
не разомкнула холодом объятья,
пусть до весны не сбудутся заклатья
и осень забирает все права,

пусть под ногой, свой замыкая круг,
поет «аминь» листва, слегка охрипнув,
сны посветлеют, боль уйдет, затихнув,
и вдохновенье возвратится вдруг...

И Муза, на кровать мою присев,
прошепчет мне уже слова другие,
деревья улыбнутся мне, нагие,
и к песне сам напишется припев!

Храню тепло твоей руки,
и продолжаю, по привычке,
не закрывать пока кавычки,
и слышать легкие шаги.
Во сне опять тебя ласкать,
и чувствовать, как наши души
в момент, когда заложит уши,
солятся. Словно благодать
с небес спускается на землю.
Грешны мы, милая, с тобой,
но ветер и ночной прибой
наш грех божественный приемлют.
Храню тепло твоей руки,
и увожу в пустом вагоне
твою фигурку на перроне,
дождь и на лужах пузырьки...

Осенняя любовь наполнена туманом,
дождями за окном и грустью по утрам,
последнюю главу последнего романа,
читаю не спеша, читаю по слогам.

Опавшая листва, высокое давление,
запавшие глаза — бессонницы каприз,
к финалу подошло второе отделение
концерта, где я сам — продюсер и артист.

Осенняя любовь, иллюзия надежды,
то нежность до краев, то сладкая тоска,
застывшая душа, без сброшенной одежды,
ждет мел своей судьбы, как школьная доска.

Вдруг стертые слова становятся родными,
а запахи дождя напомнят океан,
и сложатся года в твое простое имя...
Осенняя любовь, все за тебя отдам!

Ночью город пахнет нежностью,
недосказанностью слов,
легкой, ласковой небрежностью
несбывающихся снов,
сигаретным дымом, вьющимся
из окошек — черных дыр,
храпом, весело несущимся
из зашторенных квартир...

Город ночью пахнет радостью
чих-то встретившихся рук,
и прощеньем чих-то слабостей,
и предчувствием разлук,

ненавистною бессонницей
в ожидании зари,
и, конечно же, как водится,
жарким запахом любви!

Из ниоткуда в никуда
всегда тяжелая дорога,
но привыкаю понемногу,
года, наверное, года...
Житейский опыт, пустозвон,
бьет в тишине по барабанам,
и я зализываю раны
под тихий колокольный звон.
В объятьях нежность и покой,
и легкий запах той измены,
что строит между нами стену
и разрушает нас с тобой.
И снова мечется тогда
душа беспомощным котенком,
я становлюсь опять ребенком,
года, наверное, года...

Дырочка в стене

На вершине холма сидит дурак,
Похожий на уставшую улитку,
Играет вальс духовой оркестр,
Птица скачет на одной ноге.

Приходящему говорят: здравствуйте,
Уходящему - закройте дверь.
Думаешь, что ты царь горы,
А это сезонная распродажа.

Собака берет след и чихает,
Тает кем-то забытое мороженое.
По сигналу все раскрывают зонтики,
Изредка постреливая из ружья.

К зиме упакованы розы,
От взглядов укрыт виноград.
Читатель ждет рифмы "морозы",
Которой писатель не рад.

Стоит опустевшая дача,
За колышек держится дуб.
Писатель молчит, озадачен
Дымком, улетающим с губ,

За деревом спрятаться хочет,
Узнать, что случится потом,
И выбежать звездною ночью
Умыться из бочки со льдом.

Реки парное молоко,
И вот оно уже остыло.
Там, за рекою, далеко
Зима обходит город с тыла.

Плывет порожняя баржа,
Рыбак сворачивает снасти.

Где куст, похожий на ежа,
Там жизнь, похожая на счастье,

От нас скрывается под мост,
Пока ты смотришь вслед устало,
Бежит, задрвав облезлый хвост,
И вот ее уже не стало.

Упразднили Роспечать,
Сообщив об этом в чате.
Как теперь нам отмечать
День работника печати?

Не поймешь, в какой связи,
Но во благо это или
Просто так? Поди спроси.
И Россвязь нам отменили.

Снова ветер перемен
Треплет флаг над головою,
И грядет эксперимент -
Будущее цифровое.

Кто играет там, резвясь,
Не молчите, отвечайте -
Восстановится ли связь,
Будут ли синеть печати?

Всё хуже не-
Куда не знаю
Бежать, но стоит
Помолчать -

Какая музыка
Земная,
И снег касается
Плеча.

Перед прозрачной
Медлишь шторой,
Как будто
Видишь из окна

Деревьев сонных
Разговоры.
Минута,
И еще одна,

Длиннее,
Чем тянулись годы,
Тлел сигареты
Огонек,

Был вечер
Нашей несвободы.
И сладок снег,
И путь далёк.

За салатом из морской капусты
Рыба ходит ночью в магазин.
В магазине холодно и пусто,
И охранник мается один.

Он бы рад поговорить, но рыба
Молчалива ночью и грустна,
Говорит охраннику «спасибо»
И спокойного желает сна.

Проплывет над головою танкер,
Шум мотора вдалеке умолк,
А она доест салат из банки
И закроет двери на замок.

Дырочку в стене проковыряв,
Чтоб узнать - а что там за стеной? -
Ныне нерешительно в дверях
Размышляет о судьбе герой,

Будь он янычар или варяг,
Или бард с надорванной струной,
И встает вечерняя заря
Над плывущей в сумерках страной.

В дырочку был виден механизм,
А в дверном проеме черт-те что.

Погляди на это сверху вниз -
Купол неба словно решето,

Шагомер отсчитывать устал,
Глазомер наелся правоты.
Чаша-то, наверное, пуста,
Много утекло с тех пор воды.

Много кануло с той поры ночей,
Ровно столько, сколько и дней.
Джентльмены любят погорячей,
Но становится холодней.

После жаркого лета всегда холода,
Но растает лед, все дела.
Получается, что кругом вода,
Вот и тепленькая пошла.

Новогодняя на столе еда,
Опоздали на самолет,
Поезда провожают совсем не так -
Ленинградский певец поет.

Эхо в темноте

Заборы рабочих окраин,
Заброшенные пустыри,
Мы время себе выбираем,
Как пьяный диджей - попурри,
С чего бы такая забава? -
Недобро и не до красот,
И пороха с дымом отравя,
А ниже - зиянье высот,
И век проскочил, как мгновенье,
Мгновение длилось века,
Дорога истлела от тренья,
Вся в помеси глины, песка,
Обломков, осколков, провалов,
Подобие дантовых ям,
И смотрят потомки вандалов
На ими воссозданный храм -
Сюда, где разрушена сфера,
Где низко, убого, дрянно,
Где веку рождается мера -
Дорога и небо, и дно.

Заброшенной старой дорогой,
На Вербное руки в пыльце, -
Попробуй побыть недотрогой
С оранжевой хной на лице! -
С веснушками после соцветий, -
Все гуще и ярче шары,
Как будто мы жили на свете
Для этой любовной игры,
Для этой безлюдной дороги,
И верба – сплошной серафим! -
Но речь не о жизни и Боге,
Что кажется неуловим,
Что так мимолётно свиданье,

И так позабыто легко,
И нами грешит мирозданье,
Когда даже Бог далеко.

Протяжное, как эхо в темноте,
Как ветерок в саду июльской ночью,
Как танец белой птицы вдалеке,
Как влага по листу вслед многоточью...
О чем писала? - даже не прочесть, -
Мир с каждым вдохом призрачней и глуше,
Опять на крыше скрежетнула жесьь,
И воздух стал ещё темней и суше,
Заговорить? - но что могу сказать?
Я вас любил, мы сердце потеряли,
Ни счастья и ни слез не удержать
Июльской долгой ночью на Урале...

Ну, хорошо - о пустом, никчемушном,
Мне, непоседе, ненужном и скучном,
О пустозвонном, надутым, раздутым,
Вне перехода к богам и цикутам,
О человеческом - Эллочка, Гелла,
Где ни трубы, ни судьбы и ни мела,
Просто - мигнуло, мигнуло... погасло,
Наледь, трамвай и разлитое масло.

Утро. Окно. Полудрёма ребёнка.
Воздух. Бумага. И рвётся, где тонко.

На ДР

Как юность хороша в своём порыве, -
Так солнце дарит пламя медной гриве,
И медь с искрой в ореховых глазах,
И мнится - на стремнине пляшут рыбы,
И сказки, где Багдады и Магрибы, -
В садах Семирамиды - в небесах.

Вздыхаешь, и любишь на диво, -
Фортуна, как назло, неприхотлива.
Заходишь в неприметный уголок, -
Там солнце с кофе льётся вперемешку,
И – в сторону и суету, и спешку,
И что мне низкий и высокий слог...

Иссякла дружба без остатка,
Труби отбой, пили свой сук,
По насту дней бежит лошадка,
И бубенцы спадают с дуг.

Должно, благое утешенье,
Искрится снег, троится звон,
Воздушных замков сокрушенье -
Мир вышиб дно и вышел вон.

Что остаётся на картине? -
Застывший вихорь, слабый след,
Сплетение случайных линий,
Их толкователь – Бертолет.

Бежит, следов не оставляя,
Сливаясь с сумраком зари,
Затихшей перекличкой лая,
Как будто выиграв пари,
И ты, вдыхая воздух колкий,
Почти не оставляя след,
Идёшь, ступая на осколки
Того, чего на свете нет.

Стихи из папки, забытой на антресолях

Сколько я видел картинок лубочных и переводных,
И этикеток, и марок, и законных пейзажей,
И разворотов, и фокусов прочих иных –
Да только что из того! – вот что мне удивительно даже.

Что прикипело к сетчатке? – Всего ничего.
Хоть бы один зацепился какой захудалый образчик!
Царство моё, по всему, не от мира сего,
И ни к чему не даёт прилепиться Верховный Приказчик.

Всё, что я делал – выделявал странные па.
Что-то водило и корчило и вытворяло ужимки.
И никуда-то меня не вела никакая тропа,
Я только падал и дёргался, словно паяц на пружинке.

Где моё царствие? Чахнут мои берега.
Где и когда я сойду с наболевшего круга –
Пусть оглашённые вóроны вскрикнут у городского герба
И мурава фиолетовой станет с испуга.

Та страна неизвестна Европе:
Ни пожары, ни пашни.
Та страна курит опий утопий
И заходится в кашле.

Когда уходит эпоха

Словно беженка с Востока,
Ковыляет, охромев,
Переломная эпоха,
Мамка чудищ и химер.

На огни святого Эльма,
Городские маяки,
Медленно возводит бельма
Межеумочной тоски.

Взгляд белесый, ядовитый,
Убивавший голубей...
С нею мы ещё не квиты,
Должники своих скорбей.

Наследники Амана

*Когда нищие духом выбирают вождями бесноватых,
поднимается мусорный ветер.*

1.

Солью земли или горстью изюмин
Нищие духом не станут вовек.
Но что я слышу! – безумия зуммер;
Вижу – вербовку духовных калек.

Их роль тебе знакома
До колотья в груди.
Ты плакальщик погрома,
Который впереди.

Ты плачешь, ты пророчишь? –
Да будет по сему!
Ты наглядишься в очи
Безумию сему.

И поднимается мусорный ветер,
И от ошмёток его и щедрот –
О, Боже мой, на каком же я свете –
Вот он: грозит и беснуется сброд.

Час неприкаянный, вздох половинный
К горлу подкатят за то, что я прав.
Знаю – и руны пишу о руинах,
Прячу в рукав.

2.

Болезнью *Аманова мания*
Переболела Германия.
Россия – звук чистый и звонный –
Период инкубационный.

Я хочу в этом городе стать на постой,
Сдать ему на хранение дела мои,
Захлестнуться петлёю черты городской,
С акведуками руки заламывать...

На писательском бюро
Было вставлено перо.
Помогал любой и всяк,
Применяя обиняк.

Подведём итоги. Дело ахово.
Кончен исторический курьёз.
Выход – вверх по лестнице Иакова
Над четой белеющих берёз.

То ли сквозняк, то ли Дух Святой
Пошевелил бахрому.
Это ветер явился к нам на постой.
Хозяйка, открой ему!

Входи же! Я дам тебе стол и кров.
Хозяйка, вино на стол!
Я о ветре сложил четыреста строф,
И он за ними пришёл.

Ещё в помине не было их
Ни в одной из земных столиц.
На Памире ветер узнал о них
По крику своих орлиц.

Сонетов гроздь, розу ветров,
Опушку синих ресниц
Он вытряхнет, как корзину снов
Над крышами столиц.

Стихи, что он сполна получил,
Он развеет во все концы,
Чтоб они летели, что было сил,
Как славы моей гонцы.

Я хочу сказать вам слово
Или даже фразу,
Чтобы было хоть сурово,
Но понятно сразу:

Мы из разных были сказок,
Разного зачина –
Вот венец всего рассказа
И всему причина.

Ключья прошлого, как сажа,
Липнут к силуэтам,
К двум понурым персонажам
Грустной оперетты.

Где ветви смыкали над ним свой покров
(И тем принимали в опеку),
По слою опавших допросных листов
Ступала нога человека.

Цепляйся, кустарник, к сутанам сутяг!
Трещите, крючки крючкотворства!
Выходит на вас повелитель бодяг,
Носитель здорового торса.

Где белка от жадности знаний грызёт
Еловых параграфов зёрна,
И где в паутину косматых тенёт
Еловый судебник завёрнут –

Но вот не хотят понимать ни аза,
И к правде они не готовы.
Там зенки, как блюдца, как лупы – глаза,
Законоучители – совы.

Строки этого поэта
Посетила благодать,
Хоть ковчег его завета
Не нашёл, куда пристать.

Душ ловец расставил сети,
Поэтический конвой.
Сам же он сказался в нетях –
Звёздный паданец, изгой.

Возле дома не могут тревогу унять домочадцы,
Воет пёс у ворот, ускоряет круги вороньё –
То ли яды эпохи в грунтовые воды сочатся,
То ли землю трясёт от талантов, зарытых в неё.

Но хоть этак, хоть так, а одна незадача выходит.
Эй, сестрица, скажи: у кого признаться бы ума?
Бойтесь, други, дракона с головой о семнадцатом годе
И дыхания им заражённого социума.

Ухожу на восток. Никому не сыграю побудку.
И о том лишь тревожусь, волхвую, радею, пекусь,
Чтоб вулкан, как старейшина края, раскуривал трубку,
Чтоб над елью завис уссурийской тигрицы прикус.

Из цикла «Портреты»

Рябина

Заиндедеввшие поля земли и неба
Коснулись темноты, коснулись глухоты.
Мы шли вдоль луга, посветлевшего от снега,
И зачарованно на снег смотрела ты.

Узкая речушка ледяным межзвездьем
Вилась между холмов, пологих и нагих.
А церковь на излучине, прямой и вечной
Тенью, протягивала свет к окраинам души.

Дул слабый зябкий ветер, замерзали уши,
Вечер горел огнем дальних домов и звезд.
Ты шла безмолвно и бесслезно, не касаясь
Суши, в вечернем свете на краю земных шагов.

Потом сказала, «Что-то я замерзла. Задолбало
Топать. Пора похавать и потрахать, и спать».

Кипарис

Подожди меня в кафе, внизу, я сейчас спущусь,
Ты пришла чуть раньше, чем сказала, что ты.
Должен был подумать, что так будет, и ждать,
Ты идешь впереди времени, но оно недвижно.

Светятся ли твои глаза или сквозь них душа?
Улыбка полна смеха, а тело движений. Руки
Держат чашку, отброшены, касаются ладоней,
Записывают. Мне не уследить за их листвой.

Искрами полноты мира пересыпан твой шепот.
Невозможно не радоваться тебе. Но я помню
И то, какой ты бываешь перед собой, наедине
С холодом мира, где искры пусты. Как наполнив

Ладонь таблетками от абсурда, сказала, «хватит».
И сейчас, смеясь, ты думаешь: завтра или потом?

Тис

«Давай выпьем», сказала ты тогда равнодушно.
«Давай», согласился я. «Ты только не подумай»,
Продолжила, «Обычно я не пью, даже не курю».
За окном черные ботинки и туфли под дождем.

Ты рассказывала об отце с холодными глазами,
Матери-истеричке между кухней и телефоном,
О молодых людях, живших планами на успех.
«Расскажи о себе», добавила ты, «Пожалуйста».

Утром твои белые волосы на белой подушке.
Ответила взглядом озабоченным, недоуменным.
«О чем мы вчера говорили?». «Да так, толком
Не помню», сказал я. Ты кивнула, «Хорошо».

Не выношу разговоров по душам. У каждого
Свое одиночество, и незачем их смешивать».

Лебеда

За окном льется холодный дождь, дрожат кусты.
Опустив голову в ладони, ты думаешь о том
Теплом, уютном, полном, что на краю горизонта,
О сытном, о недоставшемся. О том, что у других.

Там поют золотые цветы, наполненные солнцем,
Там время ярко, а земля плодоносит черешней.
Мне жалко тебя, мне всегда тебя было жалко.
Ты плачешь над каплями своей разбитой души.

Но знакома ли жалость тебе? Скажи, каков ее вкус?
Чье сердце ты согрела, делясь душой или раздавая
Благодарность, открывая руки? Ты не услышишь,
Если тебя спросить. Или ответишь: «Кара? Мечь?»

Справедливости мало. И, нет, конечно, это не мечь.
Но оглянись. Ты живешь в том мире, который твой.

Жасмин

Да, дорогая, ты смотришь на себя, как на товар.
Многие настоящие мужчины тебя этому научили,
Многие заботливые подруги научили тому же.
Так зачем же увливать: ты видишь в себе товар.

Здравствуй, витрина, здравствуй. Разве можно
Не радоваться тебе? Твои чудесные волосы
Легко положить на ладонь; твои губы полны
Поцелуями, глаза - словами, а тело - влеченьем.

Твои руки прекрасны до самых краев ногтей,
Бедра немного покачиваются, но не слишком.
А твои ноги? Совсем, как у настоящей куклы,
Их хочется целовать. Милая, ты почти совершенна.

Что-что, личность? Ведь тебе не стыдно за меня?
А мне за тебя? Отлично! Проведем отличные дни.

Плющ

Ненасытное тело, вьющееся, час за часом
Ищущее соприкосновений, движений, ласк;
День за днем. Грудь, боящиеся потеряться;
Бедра, боящиеся остаться одни. Лицемеришь?

Засыпаешь. Ты не показываешь себя, тебе
Не до этого. Не играешь в словесные игры,
Зачем они тебе? Сегодня мы уже общались,
Да и говорить проще так, без лицемерия.

Постель за постелью, но что тебе до того.
Ты лжешь, но не обманываешь; разве
Правду ты ищешь в чужих телах, а они
В тебе? Сегодня утром был кто-то другой.

От твоих сестер видел хорошее и плохое.
От высокоморальных — плохое. Рядом?

Клен

«Наверное, нам не стоит друг друга обманывать»,
Ты сказала, прижавшись щекой, «Разве так плохо,
Что наши интересы сошлись, и разве так стыдно,
Разложить их на подушке, как карты мира». «Быть -

Значит хотеть, хотеть - значит действовать». «Нет
Интереса, нет будущего». Или я придумал эти слова
За тебя? Тебя так учили, раскладывая перед глазами
Карты будущего: козыри, девятки, меченые рубашки.

«Как я могу тебя любить?», спрашивал я себя тогда,
Выученную к расчету, взвешивающую и скрытную.
Ведь так отчетливо помнил огни души, высокие слова,
Захватывающие и страшные. «Как же я любил тебя?»

Но рты красивых слов смылись в провалы прошлого;
А ты все еще звонишь и спрашиваешь, «Ну как, блин?»

Ольха

Поступь быстрая, неустойчивая, незнающая
Рыжие волосы разбросаны, широких скул поверх,
Дыхание сильное, глубокая грудь в полноту
Воздуха, слов потоком живым, переполненным.

Страсть с перепадами в застенчивость, депрессия
Счастья. Ты живешь в мире, где птицы поют хорами,
Где дома говорят, небеса полны травой, а люди
Полны абсурдом. Глядя на них, ты веришь в лучшее,

Видя худшее. В нищете ты смеешься. Среди кипарисов
Плачешь. Пьяная среди трезвых, не понимающая в людях,
Мечтающая в мире желаний и планов, ты живая среди
Мертвых. Твое тело - жертва в одиночестве и в радости.

Протяни мне руку, не спрашивая, венами вверх,
Я хотел бы помнить тебя такой, какой ты сама забудешь.

Лавр

Я спросил тебя, где здесь вход на вокзал и
Кассы. Ты хотела пойти со мной показать их,
Чтобы я не потерялся один на чужом вокзале.
Мне стало неловко; разумеется, я отказался.

Тонкий профиль гречанки, о твои глаза, светлый
И чуть надменный взгляд. Небольшой чемодан,
Я предложил его донести. Но ты отказалась.
«Поезд на Салоники отбывает через две минуты».

«Я еду в Салоники», сказала ты, «Здесь я учусь».
«У вас там семья?» Ты кивнула. «Когда-то там
Жила очень большая семья, а потом стала совсем
Маленькая. Вы, европейцы, знаете, как это бывает».

«Мне тоже в Салоники», закричал я закрытой кассе,
«Мой поезд уходит в Салоники». Тогда и ежедневно.

Береза

Светлый неба разлет, эркеры, фонари.
Праздничный невский лед, солнце и свет земли;
Горестный невский лед, серый туман и пурга.
Краем ты не пройдешь, обочина не дорога.

Встретимся у метро. А где? Внизу, наверху?
Ты натянула на уши шапку, намотала шарф,
Засунула руки в карманы пальто. Холодно,
Скользит поземка, вдоль улиц, где все и никто.

А у Владимирской церкви не повернуть назад,
В городе, где недели и годы проходят как день,
Но каждый подлунный день — это рай и ад.
Станций теперь стало две, мы ждем не у той.

Две не отбрасывают тени, двое не встретятся на
Одной. Но я вижу тебя сквозь поземку времени.

Яков Шехтер
комментарии и пояснения
Анны Файн

САМОУЧИТЕЛЬ
КАББАЛЫ

Когда речь заходит о каббале, в разговоре моментально всплывает управление ангелами, снятие заклятий, передача мыслей на расстоянии и всевозможные чудеса, для перечисления которых не хватит сотен страниц. Все это верно, но диковины и удивительные происшествия - не более чем оболочка, скрывающая таинственный мир духовности.

Самоучитель предлагает читателю освоить несколько главных понятий каббалы. Методика обучения такова: после объяснения разбираемого понятия, следует рассказ, который художественными средствами иллюстрирует, как это понятие проявляется в жизни. Затем следуют вопросы, отвечая на которые, читатель сможет проверить и закрепить полученные знания.

Заказ книги по адресу: articreda@gmail.com

Кто убьёт барса?

Среди моих друзей-приятелей встречалось немало людей необыкновенных профессий: астрофизик, цирковой силач, женщина-каучук. Самым любимым из этого славного ряда был памирский охотник-барсолов Кадам Кудайназаров. Как-то раз мы ехали с ним верхом на лошадях по улице высокогорного кишлака Дараут-Курган, что в Алайской долине. Дараут, надо сказать, довольно-таки безрадостное поселение, название которого, по уверениям местных людей, означает в переводе «Быстрее проходи мимо». Дело тут в том, что когда-то, во времена оны, в Дарауте гнездились свирепые разбойники, и путнику, желавшему дожить до завтрашнего утра, стоило миновать кишлак без задержки, лучше вскачь.

Близ входа в продуктовый магазин, куда мы с Кадамом направляли ход наших коней, сидел на земле, на подстилочке, узбек и торговал яблоками поштучно. В магазине можно было купить керосин, свинцовую дробь и порох для снаряжения охотничьих патронов, конфеты «подушечка», водку, консервы «Мясо кита с горохом»; много чего, полезного для жизни. Яблок в магазине не видали никогда – на памирском высокогорье они не росли, а налаженно их везти в эту глухомань из сладких узбекских долин торговому начальству в голову не приходило. Другое дело – инициативные торговцы-одиночки: они изредка наезжали в Дараут из низин с мешком яблок и, сидя у дверей магазина, распродавали свой товар за хорошие деньги, быстро и без помех: яблочки для детей были ещё лучше, чем конфеты «подушечка» с муравьями в начинке.

- Гляди! – сказал я Кадаму с радостным удивлением, как будто узбек не яблоки разложил на земле перед собой, а ананасы. – Яблоки!

Кадам взглянул на узбека мельком и сказал:

- Если все будут торговать яблоками, кто же убьёт барса?

Эта фраза запомнилась мне, и я вставил её, как она есть, в роман «Кадам, убивший сороку». Её, и ещё одну – о том, что снежный барс никогда не смотрит под ноги, а только вперёд, и поэтому попадает ногой в капкан, поставленный охотником на повороте тропы – прочитал в этом романе замечательный грузинский актёр, мой друг и товарищ Нико Гомелаури. Прочитал и запомнил, и, вместе со своей женой Нинкой, преподнёс мне замечательный памятный подарок, куда более приятный, чем нищенский издательский гонорар: перстень с золотой головой барса, с зелёными изумрудинками глаз.

Так вот, если б не Кадам, не случиться бы всей этой истории.

3 ноября 1972 года, после двухлетних мытарств и неприятностей отказа, моя мать и я получили, наконец, разрешение властей на выезд в Израиль на постоянное жительство. Тут уместно привести выписку из документа, хранящегося в архиве А. Яковлева:

«Комитет Госбезопасности располагает данными о том, что некоторая часть еврейской интеллигенции из числа искусствоведов и литераторов использовала вечера памяти Переца Маркиша и Льва Квитко для демагогических и идеологически незрелых выступлений. В большинстве из них говорилось о трагической гибели талантливых еврейских поэтов, о невозместимой утрате, которую понесла наша литература в лице Маркиша и Квитко. Проводилась аналогия их гибели с убийством свободолюбивых поэтов в период царизма и средневековья...» Возмутило руководителей госбезопасности выступление на вечере Переца Маркиша 8 декабря 1965 года поэта и переводчика Арсения Тарковского, который заявил, что «во все времена убивали мыслящих поэтов. Жертвами произвола пали испанский поэт Гарсия Лорка, Лермонтов и Маркиш». Не понравилось и высказывание сына Переца Маркиша – поэта и

переводчика Давида Маркиша, который «прочитал стихи, посвящённые памяти отца, в которых говорилось о том, что в нашей действительности «учёные и поэты не умирают в своих постелях». В его стихах «время до 1953 года сравнивалось со временем средневековья и мракобесия»... Несколько иначе поступили с вдовой известного еврейского поэта Переца Маркиша – Э. Лазебниковой и его сыном Д. Маркишем. Тот же Андропов в апреле 1971 года сообщил в ЦК о том, что они подали документы на выезд в Израиль и что в случае отказа намерены обратиться с жалобой в Совет Министров СССР и другие инстанции. В связи с этим Юрий Владимирович предложил ЦК: «Учитывая личность П. Маркиша и его значение в развитии еврейской литературы, было бы нецелесообразным разрешать его ближайшим родственникам выезд в Израиль...»

Рекомендация Андропова, к счастью, не сработала: под болезненным давлением западных политических лидеров на кремлёвские власти разрешение на выезд было получено, и нам дали целых четыре дня на сборы, включая выходной. Нас предупредили со всей строгостью: если не уложимся в отведённый срок, нас ждут крупные неприятности... Уже в Израиле я узнал доподлинную причину такой спешки: на следующий день после отведённых нам четырёх выпадал главный советский праздник – 7 ноября, и власти тревожились о том, что мы с мамой устроим пикет или объявим голодовку в 53-ю годовщину большевистского переворота. Так что казавшаяся голым произволом спешка имела под собой веское основание... Источником этой интересной информации послужил посвящённый во многие тайны советского режима «журналист по специальным поручениям» Виктор Луи; в этом случае у меня нет оснований ему не доверять.

На исходе четвёртого дня подготовки к отъезду, как говорится, «под занавес», я явился за полчаса до закрытия в зал таможенного досмотра, специально отведённый для евреев, выезжающих в Израиль на ПМЖ. Это было последнее, завершающее дело перед отъездом. Все

формальности были уже позади: в домоуправлении получена липовая (оплаченная) справка с печатью о якобы проделанном в связи с отъездом ремонте наших двух комнат в коммуналке, собраны квитанции об уплате «жировок» - за квартиру, за свет, за газ, за воду. После недолгого препирательства в военкомате я снялся с воинского учёта. Мосты были сожжены, оставалось только отвезти на таможенную сколоченный из досок ящик с багажом, размером с гроб, и наутро улететь в Вену, а оттуда в Тель-Авив (прямые рейсы из Москвы тогда ещё не проложили).

Без двадцати пять вечера я стоял у ворот вокзальной таможни, оборудованной в пакгаузе и задней своей стенкой выходящей на железнодорожные пути; туда можно было подогнать грузовые товарные вагоны. Ворота были задвинуты и заперты изнутри. Я постучал – сначала костяшками пальцев, потом кулаком. Ворота приотворились, в проёме стояла низкорослая кряжистая тётка в сером халате и головном платке, повязанном под подбородком.

- Закрыто! – объявила эта тётка, придерживая створку ворот сильной рукой. – Завтра приезжай.

Объяснять ей, что завтра ранним утром я улетаю, было пустой тратой времени. Поэтому, сунув ногу в щель между створкой и опорным столбом, я сказал голосом свежим и чистым, почти пропел:

- Вчера мой товарищ у тебя двадцать пять рублей занял, велел тебе отдать. Вот, держи!

Тётка стремительно приняла купюру и отворила ворота:

- Давай, заноси! – И, кивнув на ящик, обернулась и позвала из полутёмного зала за её спиной: - Эй, Витёк!

Витёк, в таком же сером халате, что и тётка, пришёл и без лишних разговоров помог мне втащить мой ящик в таможенный зал. Этот Витёк спешил: я оторвал его от приятного дела – в зале трое таможенников мирно выпивали, сидя на одном из десятка багажных ящиков, больших и поменьше, беспорядочно расставленных на бетонном полу пакгауза.

Не успел Витёк присоединиться к своим отдыхающим коллегам, как, выйдя из какого-то закутка, в зале появился начальник таможни – мужчина лет тридцати с медальным лицом, высокий и ладно скроенный. Из-под его служебного халата выглядывали офицерские хромовые сапоги. Быстро, но внимательно проглядев мои бумажки-сопроводилочки на отправку ящика за рубеж, он оборотился к отдыхающим таможенникам и приказал:

- Этот ящик! Досмотреть! - И, взглянув на наручные часы, добавил, нацелив в меня палец: - Он последний. Больше никого не пускать! – И остался, наблюдая, стоять на своём месте, а я – на своём, в сторонке.

С ящика быстренько содрали крышку, и все четверо, сгрудившись, запустили в него руки и принялись шуровать. Это сильно смахивало на обыск: из чрева ящика полетели на пол увязанные в стопки книги, кухонная утварь, старинный медный самовар, спасённый от конфискации ковёр из отцовского кабинета. Наконец, появилась на свет барсова шкура.

- Снежный барс! – удивлённо вымолвил начальник. – Запрещено к вывозу!

- Запрещено шкуру вывозить, - проявил я знание таможенных правил. – А если шкура на подкладке – это уже будет меховое изделие; мой барс на подкладке, сами видите.

- А где ты его взял, этого барса? – не скрывая ехидства, спросил начальник.

- Поймал, - я ответил.

- В какой это комиссионке ты его поймал? – продолжал он ехидствовать.

В ответ я достал из кармана бумагу с печатью и молча протянул начальнику.

«Без права передачи другим лицам. Государственная инспекция по охоте, - держа документ на отлёте, негромкой скороговоркой читал начальник. - Лицензионное удостоверение номер шестьдесят пять. Выдано Маркиш Д. П. Разрешается отстрелять следующие виды диких зверей: двух козорогов-теке... и отловить одного барса...»

- И двух волков, - дополнил я не без гордости. – Тоже разрешение дали.

- Волков можно без разрешения, - со знанием дела уточнил начальник и продолжил допрос: – Где всё это было, ты мне скажи?

- Если от Дараут-Кургана ехать верхом по Заалайской долине, - охотно поделился я с начальником, - к вечеру спустимся с Терсагара и приедем в Алтын-Мазар. Вот там...

- Ты, значит, был в Алтын-Мазаре? – почему-то радостно удивился начальник. – Не свистишь?

- Я там был пять раз, - сказал я, ничуть не обижаясь на начальника за его недоверие. Плевать я хотел на этого начальника. – Летом и зимой. Ходил на Федченко, на ледник.

- Ну, назови хоть одного кого-нибудь из Алтын-Мазара! – решил, как видно, проверить меня начальник. Таможенники, прекратив рыться в моём ящике, слушали наш разговор с большим интересом. Такой разговор, возможно, впервые звучал в товарном пакгаузе для выезжающих евреев.

- Зачем одного! – сказал я и пожал плечами. – Там всего пять кибиток, пять, значит, семей: Кадам Кудайназаров, старик Абдильда, Иса, Сегиз и таджик Гульмамад с красной бородой.

Начальник слушал меня с удовлетворением.

- А за Алтын-Мазаром, за арчовым лесом, стояла гидрометеостанция, - экзамен, кажется, близился к концу. – Там русские работали, муж с женой. Знаешь?

- Шуркины, - сказал я. – Они уехали куда-то. Станцию закрыли, они и уехали.

- Вот этого я не знал... - сказал начальник и к моему распотрошённом ящику шагнул стремительно. – Давайте, кончайте быстро! – приказал он своим. – Кладите всё назад, и, смотрите, чтоб ничего не пропало. Книги, кастрюли – всё кладите, что есть! И заколачивайте.

Потом он подошёл ко мне вплотную и спросил, чуть понизив голос:

- Горючее привёз?

- Коньяк и водка. – Я знал, что на таможенню надо брать с собой спиртное.

- Водку отдай ребятам, а коньяк неси ко мне в кабинет, - он усмехнулся беспечно. – Вон в ту коморку.

- У меня там ковёр отцовский, в ящике, - удержал я начальника. – Старый. На него справка есть из музея, на вывоз. Пошлина почти тысяча рублей. Деньги я привёз.

- Давай сюда справку,- распорядился начальник.

Приняв бумажку, он, не глядя, разорвал её сначала на две части, потом на четыре, потом в клочья. А клочья сунул в карман.

- Ну, давай, неси, - сказал он.

В закутке было тесно: стол и два стула вмещались с трудом. Я вошёл и, не тратя времени, поставил на стол бутылку коньяка.

- Ну, садись, - сказал начальник, откупоривая и наливая в стаканы, извлечённые из ящика стола. – За знакомство! Александр меня зовут, Саша. Я служил начальником погранзаставы за Алтын-Мазаром, по ту сторону реки.

Теперь всё встало по своим местам. Значит, он там служил, и Алтын-Мазар ему, как и мне, совсем не чужой! Вот ведь как прихотливо сплетаются истории, из которых состоит наша жизнь: всего за несколько часов до отъезда из России навсегда, встречаю при диких обстоятельствах родственного мне по любви к Памиру русского человека, отогревшего мою душу, оледеневшую за два года отказа... А, может, «навсегда» - не нашего ума понятие?

- Я – капитан, - сказал Саша. – А ты - кто?

- Писатель, - сказал я. – Рядовой необученный.

- Я вот смотрю – люди едут и едут... - сказал капитан. – Думаешь, тебе там лучше будет?

- Лучше или хуже – это как поглядеть, - сказал я. – Зато я уверен: будет хорошо!

- Там Памира-то нет, - сказал Саша. – Барсов нет...

- Алтын-Мазар – здесь останется, это факт. Но ни я, ни ты, - перейдя на «ты», сказал я Саше, - туда жить не поехали, хотя лучше нигде ничего не найдёшь на свете. Я там хотел кибитку поставить и остаться – меня местные отговорили: «Каждый человек, - говорят, - должен жить на своём месте, среди своих».

- Да, вообще-то так, - согласился капитан. – Ты прав... - Когда пьёшь на двоих бутылку коньяка из гранёных стаканов, обращение на «вы» - нонсенс. – Но ты ведь шкуру эту везёшь в Израиль не шубу с неё шить, а на память!

Я кивнул: да, на память. Конечно.

Мою историю о том, как мы с Кадамом ставили капкан на барсовой тропе над Каинды, как зверь, не смотрящий под ноги, в него угодил и стальная дуга перебила ему лапу, - эту историю Саша слушал внимательно, но без особого интереса: он знал не хуже меня, как ловят снежных барсов-ирбисов на Памире. Лишь один раз он одобрительно кивнул головой, когда я мельком упомянул, что наш капкан на тропе не был заправлен привадой: ещё бы, какой дурак станет заправлять, если барс в жизни никогда не возьмёт чужую убоину – только свою!

- Ну, удачи тебе! – сказал капитан, дослушав и допив. – С Богом! Чтоб на всех хватило!

Я запомнил доброго русского человека Сашу с московской таможни. Иногда мне кажется, что и он меня сохранил на окраине своей души.

А барсова шкура служила моей памяти ещё полных два десятка лет. Я смотрел на неё, растянутую на стене, и видел Алтын-Мазар, и Кадама, и Абдильду, и краснобородого таджика Гульмамада у их кибиток. И Кадамова иноходца видел – рассёдланного, разнузданного, обалденно купавшегося в пыли.

Всему приходит срок, и шкуре памирского ирбиса тоже: шерсть сошла, кожа засохла и растрескалась. Может, средиземноморский климат не подошёл снежному барсу – не знаю... Я снял рассыпающееся «меховое изделие» со стены и похоронил во дворе, под старой оливой, немного похожей на арчу.

Со смертью барсовой шкуры память моя не оскудела. Я бережно вспоминаю головоломный спуск с Терсагара, Алтын-Мазар на берегу реки Мук-Су и отвесный язык ледника Федченко. И зорко храню старую фотографию: счастливый иноходец купается в пыли.

Гусар летучий: турецко-французский сефард Нисим де Камондо

На протяжении веков образ еврея ассоциировался - в том числе и самими евреями – исключительно с мирными занятиями: ремеслом и торговлей, медициной и финансами, музыкой и религиозным учением. О евреях-воинах вспоминали разве что при чтении Библии, насыщенной описаниями древних сражений, в которых прославили себя Самсон и Давид, Гидеон и Маккавеи. Представление о мирном еврее, вздрагивающем от одного вида ружья или сабли, стало меняться только во второй половине 19-го века, когда многие тысячи евреев оказались – часто без особого энтузиазма - в рядах армий Пруссии и Франции, Австро-Венгрии и Великобритании, и приняли участие в войнах, которые эти страны вели друг с другом на европейском континенте и за его пределами. Во всех этих странах евреи к тому времени пользовались полным гражданским равноправием (чего нельзя сказать о России) и могли при желании рассчитывать на военную карьеру, вплоть до высших офицерских чинов.

Окончательно стереотип еврея – "шпака" (пользуясь русской презрительной кличкой для всех невоенных мужчин) сломала Первая мировая война, в которой евреи сражались во всех воюющих армиях, как основных, так и менее значительных, таких как турецкая, итальянская и румынская. Этот очерк – об одном из еврейских героев той войны.

Путь война

5 сентября 1917 года небо над живописной деревенькой Ремонкур недалеко от Нанси в Лотарингии было облачным. Это и помешало экипажу французского разведывательного

биплана Dorand AR.1 эскадрильи F33, выполнявшему воздушную рекогносцировку прямо над линией фронта, вовремя заметить пару германских истребителей. Пулеметным огнем с дистанции 50 метров был убит летчик-наблюдатель лейтенант Луи дез Эссар – потомок легендарного королевского мушкетера, под началом которого якобы служил д'Артаньян – но до этого он успел все же всадить очередь в бензобак одного из вражеских самолетов. Тот загорелся и вышел из боя. Второй член французского экипажа, пилот лейтенант Ниссим де Камондо, будучи ранен в голову, попытался совершить вынужденную посадку на опушке леса, но не смог предотвратить крушение своего самолета. Прибежавшие на место катастрофы германские солдаты с воинскими почестями похоронили двух вражеских авиаторов на кладбище деревни Парруа. По окончании войны прах Ниссима де Камондо был перенесен семьей в фамильный склеп на парижском кладбище Монмартр.

Весть о гибели Ниссима де Камондо быстро достигла Парижа и повергла в глубокую печаль обитателей роскошного особняка на рю де Монсо – родного дома лейтенанта, его отца Моиза де Камондо и сестры Беатрис. Мать Ниссима, Ирен Каэн д'Анвер, в детстве запечатленная Огюстом Ренуаром на его знаменитом портрете "маленькой Ирен", была в разводе с отцом и жила отдельно. Скорбящих мало утешили и сочувственное письмо Марселя Пруста, давнего друга семьи, и указ президента Франции о посмертном награждении Ниссима орденом Почетного легиона в дополнение к имевшимся у него при жизни Военному кресту с пальмовыми ветвями и медалям.

Лейтенант Ниссим де Камондо с самого начала своей карьеры военного авиатора пользовался репутацией мужественного, хладнокровного и находчивого летчика – сначала наблюдателя, а затем пилота, никогда не бросавшего в бою своих товарищей. Вот что писалось о нем в приказе по 6-й армии от 15 декабря 1916 года: «Лейтенант Ниссим де Камондо, наблюдатель эскадрильи F33, отличается как своей смелостью, так и хладнокровием,

не менее важными, чем его профессиональное мастерство. Во время сражений при Вердене и Сомме, где был задействован армейский корпус, ему благодаря своей храбрости удалось выполнить значительное число заданий по аэрофотосъемке, бывших очень опасными из-за яростных атак сильно вооруженных истребителей противника».

Ниссим получил удостоверение военного пилота в ноябре 1916 г., но Первая мировая война началась для него гораздо раньше, в августе 1914, когда младший лейтенант запаса де Камондо прибыл по мобилизации в свой гусарский полк. Каким же образом парижский плебей из богатейшей банкирской семьи угодил в гусары? Самым естественным: другой военной службы он для себя и не мыслил. В седле он уверенно сидел с детства, благо отец содержал одну из лучших в Париже конюшен породистых лошадей (хотя данное обстоятельство оказалось вредным для семейного счастья миллионера: его жена, мать Ниссима и бывшая ренуаровская "маленькая Ирен", предпочла ему его собственного управляющего конюшней – правда, не абы какого, а настоящего итальянского графа. О скандальном бракоразводном процессе захлеб писала вся парижская пресса. Но это так, к слову). Весь парижский высший свет, а в особенности юные девицы на выданье и их маменьки, в один голос одобрили элегантный гусарский мундир, как влитой сидевший на позвякивающем шпорами и побрякивающем саблей стройном новобранце.

Первоначально Ниссим был в 1911 г. зачислен во 2-й гусарский полк, дислоцировавшийся в городе Санлис в 40 километрах к северу от Парижа. Полк был основан еще в 1735 г. и с тех пор участвовал почти во всех войнах Франции, особо отличившись в сражениях при Аустерлице, Фридланде и Сольферино. Девизом полка с самого начала и по сей день - да-да, полк существует и сегодня в виде бронетанковой разведывательной части - было "Noblesse oblige, Chamborant autant" – "Честь обязывает, и Шамборан тоже". Маркиз де Шамборан был первым командиром полка во времена Людовика XV. Во времена же Ниссима де

Камондо полком командовал полковник Огюст Карле де Карбоньер.

Как и полагалось во французской армии, службу Ниссим начал в самом младшем солдатском чине "кавалериста 2-го класса". Хотя он наравне с прочими новобранцами жил в казарме и выполнял все солдатские обязанности, социальное положение и воспитание давали о себе знать. В то время как остальным новобранцам приходилось учиться верховой езде, обращению с оружием и премудростям стрельбы из карабина и револьвера, с седла и из пеших положений "стоя", "лежа", "с колена" и "прикрывшись лошадь" – для Ниссима все это было давно пройденным этапом. Об отцовской конюшне мы уже упоминали, а еще его отец очень любил охоту, прекрасно стрелял, состоял в нескольких охотничьих клубах и часто брал сына с собой поохотиться в угодьях многочисленных друзей и приятелей из французской аристократии (при этом, к удовольствию своих охотничьих приятелей, на добытую дичь ни отец, ни сын не претендовали, соблюдая еврейские традиции кашрута). Часто такие охоты включали многочасовую скачку верхом по лесам и лугам в погоне за дичью. Поэтому немудрено, что уже через полгода Ниссим был за лихую езду и меткую стрельбу произведен в капралы, а по-кавалерийски – в бригадиры (не путать с одноименным генеральским чином!).

Единственное, что не очень нравилось Ниссиму в прославленном полку, так это цвета его униформы: сочетание коричневого доломана с лазоревыми чакчирами было не по вкусу юноше, выросшему в окружении великолепной коллекции искусства, украшавшей семейный особняк. Поэтому, когда в 1912 г. в Санлис был передислоцирован из Реймса 3-й гусарский полк, Ниссим с большой охотой и без труда перевелся туда – командование было только радо и заполучить отличного кавалериста, и через него познакомиться с богатым и влиятельным семейством. Новый полк был не таким старинным, но также отличился при Йене, Фридланде и Эйлау. А самое главное – куда более изящное сочетание

серебристо-серых доломанов с красными чакчирами теперь радовало глаз как самого молодого эстета, так и знакомых юных парижанок.

В те времена французская армия еще не обеспечивала своих солдат-евреев кошерным питанием. Ниссим без труда договорился с местной еврейской семьей и по будням столовался у них, а на выходные дни уезжал домой – благо поездка по железной дороге от Сенлиса до парижского Северного вокзала отнимала немногим дольше часа.

Через год, в ноябре 1913 г., Ниссим закончил обязательную службу и был уволен в запас в чине сержанта. Вернувшись в Париж, он по договоренности с отцом поступил стажером в крупнейший и уважаемый банк *Vanque de Paris et des Pays-Bas*, чтобы набраться там опыта, необходимого для постепенного принятия от отца ответственности за семейный банковский бизнес. Трудился Ниссим в банке с усердием, не всегда свойственным миллионерским сынкам, тем более с гусарскими замашками, и его начальство, встречаясь по делам с де Камондо-отцом, не могло за кофе и сигарами нахвалиться трудолюбием, острым умом и деловой хваткой де Камондо-сына.

К сожалению, длилась эта мирная идиллия недолго. В июне 1914 в Сараево выстрелы сербского недоросля в добродушного австрийского эрцгерцога и его симпатичную жену положили конец спокойствию на европейском континенте. 3 августа Германия объявила войну Франции - и снова, как в давние времена, прозвучал призыв "Марсельезы": *Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons!* [К оружию, граждане, формируйте свои батальоны, марш, марш!]. Обуреваемые патриотическим энтузиазмом ситуайены толпами осадили призывные пункты, но нашего начинающего банкира среди них не было – он решил не терять времени (а то еще победят чертовых бошей без него!) и в тот же день отправился напрямик в свой 3-й гусарский полк.

Уже 1 сентября в приказе по полку значится: «21 августа во время патрулирования вокруг деревни Меллет четверо гусар под командой сержанта де Камондо были встречены винтовочным огнем противника и немедленно вступили в перестрелку. Один из всадников был ранен и упал наземь, причем собственная лошадь придавила его. Сержант де Камондо тут же спешился и под огнем вызволил раненого, после чего трое гусар атаковали противника, убив двоих немецких кавалеристов и взяв в плен троих. Остальная часть отряда противника, насчитывавшего 15 кавалеристов, бежала. Этот боевой подвиг был отмечен приказом по 3-й кавалерийской дивизии».

13 марта 1915 г. Ниссим де Камондо был произведен в младшие лейтенанты. К этому времени французскому командованию стало окончательно ясно, что время лихих кавалерийских атак с саблями наголо безвозвратно ушло, тем более в позиционной траншейной войне, к которой перешли противники на Западном фронте. В кавалерийских частях стали создаваться спешенные эскадроны, и Ниссим был переведен в такое пешее подразделение 21-го драгунского полка. Некоторым утешением служило то, что сам полк все же не пехотный, а какой ни на есть кавалерийский.

8 ноября 1915 г. с Ниссимом случился приступ аппендицита, его эвакуировали в Париж и там прооперировали. Довольно длительное время пришлось лежать в госпитале, после чего лейтенанта отправили в армейский реабилитационный центр в приморском курортном городке Довиль – куда его семья частенько выезжала на морские купания в безоблачные предвоенные годы. На долгую реабилитацию терпения у Ниссима не хватило, нужно было возвращаться на фронт – но вот в каком качестве? Снова в "пешие кавалеристы" не хотелось, возвращению в гусары препятствовало заключение врачебной комиссии. Принять решение помог случай – знакомство с летчиком, поправлявшимся после ранения там же в Довиле.

Надо сказать, что Ниссим давно с интересом и восхищением поглядывал на редкие тогда во французском небе аэропланы. Авиастроительных фирм во Франции было много, их имена были у всех на слуху: Фарман, Ньюпор, Блерио, Вуазен, Доран, Моран-Сонье, Спад... Но все они вместе к началу Первой мировой войны снабдили армию всего-навсего 132 боевыми самолетами, объединенными в 21 эскадрилью. Это уже к концу войны самые мощные тогда в мире французские военно-воздушные силы выросли до 3222 самолетов. Отец Ниссима интересовался новейшей техникой – помимо конюшни лошадей, он владел и одной из лучших в Париже "конюшен" дорогих автомобилей, в том числе первой спортивной машиной. Ниссим еще до военной службы освоил вождение отцовских автомобилей и разобрался в их устройстве, поэтому рассказы приятеля-летчика о сложностях управления аэропланом и непостижимых премудростях авиационных моторов вызывали у него лишь снисходительную улыбку. Он только все более убеждался в созревающем решении сменить уходящую в прошлое кавалерию на куда более современный и не менее геройский и романтический род войск – авиацию.

15 января 1916 года бывший гусар младший лейтенант Ниссим де Камондо прибыл к своему новому месту службы - в эскадрилью MF33 Aéronautique Militaire, действовавшую в районе крепости Верден, и приступил к освоению профессии летчика-наблюдателя. По окончании курса он был повышен в чине до лейтенанта. Остальное нам уже известно...

Памятник

В тихом 17-м округе Парижа, всего в четверти часа ходьбы от Елисейских полей и неподалеку от православного собора Александра Невского, зеленеет небольшой и уютный парк Монсо. А рядом с ним стоит необычный памятник отважному гусару и летчику Ниссиму

де Камондо. В дневные часы каждый желающий может, уплатив несколько евро, войти внутрь этого памятника и и провести пару часов в созерцании прекрасных интерьеров и первоклассной коллекции декоративного искусства. Но если вам еще не стукнуло 26 – платить не нужно, для вас вход бесплатный. В память того, что именно до этого возраста не дожил Ниссим де Камондо, имя которого носит музей, расположившийся в его семейном особняке: Musée Nissim de Camondo.

Кто же такие де Камондо с их огромным богатством и страстью к коллекционированию чего угодно – предметов искусства, лошадей, автомобилей и захватывающих приключений?

Корни семьи Камондо – в средневековой Испании, где еще с римских времен жила многочисленная и благополучная еврейская община. Испания на иврите – "Сфарад", поэтому испанских (а заодно и португальских) евреев называют сефардами. Но в 1492 г. случилось массовое изгнание евреев с Пиренейского полуострова, и множество сефардских семей переселилось в Османскую империю. Турецкий султан и его правительство с распростертыми объятиями встретили своих новых подданных, и в течение всего нескольких десятков лет они прочно обосновались во всех странах, входивших в огромную и могущественную империю – в том числе и в ее столице Стамбуле, бывшем византийском Константинополе. В их числе была и состоятельная семья Камондо, перебравшаяся в Турцию после довольно длительной "промежуточной остановки" в Венеции.

Прапрадед нашего героя Абрахам-Саломон Камондо, которого считают основателем «династии», родился в Константинополе в 1781 г. В 1832 г. он унаследовал банк «Isaac Camondo et Cie», основанный его братом, который умер бездетным. Значительно развив его на европейский манер, он превратил свой банк в одно из крупнейших финансовых учреждений Турции, которое предоставляло кредиты и займы Ближневосточной Порте - османскому правительству, с которым у Абрахама и его семьи

сложилась прекрасные, доверительные отношения. Ему даже удалось побудить султана издать фирман, в силу которого иностранцы отныне могли владеть землей в пределах Османской империи.

Будучи дальновидным человеком, Абрахам-Саломон Камондо внес значительный вклад в строительство европейской части Константинополя, особенно квартала Галата, где его именем названы улица, здания, знаменитая лестница и бани. Он также был щедрым филантропом; озабоченный интеграцией своей общины в Османскую империю, он стремился направить ее на путь современности, особенно с помощью образования. Заботясь об интересах евреев, Камондо организовал в Константинополе центральную консисторию турецких евреев и ввел целый ряд реформ в их общественную жизнь. В 1858 г. он основал в Пери-Паша (предмесье Константинополя, населенное бедняками) училище, носящее название Institution Camondo.

Абрахам-Саломон чувствовал сильную привязанность к Италии, где его семья нашла убежище и провела длительное время перед тем, как перебраться в Константинополь. С теплом вспоминая годы, проведенные его предками и им самим в Венеции и Триесте и проявив и здесь завидную дальновидность, Абрахам-Саломон оказал значительную финансовую поддержку усилиям короля Виктора Эммануила II по объединению страны. И когда это наконец произошло, то благодарный король в 1867 г. возвел все семейство Камондо в дворянское достоинство с потомственным графским титулом и гербом, на котором красовались латинский девиз "Fideset Charitas" – "Вера и милосердие" и, среди прочих геральдических атрибутов, шесть золотых дукатов, недвусмысленно намекавших на причину королевской милости. Поэтому сам Абрахам-Саломон и его старшие мужские потомки по праву величали себя графами де Камондо. Наш же герой графом стать не успел, поскольку ушел из жизни раньше своего отца Моиза. Если бы графство было французским, то

Нисим носил бы титул виконта, но у итальянских дворян такое не было заведено.

В 1869 году Абрахам-Саломон вместе с взрослыми внуками (единственного сына к тому времени уже не было в живых) перебрался в Париж, где он умер в 1873 г. Он был с большой помпой похоронен в семейном мавзолее на стамбульском кладбище Хаской в присутствии верховного визиря и всей столичной элиты.

Деда нашего героя звали, как и его, Ниссим. Он родился в Константинополе в 1830 г., и там же в 1855 появился на свет отец Ниссима-младшего Моиз. В Париже Ниссим-дед купил особняк на улице де Монсо, 63, а его брат Абрахам-Бехор выстроил себе особняк на соседнем участке. Между братьями не было соперничества, они были преданы друг другу и едины в своем желании стать частью парижского высшего общества, не отказываясь при этом от своих связей с Востоком. Как и его брат, Ниссим устраивал щедрые приемы и начал собирать коллекции картин и предметов прикладного искусства. Оба брата стали привычными фигурами на парижской фондовой бирже, а изысканного и элегантного Ниссима можно было часто увидеть в опере, на скачках и на фешенебельных курортах. Это привлекало озлобленное внимание многочисленных писателей и журналистов-антисемитов. Впрочем, ни самих де Камондо, ни французское правительство данное обстоятельство нисколько не смущало, и в 1882 г. оба брата были награждены орденом Почетного легиона "за выдающиеся заслуги перед Французской республикой".

Полностью включившись в экономическую и социальную жизнь Франции, братья де Камондо продолжали поддерживать тесные связи с Турцией и представлять интересы Италии. Ниссим был избран президентом Итальянского благотворительного общества в Париже и даже председателем Итальянского комитета Парижской всемирной выставки 1889 года – той самой, для которой была сооружена Эйфелева башня. Но в том же году оба брата скончались один за другим, и все дела перешли к их сыновьям.

Следующее поколение семьи де Камондо, двое двоюродных братьев, Исаак (сын Абрахама-Бехора) и Моиз (сын Ниссима), также стали успешными бизнесменами, заметными деятелями мира искусства и энергичными и щедрыми коллекционерами. Обладая более разносторонними интересами, Исаак собрал впечатляющую коллекцию произведений искусства XVIII века, японских гравюр, предметов дальневосточного искусства и картин импрессионистов. Это собрание он в 1911 г. завещал национальному музею Лувр.

В отличие от кузена, Моиз интересовался только французским XVIII веком. Более того, ему захотелось иметь и дом в соответствующем стиле, где он мог бы гармонично разместить свою коллекцию. Без долгих размышлений он выбрал за образец ни более ни менее как Малый Трианон в Версале, построенный по приказу Людовика XV для маркизы де Помпадур. Задумано – сделано: в 1911 г. отцовский особняк был снесен, и на его месте модный архитектор Рене Сержан построил новый - наподобие Малого Трианона, но со всеми достижениями современного XX века. В доме были система отопления с теплым фильтрованным воздухом, сжатый воздух использовался для лифтов и системы пылеудаления, ваннные комнаты были оборудованы по последнему слову санитарии и гигиены. Все, что только тогда было возможно, было электрифицировано. На случай перебоев в не очень надежном тогда электроснабжении имелся комплект батарей Leclanché, установленных в подвальных шкафах. В традиционных еврейских домах всегда было принято пользоваться отдельными кухонными принадлежностями для мясной и молочной пищи, но Моиз де Камондо этим не удовлетворился, поэтому полностью оборудованных просторных кухонь было две: мясная и молочная.

Сержан сохранил планировку внутреннего двора и сада бывшего особняка на улице де Монсо, но переделал хозяйственные постройки. С одной стороны располагались конюшни для лошадей, которые использовались для верховой езды в близлежащем Булонском лесу. Флигель с

другой стороны переоборудовали в гараж для автомобилей с ремонтной мастерской и квартирами для "шоффэров".

Коллекция

Почти все предметы, собранные графом Моизом де Камондо, представляют французское декоративное искусство второй половины XVIII века.

Старинные деревянные панели служат фоном для роскошной мебели. Предметы эпохи рококо, такие как пара лакированных угловых шкафов с опорами из позолоченной бронзы, отличаются превосходным качеством. Множество разнообразных предметов мебели эпохи Людовика XVI были тщательно отобраны, и характеризуются элегантной простотой – например, швейный столик для частных апартаментов королевы Марии-Антуанетты в замке Сен-Клу. Многие из предметов были изготовлены для королевских дворцов, например, ширма, для игровой комнаты Людовика XVI в Версале. Мебель дополняют многочисленные каминные и настенные часы, барометры, люстры и настенные светильники.

Стены и полы украшают прекрасные ковры и гобелены фабрик Gobelins, Beauvais и Aubusson. Великолепная серебряная посуда из т. н. "Орловского сервиза" была когда-то заказана российской императрицей Екатериной II парижскому мастеру Роттье, а сервиз «Бюффон» северского фарфора украшен изображениями птиц из «Естественной истории птиц» выдающегося натуралиста графа де Бюффона.

Картины и скульптуры в залах особняка отражают вкусы их коллекционера. Помимо портретов Элизабет Виже-Лебрен и Франсуа-Юбера Друэ, тут есть виды Венеции Франческо Гварди, пейзажи Юбера Робера и уникальная серия эскизов, написанных Жан-Батистом Удри для гобеленов «Королевская охота Людовика XVI».

Моиз де Камондо продолжал пополнять и совершенствовать свою коллекцию до своей смерти в

1935г. По его завещанию особняк со всем содержимым перешел в дар общественной художественной организации Les Arts Décoratifs с условием: не меняя ничего в доме, превратить его в доступный для широкой публики музей, назвать его именем Ниссима де Камондо и... бесплатно пускать туда всех молодых людей, кому не стукнуло еще 26 лет. Так оно с тех пор и повелось.

Сегодня семьи де Камондо более не существует. Дочь Моиза и сестра Ниссима, красавица и чемпионка конного спорта Беатрис, а также ее муж Леон и дети Фанни и Бертран были в 1942 г. арестованы и помещены в концлагерь Дранси, а в 1944 отправлены в нацистский лагерь смерти Освенцим, откуда уже не вернулись. Так что прекрасный особняк на рю де Монсо 63 можно считать памятником и им тоже, и всей этой удивительной семье.

Это мы – евреи: «русим», «марокаим», «грузиним», «курдим» и все остальные...

«Поражающей кажется ксенофобия на общинной почве в стране, в которой огромная часть народа вышла из диаспоры».

Из израильской прессы

В любом многонациональном государстве или устойчиво существующем достаточно многочисленном полиэтническом обществе литература, разговорный язык, устное фольклорное творчество (в данном случае - «этнический» анекдот) неизбежно с определенной степенью объективности отражают настроения, противоречия и проблемы отношений между этническими группами или общинами. В этом жанре сознательно утрировано, а порой нереально гиперболизированно проявляются особенные этнопсихологические черты, характерные для представителей различных национально-религиозных групп. В Израиле, преимущественно еврейском государстве по составу населения, это в полной мере относится к бытовым, межличностным, а нередко прорывающимся в широкую печать и на эстраду характеристикам, как правило, негативных черт характера, приписываемых представителям разных общин и выходцам из различных стран мира.

1

Культурно-психологический фундамент еврейской общины в Палестине сформировался в общих чертах к концу британского мандатного правления. Провозглашение государственной независимости и последовавшая за этим массовая иммиграция евреев в Израиль, в результате

которой еврейское население страны удвоилось за первые четыре года существования страны, изменили структуру и состав общества. В результате образовались две основные социальные группы: большинство, состоявшее главным образом из поселенцев-«старожилов» и выходцев из послевоенной Европы, переживших Катастрофу европейского еврейства, и относительно многочисленное меньшинство новых израильтян из мусульманских стран Северной Африки и Ближнего Востока. Как результат, еврейское население Израиля, будучи в принципе моноэтническим, насчитывает, например, свыше 140 антропологических типов.

Если для основной части евреев, живших в Палестине еще до провозглашения Государства Израиль, были характерны твердые идеологические убеждения, дух первопроходцев и демократический образ жизни, то многие евреи, чьи предки веками жили в арабских странах с патриархальным общественным укладом, были незнакомы с демократическим процессом и требованиями современного общества, им было трудно интегрироваться в быстро развивающуюся экономику молодой страны. В значительной мере в силу этого в израильском обществе сформировался отрицательный образ восточного еврея как безграмотного, ленивого, склонного ко всяческим порокам. В свою очередь, неприязнь сефардов к ашкеназам, занявшим в первые десятилетия существования Израиля ключевые посты практически во всех сферах жизни в стране, не могла рано или поздно не проявиться в обществе.

В конце 50-х гг. эти две общины сосуществовали, практически не поддерживая между собой социальных и культурных связей. Более того: протест сефардов против доминирования ашкеназов в израильском обществе выливался в организованные формы. Так, в августе 1971 г. в Иерусалиме прошли первые демонстрации протеста, проведенные организацией сефардов «Черные пантеры». «Пантеры» организовали в некоторых районах бедноты настоящие восстания. Участники беспорядков и акций

протеста, в частности, резко выступали против приезда в Израиль евреев из СССР, видя в них приток все новых «ашкеназим», отнимающих у них работу, жилье и социальное положение. Просуществовав несколько лет, эта экстремистская группа прекратила свою деятельность, а ее наиболее активные члены перешли в другие общественно-политические образования и партии.

И все же религиозная общность, историческая память и национальная сплоченность еврейского населения страны оказались достаточно сильными, чтобы противостоять этим испытаниям. К 1980-м годам социально-этнические движения протеста прежних лет практически сошли на нет, бывшие ранее изолированными группы населения продвинулись в образовательном и социально-экономическом отношении, резко увеличился процент межэтнических браков. Тем не менее, сегодня этнические различия по-прежнему проявляются в основных аспектах жизни израильского общества: образе жизни, культуре, религии, политике, в общественной сфере. Общий социальный разрыв между сефардами и ашкеназами продолжает существовать, хотя за более чем семьдесят лет израильской государственности должен был нивелироваться в соответствии с некогда усиленно внедрявшейся правящим истеблишментом теорией «плавильного котла».

Уже с самого раннего детства многие израильтяне проникаются этническими предрассудками. Так, согласно недавнему опросу, половина пяти-шестилетних детей, выходцев из восточных общин, признались, что, когда вырастут, хотели бы стать... ашкеназами.

Общей характеристикой многочисленных устойчивых социально-этнических стереотипов является утрированное представление негативных черт представителей каждой этнической общины. Особенно ярко и неприкрыто это проявляется в разговорном иврите, многочисленных анекдотах и программах и выступлениях популярных эстрадных сатирических групп («Бледнолицый следопыт», «Всего и делов-то», «Камерная пятерка», «Комедийный

магазин», «Ночь с Говом», «Чистка мозгов», «Прекрасная страна» и др.).

Представители каждой из значительной по численности этнической волны (общины) по прибытии в Израиль немедленно получали обобщающее наименование. Все они – евреи, но в Израиле становились «русскими» (русим), «поляками» (поланим), «румынами» (романим), «венграми» («иген-миген» – «иген» по-венгерски «да», вторая часть – звукоподражательное слово), «немцами» (йежим), «грузинами» (грузиним), «курдами» (курдим), «йеменцами» (тейманим), «марокканцами» (марокаим), «персами» (парсим) и т.д. Понятно, что это – прагматически упрощенное и собирательное (например, выходцев из Украины также называют «русскими») наименование по стране исхода.

В некогда очень популярном израильском кинофильме «Луль» есть сцена, в которой в течение считанных минут смоделирована история еврейского заселения Палестины в новое время. Два персонажа, роли которых исполняли культовые актеры - певец Арик Айнштейн и Ури Зоар¹, изображают местных евреев, встречающих иммигрантов на берегу моря. «Будь проклят тот корабль, который привез вас сюда!» – кричат коренные палестинские евреи только что прибывшим из России переселенцам первой «алии». «Какого хрена вы сюда приперлись?» – кричат старожилы первой «алии» приехавшим со второй «алией». Те, в свою очередь, посылают проклятия новоприбывшим «грузинам», «грузины» – «полякам», «поляки» – «немцам», «немцы» - евреям из Марокко. На горизонте появляется очередной корабль...

Одновременно возникли и более общие собирательные клички-обозначения выходцев из стран Востока и Северной

¹Любопытно, что Ури Зоар, в молодости воинствующий бонвиван, обожавший грубый и непристойный юмор, с годами удивительно изменил свой облик (кипа - пейсы - борода, типичная одежда религиозного еврея) и образ жизни.

Африки – «чахчахим», «шхорим» («черные»), «шварце» (идиш. – черный), еще сильнее – «шварце хайя» (черное животное). "Йеким" стало означать не только выходцев из Германии, но, зачастую, и ашкеназов вообще, евреев из стран Востока стали называть также «франким».

2

На вершине израильской национально-социальной стереотипизации, разумеется, «сабра». Еврей-уроженец Палестины/Израиля был обязан стать тем, кем не был еврей в диаспоре - сыном своей страны, патриотом, знающим и ценящим свои корни, «файтером», мужественным воином-победителем.

Любопытно, что, как свидетельствует современный израильский писатель Эхуд Бен-Эзер, «первоначально прозвище «цабар» или «сабрес» (на идише) звучало пренебрежительно в устах представителей второй и третьей «алии» по отношению к простым крестьянским парням, уроженцам Палестины». Отголоски этого мы встречаем и позднее, например, у известного израильского сатирика Эфраима Кишона в рассказе начала 50-х гг. прошлого века:

«Вчера довелось мне поговорить с Ювалем-саброй, и я его спросил, какой город, по его мнению, является столицей Испании.

- Куба, - ответил Юваль-сабра, на что я заметил, что не Куба, а Мадрид.

- Ну, - сказал Юваль, - пусть будет Мадрид.

После этого содержательного диалога я погрузился в размышления и спросил себя: что хотел сказать Юваль этим «Ну» перед словом «Мадрид», однако не нашел ответа».

Тем не менее, уже в 30-е и тем более в 40-е годы прошлого века понятие «сабры» было устойчиво сопряжено с одобрением и национальной надеждой. Одновременно уже тогда сформировался стереотип «сабры», содержащий набор исключительных черт:

*«Сабры...
Прелесть наша дика
Тайна ее и образ
Всегда привлекают
Щедрость и красота наша...»*

Поэт Яков Козн

Поколение «сабров», выросшее в еврейской общине Палестины (особенно тех, чье взросление пришлось на годы Второй мировой войны), было воспитано в духе отрицания диаспоры, следствием чего была порой откровенная неприязнь и даже известное презрение к приехавшему еврею. «Сабра» мог сочувствовать им, но не уважал еврейских беженцев из Европы, прибывавших в Палестину/Израиль после Катастрофы. Они ведь «безропотно шли в газовые печи, как стадо, ведомое на бойню», а теперь не говорят на иврите, не подворачивают шорты, свисающие до самых колен (появился даже насмешливый стереотип – «михнесей Зальман» - «штаны Зальмана»), а их хваленая вежливость и воспитанность являются лишним доказательством их слабости и униженности. Из означенного психологическо-поведенческого феномена позднее развились особый стиль речи, резкость, мачоизм, а в худших проявлениях – бесцеремонность и наглость многих представителей последующих поколений «сабров», что даже стало считаться израильской национальной чертой («хуцпа исраэлит»). Всё отмеченное адекватно отражалось в речи этого социального архетипа.

Вот как позднее (уже проецируя ситуацию на новых израильтян из стран Востока) феномен «сабры» сформулировал уроженец Ирака, израильский писатель Шимон Балас. В книге «Синева и пыль поколения сорок восьмого. Автопортрет» (Иерусалим, 1993) он писал: «Понятие «сабра» не относится к выходцам из общин Востока, будучи прозвищем сугубо ашкеназским, ибо «сабра» означает «прекрасный израильтянин», тогда как выходец из восточных общин ассоциируется с евреем

уродливым, являющим собою частицу того Востока, к которому следует относиться с презрением».

Еще шире и откровеннее в социально-этническом плане это выразил, к сожалению, безвременно ушедший из жизни израильско-российский журналист Антон Носик: «...Израиль - страна приехавших. И тот миллион, что там родился, - это белая кость, высшая раса, а те 70 процентов, что приехали, - чуть ли не быдло...».

Тем не менее, следует отметить, что в 60-70-е гг. прошлого века началось раздвоение понятия «сабра». По мере того, как в израильское общество вливались значительные массы относительно однородных в этнокультурном плане эмигрантов из ряда стран (выше названные «марокаим», «парсим», «русим» и т. д.), фактический социально-экономический статус «сабры» в Израиле возрастал. Одновременно общество становилось более многообразным и менее закрытым. Это вело к тому, что в менявшейся ивритской прозе, поэзии и драме мифологический образ «сабры» размывался. Его место занимали разнообразные типы израильтян – обычные реальные люди, многоликое большинство.

Символическим отражением начавшегося процесса стал сборник статей известного писателя Хануха Бартова «Я не мифический сабра», вышедший еще в 1955 г. Литератор писал: «Так можно ли быть «мифологическим саброй»? Конечно же, нет, когда каждый десятый израильтянин прибыл только вчера». Бартов призывал улететь «как можно дальше от мифологического сабры, вернуться назад, к реальному израильтянину, к еврею...».

3

«Вонючие русские украли у нас страну», - в сердцах говорили (или уж точно думали) в 70-80-е годы прошлого века многие коренные израильтяне, раздраженные социально-экономическими льготами и выплатами новоприбывшим из тогдашнего СССР. В 90-е годы XX века в израильских СМИ муссировался миф о «русской мафии» и «русской проституции» в Израиле, хотя все попытки доказать их существование окончились ничем. Множество

газетных публикаций, содержащих непроверенную и неподтвержденную информацию о «русской мафии» в Израиле сформировали у коренного населения страны устойчивый отрицательный стереотип выходцев из России. К этому еще стоит добавить многочисленные бытовые конфликты с ортодоксами, во время которых «некошерные» русские магазины поджигались, расписывались антирусскими граффити и т.д.

Культовая в Израиле сатирическая эстрадная группа «Бледнолицый следопыт» многие годы исполняла на своих представлениях такую сценку-анекдот:

«В купе поезда едут англичанин, русский и израильтянин. Открыв бутылку виски, англичанин делает глоток-другой и выбрасывает ее в окно:

- У нас в Англии этого навалом.

Русский, откусив от бутерброда с икрой, выбрасывает его в окно:

- У нас в России этого навалом.

Израильтянин выбрасывает в окно «русского»:

- У нас в Израиле этих русских – навалом»...

Публика в зале радостно смеется и одобрительно аплодирует...

Даже у обычно корректного в своей сатире Э. Кишона в рассказе «Русские идут!» один из героев - коренной израильтянин - не на шутку пугается, когда чиновник предлагает ему хотя бы временно принять семью «братьев» - иммигрантов из России. Герой: «...они встают рано, начинают шуметь, вы ведь знаете этих пьяниц - поют и пляшут весь день. От них можно с ума сойти. Более того: у них в каждой семье по два-три ребенка. Они совсем не как наши евреи...».

Похоже на момент истины: при всем своём разнообразии евреи в Израиле еще бывают «наши» и «не наши»...

В одном из выпусков телевизионной программы «Слово – не воробей» некогда очень популярный в Израиле актер и телеведущий Дуду Топаз изображает «русского», т. е. еврея из России, который открыл в Израиле свой бизнес и очень доволен. Выясняется, что бизнесмен -

фальшивомонетчик. На суде его спрашивают: «Какие вы можете дать показания?», на что персонаж отвечает: «Я – из России и приехал не для того, чтобы давать, а чтобы брать»...

Тот же Д. Топаз в начале 90-х годов, выступая на телевидении, рассказал такую «шутку»: «Чем русская женщина (то есть, еврейка из России. – А. К.) отличается от фалафеля? Фалафель на шекель дороже».

Подобные «выступления» во многом способствовали тому, что в израильском обществе в середине и конце 90-х гг. прошлого века был устойчиво распространен стереотип алии из России как «алии воров и проституток». В силу целого ряда социально-экономических причин, а также острых коллизий религиозно-этнического плана, в конце 90-х годов в израильском обществе резко обострилась конфронтация между выходцами из СССР/СНГ, с одной стороны, и евреями из восточных общин, а также старожилами и коренными израильтянами, с другой. Отражением этого процесса стал целый ряд драматических событий. В Ашкелоне имело место даже убийство евреями, выходцами из Марокко, молодого человека из СНГ, - причем в форме солдата Армии Оборона Израиля! - фактически только за то, что он говорил по-русски.

Проявления латентной неприязни (если не сказать сильнее) к представителям «русской» общины в той или иной художественной форме находят отражение в израильской литературе. Так, в рассказе одного из самых популярных современных писателей Этгара Кэрета «Аркадий Хильвэ едет на автобусе №5» молодой «сабра» с ненавистью относится к главному герою, думая, что он араб. Когда же оказывается, что мать Аркадия «из Риги», неприязнь коренного израильтянина к согражданину не уменьшается:

«- Сукин сын, - процедил толстый...

- Сукин сын, - снова сказал толстый, на этот раз громко, и плюнул на тротуар возле ног Аркадия.

- Я ведь с тобой говорю, ты, пидор, - толстый поднялся со скамьи и встал перед Аркадием. - ...Вонючий араб.

- Русский, - поспешил Аркадий спрятаться за той половиной своей семьи, которая пока не подверглась нападению. – Моя мать из Риги.

- Ну да? – проговорил толстый с недоверием, - а отец?

- Из Шхема, - признал Аркадий...

- Две болезни в одном теле, - сказал толстый. – Что они еще изобретут, чтобы отобрать у нас работу?..»

Другой израильтянин, уже преклонного возраста, вручает Аркадию подарок, который оказывается бомбой, взрывающейся спустя несколько мгновений. Одновременно читатель узнает, что «эти психи» (коренные израильтяне - А. К.) распяли деда Аркадия на Центральной автобусной станции, а недавно состоялись похороны его отца... Становится понятным, почему Аркадий вынужден ходить по Тель-Авиву с завернутым в газету металлическим прутом, который он при необходимости привычно пускает в дело:

«Аркадий врезал толстому коленом в пах и сразу добавил обрезком железного прута... Аркадий вломил ему еще раз прутом по башке...».

Моральная инфекция плохо скрываемого презрения и самодовольного превосходства над другими проявляется даже в моноязычной среде приехавших из одной страны. Это феномен своего рода эмигрантской «дедовщины». Так, не скрывает своих чувств к приехавшим с «большой алией» конца 80-начала 90-х годов XX в. родившийся в Комсомольске-на-Амуре израильтянин с 1973 года («прозаик», как рекомендует его тель-авивский литературно-художественный журнал «Зеркало») Моисей Винокур, успевший «посидеть» и на «доисторической», и на «исторической» родине. «Прозаик» пишет в популярно-бульварном стиле, с обилием реминисценций из своего тюремного прошлого и описаний малоэстетичных сексуальных сцен, пользуясь соответствующим языком, обильно пересыпанным нецензурными ругательствами и уголовным жаргоном, в том числе и ивритским.

Вот пассаж Винокура из романа с оригинальным названием «Песнь песней» о соотечественниках, приехавших в Землю обетованную на 15-20 лет позже него:

«...Потом, бл-дь, хлынули гунны. С Востока. Толпы гуннов. Орды. Скифы и половцы, запорожцы и гоголи. Открылись хляби небесные и массажные кабинеты. Они перли с кошелками абсорбции наперевес и на их стягах горела кириллица без препинательных знаков. «Читать писать не знаем жрать еб-ть давай» (Пропуски букв мои, орфография и пунктуация автора. – А. К.).

Есть у Винокура и другие емкие определения для сограждан-израильтян. Например, о «своих» - еврейх-выходцах из Восточной Европы, он говорит «славянская жидовня». Но и коренные израильтяне, особенно нерелигиозные левые, ему не нравятся: «киббуцня да волосатики с круглыми очками».

Подобная «проза» кому-то нравится. Так, в литературно-критическом обзоре тогда самой тиражной русскоязычной газеты Израиля «Вести» обозреватель Ш. Виленский одобрительно пишет: «Моисей Винокур давно полюбился израильскому читателю крепко сколоченной фразой, пружинной фабулой, неповторимой лексикой (sic! - А. К.), которую он сам называет «руситом».

А вот типизированный Кишоном разговор между двумя израильтянами с разным стажем пребывания на «исторической» родине:

«...Едва я вышел из кассы, как ко мне обратился пожилой мужчина с морщинистым лицом.

- Куда это ты собрался, Йоскеле? - спросил он меня укоризненно, на что я ответил, что только что купил два билета в кино.

- В кино? - воскликнул старик. - Когда я был твоего возраста, то был счастлив, если мог позволить себе купить соленый огурец на ужин. Но «кино»?! Кто из нас пятьдесят лет назад думал о том, чтобы пойти в кино? По улицам ходили верблюды, а с бульвара Ротшильда можно было увидеть море...

- Вы правы, - сказал я, - но теперь мне нужно идти домой.

- Домой?! - произнес старик пораженно. - Да мы в те годы и понятия не имели, что такое «дом». Мы составляли

вместе несколько пустых бочек, накрывали их досками, заливали гудроном - и это был наш дом, молодой человек. У тебя есть мебель?

- Практически ничего, - ответил я осторожно. - Мы сидим на кирпичах...

- Кирпичи, - застонал старик. - Мы мечтали о кирпичах, но где нам было взять деньги на кирпичи?

- Не знаю, - ответил я. - Вообще-то мы стянули кирпичи с заброшенной стройки...

- Стянули... - проворчал морщинистый. - Я помню, что только после восемнадцати лет жизни в стране я осмелился утащить свой первый кирпич. У нас даже песка не было, простого песка, чтобы лежать на нем. Ты пьешь воду?

- Вообще-то нет... Ну, может быть, раз в неделю.

- Каждую неделю?! - старик вышел из себя, схватил меня за плечи и начал трясти.

- Да ты представляешь себе, милый мой, сколько в Иерусалиме нужно было платить за воду? Распухший язык прилипал к пересохшему небу, а у нас и гроша не было, Йоскеле, ни одного несчастного гроша...

- Я не Йоскеле, - сказал я, - и вообще-то я вас не знаю.

- Ты меня не знаешь? - прокудахтал старикан издевательски. - Да если бы мы в твоём возрасте имели наглость кого-то не знать, нас бы тут же прикончили. Но сегодня, очевидно, все разрешено...».

4

Кличка «марокаи-сакин» (мароканец-нож) отражает взрывной темперамент и опасные брутально-криминальные склонности выходцев из Марокко. Эти общинные черты во многом предопределялись низким образовательным уровнем, соответственно – принижённым социальным статусом в Израиле и отсюда – неприязнью к «белому» ашкеназийскому истеблишменту.

«В поезде из Тель-Авива в Хайфу едут рядом «руси» и «марокаи». «Руси» без конца пиликает на скрипке, выводя из себя «марокаи».

- Может, ты прекратишь, - говорит последний. - Я хочу спать.

- У меня сейчас репетиция, - отвечает «руси», - а в Хайфе - концерт.

Все последующие просьбы «мароккаи» также остались без внимания. Тогда он раздевается догола и начинает мастурбировать.

- Что вы делаете? - кричит «руси» в ужасе.

- У меня сейчас репетиция, - отвечает «мароккаи», - а в Хайфе я тебя трахну».

В израильских тюрьмах у надзирателей-эфиопов (т. е. евреев, приехавших из Эфиопии) есть даже своя кличка – «яйя».

Израильский русскоязычный литератор Михаил Бриман в статье «Школа фобий» анализирует феномен межобщинной конфронтации в Израиле. «Одним из первых неологизмов, услышанных мной в Израиле, стало слово «марокканье». Бриман рассказывает об одном своем знакомом русскоязычном израильянине, который «ни с одним «марокканцем» сколько-нибудь близко знаком не был, что, впрочем, не мешало ему чувствовать себя на голову выше, культурней и образованней любого из них». Автор статьи считает, что, в частности, израильская русскоязычная пресса во многом виновата в развитии настроений межобщинной ксенофобии. Эта пресса «приложила и прикладывает немало усилий, чтобы сформировать представление о нашем «русском» превосходстве над НИМИ: сабрами, «марокканцами», «эфиопами», «румынами».

Понятно, что неприязненно-пренебрежительное отношение ашкеназов к сефардам, а главное - более низкое общественно-экономическое положение последних на протяжении десятилетий существования Израиля не могло не вызвать ответной социальной реакции. После вышеотмеченного движения «Черных пантер» гораздо более серьезными событиями на общенациональном государственно-политическом уровне стали выборы в

Кнессет 1977 и 1981 годов. Тогда впервые после многолетнего доминирования партии МАПАЙ, олицетворявшей «белый» ашкеназийский истеблишмент, большинство мест в Кнессете получил бывший до того оппозиционным блок «Ликуд», который возглавлял польский еврей, то есть классический ашкенази Менахем Бегин. Но победил Бегин благодаря голосам избирателей-сефардов, уставших быть на задворках общества и осознавших себя как внушительную силу, обладающую большим электоральным потенциалом.

Межобщинное противостояние и глухая, однако, временами вырывающаяся наружу латентная хроническая неприязнь с определенной динамикой существует до настоящего времени. Так, за два последних десятилетия произошло становление ряда общественных организаций и политических партий евреев-выходцев из восточных общин. Однако своего рода межобщинный расизм на повседневном бытовом уровне по-прежнему устойчив и неизбытен. «Но сегодня, - пишет известный израильский поэт Шимон Адаф, - существует уже обратный расизм, всеобщая ненависть (сефардов. - А. К.) к ашкенази, которая проистекает из чувства, что мы хуже. Сегодня расизм - это прежде всего расизм «восточных».

5

Персонажами многих израильских анекдотов служат выходцы из Ирана, в просторечии – «парсим». Основная черта характера иранских евреев в анекдотах - бережливость, граничащая с патологической скупостью. Характерные фольклорные примеры:

1. «Парси» выводит жену на прогулку по тель-авивскому району А-Тиква, где множество ресторанно-закусочных заведений. Упоительный запах жарящихся на углях шашлыков сводит с ума и вызывает у супругов обильное слюноотделение.

- Дорогой, может, зайдём? - робко спрашивает жена, задержавшись у входа в ресторан.

- Нет! - отрезает муж. - Давай пройдем мимо еще раз, а ты нюхай, втягивай воздух, дыши глубже - это бесплатно.

2. - Как «парси» посылает деньги сыну, который учится за границей?

- По факсу.

3. «Парси» спрашивает у товарища – сколько времени?

- Без четверти два, - отвечает тот.

- А нельзя чуть поменьше? – интересуется первый.

Если «парси» в уличном фольклоре фантастически жаден, то «курди» – предельно глуп («ана курди» - «я в этом ничего не смыслю», «рош курди» - «тупая голова»), как, впрочем, и «теймани».

1. - Почему курдов нельзя принимать на работу жестянщиками?

- Если один из них будет стучать по жести, остальные примутся танцевать.

2. В Тель-Авиве группа новых иммигрантов из Йемена входит в двухэтажный автобус и стоит на передней площадке. Им предлагают не толпиться и подняться на второй этаж – там свободно. «Вы что, с ума сошли, - отвечают тейманам, - там же нет водителя».

(Анекдот начала 50-х годов прошлого века).

6

30-е годы прошлого века ознаменовались в Палестине приездом нескольких сотен тысяч евреев из Германии, спасавшихся от нацизма. Составлявшие значительную часть интеллектуальной элиты Германии, еврейские профессора, ученые, инженеры, врачи, люди со средствами составляли тогда самодостаточную социально-экономическую группу населения. Они могли позволить себе не принимать местную культуру и не учить иврит. Ашкеназскую культуру евреев Западной Европы эти иммигранты предпочитали полудикой, как они считали, культуре евреев Палестины. Обладатели строгих привычек и правил, педанты и аккуратисты, они во многом изменили облик еврейской общины в Палестине, но и частично сохранили при этом свою культурно-языковую монолитность. Вот как этот социально-этнический феномен на промежуточном этапе (в Израиле 50 - 60-х годов

прошлого века) в своей манере - с тонким юмором и мягкой сатирой - отразил Э. Кишон.

«В тот трагический вечер я был в гостях у доктора Файнгольца. Я отвел его в сторонку, чтобы рассказать замечательный анекдот.

- Послушайте, - начал я. - Два еврея едут в поезде...

- Извините, - остановил меня д-р Файнголец и надел очки. - Кто эти евреи?

- Просто евреи. Не важно...

- Из Палестины?

- Не важно. Ну, скажем из Палестины. Из Израиля. Итак...

- А, я понимаю. Этим вы хотите сказать, что действие происходит после провозглашения Государства Израиль?

- Верно. Не важно. Итак, едут они в поезде...

- Куда?

- Не важно, скажем, в Хайфу. Не важно. Главное: вдруг поезд въезжает в длинный тоннель...

- Тысяча извинений, но по дороге в Хайфу нет тоннеля.

- Ну, так они ехали в Иерусалим! Не важно. Итак...

- Но и на пути в Иерусалим нет тоннеля. Хотя в 1923 году и хотели построить тоннель под горой Кастель, но мандатные власти...

- Не важно! Скажем, они едут не здесь, а в... в Швейцарии! Не важно. Итак...

- В Швейцарии! А какой это тоннель, если позволено спросить? Литсберг или Симплон? Может быть Сен-Готард или Арлберг?

- Да это не важно! - закричал я. - По мне, так пусть будет хоть тоннель Шлезингера!

- Тоннель Шлезингера¹? - д-р Файнголец разразился искренним смехом.

- Чудесно! Тоннель Шлезингера, а?! Классно! Отличный анекдот. Извините меня, я просто обязан рассказать его остальным гостям.

¹ Шлезингер - типично-собирабельная фамилия германских евреев.

И через минуту я услышал, как все они хохочут. А я тихонько вышел в коридор и не спеша повесился».

Кличкой «йекем» евреев - выходцев из Германии стали в палестинской еврейской общине 30-х годах именовать за аккуратную манеру одеваться, как правило – носить пиджак, «жакет». Добавляли и кое-что покруче: «йеке-поц». Евреи из стран Востока считали их узколобыми педантами, прямолинейными и недалекими, плохо адаптирующимися к реалиям новой жизни.

1. Гуляет пара пожилых «йеке» – муж и жена. На мужа какнула птичка, и он спрашивает жену – нет ли у нее туалетной бумаги?

- А зачем, - отвечает та. – Ведь птичка-то уже улетела.

2. В культовом фильме конца 70-х годов прошлого века «Высота Хальфон не отвечает» (вышел в 1976 г., реж. – Аси Даян) один из героев еврей - выходец из Ирака говорит египтянину, как бы своему – восточному: «Ты что!? Сумасшедший ашкенази? Кто же так варит кофе...»

«Романи-ганав» (румын-жулик) не требовало комментариев, а объяснялось зачастую «близостью» к цыганам, значительное количество которых проживало в Румынии. У упоминавшегося М. Винокура находим: «В салоне сидят три румынских строительных раба на диване рядом, как подследственные. Все в кем-то ношенных пиджаках и воняют сивухой», «румынский спидрило в пинджеке мапайника», «мамалыжники!».

Евреи-выходцы из Польши в этнических анекдотах изображаются дураками:

«Поляку удалили половину мозга.

- Как дела? - спрашивают у него.

- Порядок, - отвечает он с марокканским акцентом».

Еврейки из Польши, в свою очередь, наделены народным израильским фольклором таким страшно позорным на Востоке качеством, как фригидность.

«Сидят два поляка в баре.

- Смотри, - говорит один другому, - в стакане плавает ледышка с дыркой.

- Да что тут интересного - я на такой двадцать лет женат».

«Грузины» («швили» на уличном иврите) и «грузинки» в уличном фольклоре - люди чрезвычайно недалекие, нахрапистые, неопрятные и очень волосатые.

Широко известен старый анекдот о «грузини», который, придя в какое-то учреждение, начинает заниматься сексом со своей женой прямо на столе чиновника.

- А что? - недоумевает «швили» в ответ на возмущение окружающих. - Мне говорили, что в Израиле, чтобы чего-то добиться, необходимо обязательно «лидпок аль-ашульхан»¹.

7

Внизу своеобразной лестницы израильских национально-социальных стереотипов - араб. Он - собирательный образ всех негативных черт, отмеченных выше у представителей восточных общин. Соответственно обширно количество негативных наименований, кличек и эвфемизмов, обозначающих араба и все с ним связанное.

«Мкомиим» - «местные, туземцы» - насмешливо-пренебрежительное обозначение палестинских арабов Западного берега р. Иордан и сектора Газа. Это определение четко сформулировал еще известный израильский лингвист-любитель и писатель Дан Бен Амоц в своей постоянной колонке «Раскопки языка», которую он вел ряд лет в конце 80-х годов прошлого века. В выходившей тогда же газете «А-Ир» читаем: «Все жители территорий именуется “местными” в устах представителей израильской военной администрации.

“...У меня здесь два местных, один из Рафияха и один из Хеброна...”».

¹«лидпок аль-ашульхан», здесь – «стучать по столу», в данном случае - настойчиво добиваться своего, громко и уверенно требовать. Второе, сленговое значение этого глагола – «трахать». «Грузини» из анекдота так это и понял.

Жителей (еврейских - А.К.) поселений никогда не называют «местными». Они – «поселенцы».

На сленге арабов могут называть и «индианим» - то есть, индейцы, местные, туземцы, аборигены.

«Некто пришел в антикварный магазин и на одной из полок увидел симпатичную мышь из меди.

- Сколько стоит, - спрашивает покупатель хозяина.

- С историей - 100 шекелей, без истории - 10, - отвечает тот.

Некто платит 10 шекелей, берет мышь и уходит. Он идет по улице и вдруг видит, что следом за ним бегут 50 мышей. Человек прошел еще сто метров, а за ним бегут уже 500 мышей. Охваченный ужасом, обладатель медной мыши бежит к морю, а за ним - уже 5000 мышей. Подбежав к воде, обладатель мыши бросает ее в волны, а за ней бросаются все преследовавшие его мыши.

Назавтра этот человек приходит в тот же антикварный магазин.

- А, - улыбается продавец. - Вы пришли послушать историю?

- Нет, - отвечает покупатель, - но скажите, нет ли у вас медного араба?»

«Арабская работа» - означает в устах многих израильтян «плохая, ненадежная, некачественно выполненная работа». Это словосочетание устойчиво вошло в иврит несколько десятилетий назад и зафиксировано в словарях сленга.

В литературных произведениях можно встретить слово «арабуш». Его лексико-семантическая нагрузка абсолютно прозрачна - это пренебрежительное, оскорбительное для араба наименование. Оно аналогично употреблению слова «негр» («nigger» - англ. яз.) в отношении чернокожих афроамериканцев. Слово «арабуш» употребляется только в соответствующем негативно окрашенном контексте. В романе-утопии известного израильского прозаика Амоса Кинана «Дорога на Эйн-Харод» еврей спасается от военных, совершивших переворот в стране. Он скрывается вместе с арабом.

«- [Как ты можешь быть] вместе с этим арабушем?» - с нескрываемым презрением спрашивает у героя другой еврей-израильтянин.

В аналогичном контексте встречаем это слово и в романе другого известного современного израильского автора Йорама Канюка «Негодяи»: «...Я и этот арабуш одинаково правы?» - негодует еврей - герой романа.

Эта кличка используется и некоторыми русскоязычными израильтянами, даже считающимися литераторами. Вот г-н Наум Вайман, именующий себя «романтическим поэтом», пишет прозой: «...потом еще одного арабуша объявили, уже местного...».

Использует Н. Вайман и пренебрежительную кличку «френк», «френки». Этот литератор и о других своих согражданах-израильтянах - представителях разных национальностей и общин отзывается в том же ключе:

«Солдатка-йеменитка, уродина, но ходит гордо».

«Все-таки израильтяне - совершенные папуасы. Разговаривать не умеют, только орать».

«...типичная израильская голытьба от искусства...»

«Напротив нас сидела сорокалетняя русская бл-дь с перебитым носом, ажурными черными чулками и декольте по пояс...» (Пропуск буквы мой. – А. К.).

В повести «Мышь на лунной дорожке», из которой взяты вышеприведенные высказывания, Вайман цитирует другого литератора, известного в русскоязычной общине Израиля журналиста Георга Морделя. Последний также не скрывает своего отношения к коренным израильтянам, в данном случае - руководителям государства.

«...встретил Морделя, бывшего короля русской прессы, так он мне тоже всю дорогу вдохновенно мозги еб-л, что Рабин - клинический случай, Перес - сука, как бы их подвзорвать, не знаешь? У них, бл-дей, вертолеты есть на всякий случай, на американский авианосец удрать, а мы

куда денемся? ...Рафуль¹ полный м-дак...» (Пропуски букв мои. – А. К.).

Трудно г-ну Вайману на исторической родине» при таком отношении к окружающим его евреям: «Как я корчился в молодые лета от презрения к евреям галута! Теперь - те же корчи от презрения к израильтянам. ...Так и хочется тоже взять автомат и все это даяновское отродье, всю эту гнусь...». В итоге откровений о своих согражданах автор выносит стране и обществу мрачный вердикт: «Что же это такое, израильтяне? Нации-то нет. И никогда не было. Сброд общин, вывихнутые «коленки» (т. е. колена Израилевы. – А.К.)...Топь Востока... Мерзость...».

Однако и зависть к коренным, устроенным и уверенным в себе «сабрам» Вайман не скрывает: «...Толпа богатеньких. Милые, ухоженные, раскрепощенные. ...Молодые все, суки, красивые. ...Цфоним («северяне», из «белых» кварталов). Красивый народ».

Заключение

«В иврите нет ничего случайного, - писал Э. Кишон в начале 50-х годов прошлого века. - Вот только ругательств не хватает». Однако значительная часть того, чем «обогатился» иврит за полвека, прошедшие с написания вышеприведенных строк, вряд ли порадовали бы сегодня известного юмориста.

На фоне непрекращающейся уже несколько десятков лет вербальной конфронтации в последние два десятилетия в Израиле сохраняется общая тенденция на вульгаризацию, огрубление и даже брутализацию разговорного иврита. Это касается практически всех слоев израильского общества - от иврита улицы до выступлений депутатов Кнессета.

«Не только приезжающие из заграницы, но и многие израильтяне живут с ощущением, что их страна – одно из самых вульгарных мест во вселенной», - писал журналист

¹ Рафаэль Эйтан, бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа, депутат Кнессета и лидер недолго просуществовавшей правой партии "Цомэт".

газеты «Ха-Арэц» Урия Шавит в статье «Страна вульгаризма».

Допустимый уровень употребления инвективной лексики в израильском обществе занижен, что приводит к ее достаточно широкому распространению в повседневной жизни, средствах массовой информации, на театральной и эстрадной сцене, теле- и киноэкране, в художественной литературе.

Темпераментные (или бесцеремонные?) израильтяне не стесняются в выборе выражений, где бы они не находились и кем бы они ни были.

«...Иврит - очень богатый язык, поэтому футбольные болельщики могут непрерывно сквернословить в течение всей игры, ни разу не повторив одно и то же ругательство. Например, для слова «сволочь» у них есть, как мне кажется, еще около пятисот синонимов», - пишет Лиад Шохам, автор популярных сегодня романов и рассказов.

Ну, ладно, то – футбольные болельщики, стадион, эмоции, но вот корреспондент одной из израильских газет, аккредитованный в Кнессете, подсчитал, какое огромное количество всякого рода ругательств и оскорблений в течение года использовали народные избранники в высшем законодательном органе страны. В этой связи комиссия по этике Кнессета даже была вынуждена составить список из 68 ругательных слов и выражений, которые запрещалось озвучивать парламентариям в ходе заседаний. В него вошли, в частности, такие: «мерзавец, маньяк, брехун, подонок, кретин, жулик, псих» и целый ряд им подобных. И что же? Воцарилась речевая культура? «Нет, - констатирует корреспондент, - наши депутаты вместо того, чтобы исключить из своего лексикона упомянутые в словаре словечки, воспользовались им как справочником для активного использования»...

«Когда-то мы гордились нашим возрожденным языком, - писал в год 50-летия Израиля (1998 г.) известный публицист и общественный деятель Ури Авнери в статье под значимым заголовком «Где гордость, где надежда?». – Сегодня же мы имеем маловыразительное просторечие.

...Большая часть молодого поколения не в состоянии понять литературный текст»...

В конце 80-х годов прошлого века, когда в Израиль пришло из США и стран Западной Европы понятие политкорректности, шовинистические национально-этнические стереотипы стали было размываться и заменяться формулой «неважно, из какой общины». Но очень скоро началось активное возрождение националистического «общинного юмора». Некорректные оскорбительные анекдоты и шутки звучат не только на уровне межличностного общения, но и появляются в средствах массовой информации, в том числе - на телевидении. Так, «Ципора», приложение к еженедельнику «А-Ир», более десятилетия публиковало в каждом выпуске так называемые субботние анекдоты. Они очень быстро расходились по Израилю, зачастую становясь популярными еще до того, как очередной номер газеты покидает типографию. По 2-му каналу израильского телевидения по вечерам в пятницу шла программа «Джокер», участники которой, собираясь в студии, по очереди рассказывали анекдоты разного рода, стремясь сорвать самые громкие аплодисменты. Рейтинг программы был весьма высок.

«Сейчас нет необходимости в политкорректности, - говорил Ури Зив, собиравший анекдоты для приложения «Ципора». - Мы устали от нее. Политкорректность разрушает анекдот». «Народ устал, издерган, он хочет смеяться, но предпочитает старый добрый юмор прежних времен», - вторит У. Зиву уже упоминавшийся У. Шавит. Еще одним косвенным, но достаточно показательным подтверждением того, что израильское общество терпимо к шовинистическим общинным анекдотам и юмору, является факт того, что ведущий названной рубрики У. Зив ни разу не получил от читателей гневных замечаний по поводу этнического характера публикуемых им анекдотов.

«Интеллигентному репатрианту, - пишет уже упоминавшийся Ш. Виленский, завершая литературный обзор, - рано жаловаться на духовное оскудение среды обитания». Согласиться с этим утверждением можно было бы при одном условии: если бы это была цитата из сатиры Э. Кишона.

Как проходили съемки...

Киносценарий является довольно-таки техническим документом, на основе которого составляется раскадровка, а дальше, исходя из моего личного опыта, идет полное безумие: в наш дом приезжает съемочная группа, артисты беспрестанно пьют очень крепкий кофе, называемый на иврите «грязным», курят у нас во дворе, там, где угол старинной стены стилизован под XVI век, а оператор очень грубо выгоняет меня из кадра, если я вдруг случайно оказываюсь между ним и объектом съемки. Сценарий (мой бедный, с таким тяжким трудом выношенный ребенок, которого все считают недоношенным) распечатывается тут же, на примитивном принтере, малюсенькими буквами с большими полями, чтобы актеры помечали свои нюансы. На всех сценарных листах сразу же образуются кофейные и чайные круги. Вместо занавесок на окнах зала — зеленая ткань «Хром-акей» или как там она называется, так что нормальной жизни в нашей семье нет уже давно. Арки в зале — действительно под старину, но мне приходится мыть посуду на кухне, и тогда сквозь эту средневековую арку все-таки видно меня, что опять же портит кадр. И оператор гонит меня из кухни и восстанавливает идеальные кондиции для своей работы.

К нам приезжают очень красивые, сказочно изящные, продыmlенные и одинокие актрисы с изумительной дикцией, мужчины с роскошными баритонами, иногда и непрофессионалы, просто живописные евреи, религиозные — а раз так, то, конечно же, с детьми, которые балуются, и которых они хотели бы тоже как-то пристроить и задействовать в кино (а мне совершенно не нужно так много детей).

...Спорят и по-детски завидуют из-за ролей не только дети, но и взрослые. Мне долго не нравился тот Хаим Виталь, который имелся под рукой, а настоящий, мощный, всё только обещал приехать и никак не приезжал. Я помню это ощущение неприятного внутреннего несогласия: как будто купила что-то по скидке, за полцены.

Между актерами, режиссером, оператором, осветителем и отдыхающим на кушетке шофером кого-то из них устанавливаются свои отношения — тоже целая паутина всяких тонкостей и предпочтений, приоритетов, культурных табу; какие-то пересмешечки, какие-то только двоим людям или троим понятные высказывания; и чувствую, что я тут вообще глупее всех и только по чистой случайности создала этот удивительный мир, этот иллюзорный хрупкий мир вокруг своей идеи-фикс — снимать фильм о каббалистах Цфата. Игровой, трехсерийный, полнометражный. Да, с гордостью научилась я всем объяснять, — полный метр.

— Полный метр? — зевая, спросила секретарша, и я впервые услышала это понятие.

Свет прожекторов должен обладать рядом характеристик: плотность, глубина, бархатистость. Это не простые прожекторы. Они создают воздух фильма. В них много тайны. Но как же они мне надоели, как задолбало все время переступать через провода и морщиться от яркого светового круга, ладно бы один монолог — но тут ты все время помогаешь осветителю и имеешь дело с ярким, концентрированным искусственным светом.

Есть съемки во дворе, есть — в переулочках Старого Цфата. В заброшенных мамелюкских строениях, просевших в землю: дворцах, руинах, пещерах. В каждом кадре на внешнем «локейшене» я прошу, чтобы было много неба — синего, яркого, глубокого.

Есть ещё стихия звука. Если кто-то забыл слова — это ничего, всё равно звук будет накладываться потом.

И есть колдовство монтажа. Это нечто, о чем даже страшно подумать. Монтаж — всему голова, и хвост, и туловище, и живая клетка творения. Она оживляет Голема

кинематографа, она убивает либо дает жизнь. Монтировать может только спокойный человек, тут нервы не нужны. Все вокруг тебя нервные, но ты — спокоен. Ты имеешь свое внутреннее видение и осуществляешь его, просто сочетая как бы изначально бессмысленные, несвязанные куски, чтобы возникла новая Вселенная. И всем вдруг станет понятно, ради чего они столько мучились.

...Нам предстоит снимать основную сцену — Ари и его ученики на фоне неба в горах, когда Учитель призывает их отправиться с ним в далекий Иерусалим — а шабат на носу, через пару часов. И, кстати, у нас, тех, кто работает над фильмом, тоже скоро шабат.

Я обращаюсь к Юре, чудесному человеку, имеющему все данные истинного исполнителя такой роли.

— Юра, вы не должны ничего особенного из себя представлять. Говорите точно так же, как вы делаете это в вашей обычной жизни.

Абсолютно светский Юра Вайсман, высококлассный компьютерщик из Нетании, поправляет на себе белый талит и произносит с сильным и верным чувством:

— Братья! Не хотите ли сейчас же оказаться в Иерусалиме? Встретить там субботу! Кто готов?

Он сразу же нашел правдивый тон. Первый дубль оказался наилучшим.

...«Ученики Ари» потупились, кто-то вышел вперед и отчеканил «Мы готовы, Учитель», а кто-то пожал плечами: «Надо бы жену сперва спросить»...

— Эх вы, хлюпики, — выдержав паузу, сказал Юра, будто не видя, что я подсказываю ему всплеснуть руками и разыграть горькое разочарование. — Тоже мне, каббалисты. Да я б вас по воздуху туда перенес. И Машиаха бы встретили уже там. И Храм бы построили. Ну да ладно, идите к женам. Только ты, Хаим, оставайся.

...Оператор не знал, завершать ли съемку, или ещё нет. И тут Хаим Виталь, которого я считала никудышным (ну, так себе) артистом, горько всплеснул руками, повалился наземь и прокричал:

— Горе нам! Мы упустили Машиаха!

Он уловил настроение сцены и развернул её к кульминации, спас съёмку. В один дубль вышло нечто вполне приемлемое.

...Из таких живых проявлений складывается хороший кадр. Юрины слова мы потом вырезали, оставили только его глаза. От Ари не надо много слов, нужен сумасшедший свет его харизмы. А остальное всё оставили, как было.

Интересная актриса к нам заявила — Катя Гефтар. Капризная в той же мере, в какой талантливая. Умеющая плакать «по заказу», внезапно становится то ангелом, то демоном. Она и роли себе попросила сразу две — и Сатаны, и жены каббалиста. Гримировалась так, что не узнаешь вообще. Могла и третью роль исполнить, и никто бы не догадался, что это — она же.

Неожиданно, когда все уже сработались, прибыл из Москвы «тот самый» Хаим Виталь. То есть умопомрачительный, настоящий, итальянский — с хорошей четкой реакцией на партнера или партнершу (что вообще редкость, так как артисты часто видят и слышат только самих себя). Он был в Стране новичок, и посреди репетиции попросил фалафель. Ему было интересно, что такое израильский фалафель настоящий.

Я, Эстер Кей, помчалась доставать ему фалафель. Я мало кому и мало когда так сильно хотела принести фалафель. Я была потрясена тем, что такой точный исполнитель роли может существовать на свете. Он брал любого артиста и «танцевал девушку» дальше. Он утанцовывал любого, подчинял себе каждую ситуацию. Его сила проявлялась в сдержанном и точном произнесении слов роли с верной акцентировкой. Казалось, что слова не существовали на бумаге вообще никогда — они только сейчас пришли ему в голову, возникли по ходу дела. Запоминал он слёту. И ему была под силу не одна роль, а, в принципе, разные и всякие.

На роль Исраэля Наджары прибыл человек из Нью-Йорка, исследователь древних текстов каббалы, остроумный, дикий, отлично играющий пьяных — и к тому же поэт. Марк-Марион Гондельман — известная личность с

ЮТЮБа. Мы получили огромное удовольствие, снимая его на натуре — в старинном доме Бейт Кастель.

Одним из учеников Ари вызвался быть Давид Забродский, прекрасный по внешним данным, но... трагическая деталь — очень слабослышащий. У него мягкая речь и никакого ощущения энергичности, только тишина и благородство.

Еще полтора десятка людей, многие из которых проживали у нас почти по месяцу, участвовали в пробах и читках.

Интересная личность прибыла нас испытать: Катя Гефтар сразу сказала, что он похож на епископа. Действительно, его от природы гулкий голос и самоуверенность почему-то сообщали всему происходящему на съемочной площадке какой-то христианский оттенок. Пришлось удалить заархивированные кадры с ним. Это было какое-то наваждение: глянцевого епископа-"каббалиста".

Были дивные старушки, были хасиды с пейсами, были кошки разных пород, дети, девушки-подростки.

Потом деньги кончились, и кончилось кинопроизводство. Все разбежались. Огромное количество отснятого материала покоится в моем компьютере и ждет таинства монтажа. Но монтаж дорог, и мы все ждем у моря погоды.

И всем нам дорог Ари — так пусть же ради него совершится чудо.

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Роман Кацман

Русско-израильская литература как эмерджентное сообщество

Начать разговор о русско-израильской литературе нужно с одного уточнения и одного определения. Во-первых, уточнение: под израильской литературой я подразумеваю здесь литературу, созданную в Земле Израиля как после провозглашения Государства Израиля в 1948, так и до него, что в нашем случае включает в основном период Третьей алии (1918-1923) и следующую за ним четверть века. Во-вторых, определение: русско-израильская литература – это корпус произведений на русском языке, либо созданных в Земле Израиля и в Государстве Израиля, либо очевидным образом детерминированных израильским историко-культурным контекстом, либо возникших как следствие участия авторов в русско-израильских литературных процессах и жизни образуемого ими эмерджентного сообщества. Соответствие одному или более из этих трех критериев определяет то или иное произведение как русско-израильское. В данной заметке я сосредоточусь на прояснении третьего критерия – на принципе эмерджентного сообщества.

Русскоязычная литература в Израиле за сто лет своего существования прошла трудный путь. Начавшись в годы

великих перемен 1920-х годов, она почти исчезла за годы предгосударственного строительства и Второй мировой войны, тоненьким ручейком протекла сквозь 50-е и 60-е, и наконец растеклась широким потоком во время кратковременной, но мощной алии 70-х, последовавшей за Шестидневной войной, возобновлением после Оттепели преследования инакомыслящих и развернувшейся борьбой за права советских евреев на национальное самоопределение и репатриацию. Именно в этот период и в этом идейно-политическом контексте формируется самосознание русско-израильской литературы как одного из путей борьбы за права и место возрождающейся русско-еврейской идентичности в геополитической и социально-исторической реальности эпохи новых войн, как холодных, так и горячих. Казалось, что сам генотип этой литературы состоит из элементов политики идентичности. Она переняла эстафету минорности от русско-еврейской литературы по отношению к русской литературе, и одновременно с азартом занялась конструированием своей маргинальности по отношению к израильской ивритской литературе, к тому времени уже достаточно сложившейся. Если с 20-х по 60-е годы маргинальность русскоязычной литературы в Израиле была политической и, если так можно выразиться, естественной, то маргинальность 70-80-х годов была уже и культурной, отчасти вследствие того, что это была во многом авто-маргинализация, укорененная в глубоком противопоставлении себя израильской культуре и литературе. Это тем более значимо, что эта волна репатриации была проникнута пафосом сионизма и возвращения к еврейским корням. Другими словами, заложенная в ней политика идентичности стала причиной ее миноризации и маргинализации.

Провал проекта авто-маргинализации и неспособность придать своей минорности политически и эстетически значимый характер привели к очередному кризису самосознания русско-израильской литературы. К концу 80-х заложенный в ней ресурс героико-виктимной идентичностной идеологии был формализован и

исчерпан, а новых источников вдохновения она не находила. Почти не имея читателя и будучи лишена глубокого интереса со стороны критики и академической русистики, она все больше замыкалась в себе и в своем комплексе двойной, российско-израильской отверженности.

Все изменилось с началом Большой алии 90-х. Развал Советского Союза и массовый исход из него евреев, открытие границ, окончание «холодной войны», глобализация, динамизация и даже хаотизация общественного уклада, постмодернистский релятивизм, ослабление национальных нарративов и, наконец, развитие персональных компьютеров и интернета – все это разом положило конец как двухсотлетней русско-еврейской минорности, так и столетней русско-израильской маргинальности. Литература 90-х все более комфортно и бесконфликтно ощущала себя частью одновременно всемирной русской и израильской еврейской, национально мажорной, литературы, и потому была, так сказать, бимажорной. Эпоха минорной русско-еврейской литературы закончилась. С другой стороны, она постепенно сворачивала проект авто-маргинализации в контексте израильской культуры, становясь автономным участником хаотического процесса, независимым от системы социальных иерархий и отношений культурных центра и периферии.

Этот процесс де-миноризации и де-маргинализации завершился к началу 2000-х. Оставив позу непризнанной и гордой виктимности, русско-израильская литература вернулась (или впервые проникла) в Россию и на все постсоветское пространство – в издательства, на фестивали, на книжные ярмарки, в журналы и СМИ. Часть ее обратила значительные усилия на познание и обживание израильской культуры, а другая часть, напротив, сосредоточилась на своем месте в русской и мировой культуре и литературе, но в обоих случаях она перестала быть идентичностной по сути, хотя вопросы культурной принадлежности зачастую продолжали ее волновать. Эти тенденции еще больше усилились в эпоху «путинской

алии» 2000-х и особенно 2010-х, продолжающейся нешироким, но стабильным потоком до сего дня, когда любая групповая и идентичностная политика может быть поставлена под сомнение в силу атомизации и глобализации литературных процессов.

Для осмысления сегодняшнего состояния того, что условно и не вполне обоснованно можно назвать сообществом русско-израильской литературы, необходимо переосмыслить само понятие литературного сообщества, настолько глубокие изменения переживают социальные практики как вообще, так и внутри «мира искусства», в терминологии Джорджа Дики. Я бы хотел начать с определения эмерджентного сообщества, которое, как мне кажется, лучше всего соответствует характеру русско-израильского литературного процесса. Итак, сообщество, несводимое к сумме определяющих его факторов, называется эмерджентным. Как и физические эмерджентные системы, оно состоит из неопределенно большого объема разнородных элементов и разнонаправленных процессов и, главное, определяется неопределенно большим количеством разнородных факторов. Другими словами, оно имеет природу детерминистического хаоса, сложной нелинейной динамической системы, и как таковая оно производит непредсказуемые формы самоорганизованного поведения в виде диссипативных структур. Эмерджентное сообщество не есть группа/коллектив, поэтому к нему неприменимы термины групповой идентичности, оно не подчиняется групповой динамике. Попытки формировать в нем или по отношению к нему политику идентичности обречены на провал. Об этом красноречиво свидетельствуют попытки, предпринятые в прошлом и закончившиеся в лучшем случае публикацией отдельных книг, сборников, переводов, либо установлением связей между отдельными людьми или организациями, способствующих продвижению их более или менее узких интересов.

Эмерджентное сообщество политически нейтрально в том смысле, что не вступает во взаимодействие с

политическими процессами социальной конфликтуализации, такими как маргинализация, минорность, диверсификация, дискриминация (позитивная или негативная) и т. д. Поэтому к нему неприменимы марксистские и неомарксистские понятия власти и гегемонии, революции и борьбы, угнетения и присвоения. Оно может участвовать в борьбе, но не сводимо к ней, не определяется ею, не формирует идентичность, которую можно было бы нанести на карту боевых действий. Сказать, что у эмерджентного сообщества есть идентичность, просто она слишком сложна — это и значит признать, что ее нет.

Можно показать, что любое реальное человеческое сообщество является эмерджентным, хаотическим, сложным, негрупповым, не идентичностным. Однако это не входит в мои цели здесь, поэтому ограничусь некоторыми замечаниями. Ни сообщество, ни идентичность не являются априорными категориями, поэтому любое определение, делящее людей по формальным признакам (языковое, географическое, национальное и т. п.), может быть только гипотезой. Доказать ее может только исследование, основанное на опытном знании. То же касается и такой категории, как меньшинство: чтобы быть не только математическим определением, а стать определением сообщества, она должна быть обоснована эмпирически. Меньшинство не является сообществом априори. И вообще: выделение некоторой статистической группы не делает ее сообществом. Например, можно статистически выделить группу людей в Израиле, пьющих чай с молоком, и показать, что она является меньшинством, но это еще не делает ее сообществом, хотя ее наличие означает диверсификацию в сфере практик приготовления чая. Далее, тот факт, что эти люди пьют чай с молоком, ничего не говорит об их месте в других практиках, относящихся к другим сферам жизни. Так, может статься, что большая их часть – это выходцы из Великобритании, а некоторая их часть голосует за партию «Ликуд».

Статистические группы могут пересекаться, включаться одна в другую или никак не соотноситься друг с другом, но

ничто в этом не делает их сообществами. Априорное определение статистической группы как сообщества ведет к ошибке: объединению сущностей по отдельным формальным признакам. Будучи доведена до абсурда, она может привести к тому, например, что собаки и стулья составят сообщество четвероногих. Поэтому само слово «сообщество» должно быть возвращено к своему изначальному определению, основанному не на общих формальных признаках, а на общем отношении к чему-то, находящемуся вне самих членов группы, более абстрактному, чем их свойства, к чему-то, разделяемому ими и тем самым объединяющему их. Это может быть общее пространство, имущество, идея, вера, культ, практика и т. д. Понятие сообщества должно быть возвращено к значению община, fellowship, congregation. Это сделает невозможным приписывание общих интересов и социально-политических потребностей статистическим группам, выделенным на основании их формальных признаков (что является ненаучным методом, манипулирующим сознанием и создающим ложное сознание).

В этом смысле русскоязычные писатели Израиля представляют собой пример сообщества, которое не есть община, то есть, строго говоря, они не составляют сообщества. Ни язык письма, ни место проживания не могут служить признаками сообщества. Однако они могут служить факторами, позволяющими и ускоряющими возникновение сообществ. Их содержательные составляющие могут вытекать из этих факторов как из необходимых, но недостаточных условий своего возникновения, они не могут быть сведены только к ним. Русскоязычие и Израиль определяют граничные условия существования системы, но не предсказывают появления конкретных форм поведения внутри системы. В ней могут возникать сообщества, содержание и само существование которых могут быть никак не связаны друг с другом. Представления о литературном сообществе как республике или как экологической системе, предлагаемые различными

учеными, при их противоположности, одинаково неприменимы здесь. Принцип одновременности кажется более релевантным, однако и его применение неточно, поскольку он может касаться и отдельных авторов, в то время как я обсуждаю вопрос об определении сообщества. Спорадически и непредсказуемо возникающие и исчезающие сообщества внутри русско-израильской среды свидетельствуют о том, что они составляют открытую, диссипативную, самопорождающую и самоорганизующуюся систему, ту, что я определяю как эмерджентную.

Главное, что о ней можно и нужно сказать, это то, что в ней смысл «русско-израильского» знако- и культуропорождающего процесса превосходит простое сочетание «русского» и «израильского» процессов. Этот «прибавочный смысл» и есть то, из чего складывается символический и культурный капитал, который накапливает русско-израильская литература. Несмотря на то, что последняя не является сообществом, она обладает общим кумулятивным капиталом, несводимым ни к одному из составляющих ее сообществ и не принадлежащим им по отдельности. Притом что «русский» и «израильский» смыслы составляют реальность существования этой литературы, ее прибавочный, эмерджентный смысл возникает из познания, проживания, преодоления и присвоения этой реальности. Таким образом, в строгом смысле слова русско-израильской будет только та литература, которая производит этот прибавочный смысл, то есть познает и преодолевает русско-израильскую реальность. Такая литература, будучи израильской, не является только израильской, а сопротивляется присвоению себя израильским процессом и, напротив, стремится сама преодолеть его; будучи русской, она не позволяет русской литературе и русскому языку присвоить себя, а, напротив, борется с ними. В лучшем случае это приводит к рождению нового русского языка, как у Михаила Юдсона, или нового Израиля, как у Дениса Соболева.

Именно прибавочный, эмерджентный смысл служит точкой кристаллизации подлинных сообществ-общин

внутри не-сообщества русско-израильской литературы. Так появляются, например, такие журналы, как «Зеркало», «Двоеточие», «Солнечное сплетение»: для каждого из них причиной возникновения была та или иная форма литературного экспериментаторства, то или иное понимание авангардизма. В той мере, в какой прирост авангардистского «капитала» в этих сообществах возникает из сопротивления русскому и израильскому условиям и условиям, они, сообщества, могут быть определены как часть русско-израильской литературы. Эта динамика одновременно диалектична, то есть закономерна в своей основной структуре, и эмерджентна, то есть непредсказуема и хаотична в своих конкретных поведенческих проявлениях. И тем не менее, несмотря на всю хаотичность этой системы, о ней можно сказать со всей определенностью, что она порождает в самой себе русско-израильские литературные сообщества тогда и только тогда, когда работа отдельных процессов достигает упомянутого выше синтеза русско-израильских условий и их избыточного, то есть творческого, отрицания путем проживания, познания и усвоения/присвоения.

Обычная процедура политики идентичности состоит в переносе характеристик групповой идентичности сообщества на отдельных его членов, и далее, когда сообщество подменяется статистической группой, переносом статистических характеристик на индивидуальность. Но если и сообщество, и идентичность принципиально неопределимы, то и этот перенос, столь ключевой как для марксистского подхода «сверху», так и для вульгарного подхода «снизу», невозможен. Эта процедура производит ложное впечатление сходства с научной дедукцией, поскольку позволяет якобы вывести свойства отдельного явления из свойств определяющей его группы явлений. Сколь бы соблазнительной эта процедура ни была, научный метод должен от нее отказаться при исследовании эмерджентных сообществ, ведь их суть как раз и состоит в неопределенности и неопределимости их групповых и идентичностных характеристик. Отсюда также

следует, что и индуктивное обобщение свойств отдельных явлений с целью приписать их группе – несостоятельно, поскольку эмерджентные системы непредсказуемы, причем как в отношении прошлого (то есть установления причинных связей, приведших к данному явлению), так и в отношении будущего (то есть экстраполяции этих связей). Пренебречь же этой непредсказуемостью невозможно, поскольку именно она ответственна за то приращение смысла, которое, как было сказано, служит основанием для возникновения и определения данного сообщества именно как подлинного сообщества-общины, а не как статистической группы. Следовательно, необходимо искать другие аналитические процедуры, и искать их нужно за пределами индивидуально-групповой парадигмы, чтобы избежать указанных апорий, а они неизбежно возникнут, пока мысль вращается в этом порочном круге. В этот круг попадает анализ любого явления, однако в нашем случае ситуация усугубляется парадоксальной природой рассматриваемого явления: ведь само понятие эмерджентной системы является едва ли не оксюмором.

Тем не менее, решение есть, и содержится оно, как и проблема, в самом этом понятии, а точнее в связанном с ним и не менее противоречивом понятии диссипативной структуры. Внимание ученого, приступающего к изучению русско-израильской литературы, должно быть сосредоточено не на взаимном (иллюзорном, по сути) переносе свойств между группой и составляющими ее явлениями, а на динамической смене возникновения и исчезновения упорядоченных структур в заведомо хаотической среде, так что из этой последней невозможно однозначно вывести причины появления структур и их свойства, поэтому их необходимо считать самоорганизованными вне зависимости от намерений и образа действий конкретных организаторов или организаций. Тогда свойства отдельно взятого явления будут коррелировать не со свойствами той или иной группы, а со свойствами временно возникающей формы упорядоченного поведения (социального, культурного,

эстетического), центром или частью которой оно тем самым становится.

Рассмотрим, к примеру, историю издательской и редакторской деятельности Гали-Даны и Некода Зингеров. Они живут в Израиле с 1988 года. В 1990 году они участвуют в организации и работе литературного клуба в Иерусалиме, в котором проходят встречи русскоязычных писателей и поэтов с ивритскими, и где разворачивается переводческая русско-ивритская работа. Здесь зарождается двуязычное творчество и двуязычная же издательская деятельность Зингеров, и именно двуязычие становится первым ядром кристаллизации того прибавочного смысла, который отличает возникающие вокруг них сообщества как характерно русско-израильские. Далее, в 1994 Зингеры, совместно с писателем и издателем Израилем Малером, предпринимают свою первую издательскую попытку: они создают журнал «ИО» с авангардно-постмодернистской программой. В 1995 он обретает новое название – «Двоеточие», и оно становится «брендом», актуальным по сей день. Многоязыковой, многокультурный, авангардистский, экспериментаторский, мультимодальный, электронный журнал становится вторым ядром прибавочного смысла русско-израильского проекта Зингеров. В него включаются авторы из разных стран и разных национальностей, и он не имеет никакой внеэстетической идеологии, однако при этом он не перестает быть иерусалимским или израильским явлением, благодаря глубокой связи Зингеров с этой страной и ее культурой, благодаря их непрекращающейся работе по ее познанию и культурному обживанию. В 2001-2004 годах «Двоеточие» издается в бумаге как двуязычный русско-ивритский журнал, а в 2011-2015 издаются онлайн два параллельных журнала на русском и на иврите. Наконец, в 2015 Зингеры сообщают о закрытии «Двоеточия» и открытии нового электронного журнала «Каракёй и Кадикёй». Выходит шесть его номеров, однако уже в 2016 новый журнал закрывается, и возобновляется издание «Двоеточия». К этому нужно добавить, что Зингеры

публикуют произведения и на русском, и на иврите, часть которых составляют автопереводы, чаще всего глубоко переработанные и адаптированные для иврита, а часть – оригинальные тексты (Гали-Дана Зингер также работает на английском языке), и кроме того, они занимаются переводом чужих произведений.

Как можно видеть, многолетняя работа Зингеров подчиняется собственной динамике, соответствующей колебаниям их интересов и планов в отношении взаимоотношений русского и израильского, а также русского и ивритского начал в их видении собственного творчества и современного мирового литературного процесса вообще (и не только литературного: они занимаются также живописью, фотографией, перформансом, инсталляциями, иллюстрацией книг и другими видами искусства). Эта более чем тридцатилетняя деятельность, состоящая из многочисленных явлений различных видов активности переменной интенсивности, включающая молчания, закрытия, провалы и непредсказуемые смены курса, представляет собой диссипативную структуру. На вопрос, структурой чего она является, может быть дан вполне точный ответ: структурой эмерджентного сообщества «круга Зингеров», не имеющего четких языковых, географических, национальных и эстетических границ, но при этом обладающего устойчивостью детерминистического хаоса и связанного с русско-израильской осью как с тем «базисом», без которого невозможна «надстройка» смысла. При этом, как и было сказано, генезис этой надстройки диалектически отрицает свой русско-израильский базис, что приводит к новому синтезу, достаточно своеобразному, чтобы служить достаточным условием определения данного сообщества.

Подводя итог этих кратких рассуждений, можно сказать, что теория эмерджентного сообщества может дать наконец ключ к пониманию того сложного комплекса литературных процессов, который являет собой русско-израильская литература, и который вот уже несколько десятилетий безрезультатно пытаются более или менее

непротиворечиво определить как критики, так и сами писатели. На этом пути, возможно, удастся вывести определения за пределы форм тематики, поэтики, идентичности, идеологии, целевой аудитории, то есть всех тех привычных теоретических рамок, которые доказали свою бесполезность для понимания особого места русско-израильской литературы в современной культуре.

Хобби или призвание, физкультура или спорт?

(Размышления над книгой Нелли Воскобойник «Буквари и антиквары»)

Писать нужно много. Писать нужно связно. Писать нужно художественно. Писать нужно хорошо.

Зачем?

Все эти, с позволения сказать, «нужды» - необходимо требуются только профессиональным писателям. То есть тем, кто этим зарабатывает. Или хотя бы имеет возможность заработать. Или хотя бы предполагает когда-нибудь этим делом заработать. Они в рабочее время неустанно трудятся, терзая компьютерные клавиатуры и собственные души. И выдают продукцию, востребованную и продаваемую.

Литературный рынок экономически рухнул, и чрезвычайно расширилась иная категория писателей. Это люди, достаточно успешные в социуме и прилично зарабатывающие чем угодно, кроме писательского мастерства. Их жизнь обеспечена, настроение боевитое, но чувство удовлетворённой самореализации не наступает. Они выбирают полем деятельности литературу не потому, что писательство - это их единственное умение, придающее каждому прожитому дню высокий смысл. Нет, писательство – приятное дополнение к повседневным заботам, пряная вишенка на тортике жизни. Хобби. Развлечение, выглядящее плодотворным.

Такие литераторы существовали всегда. Например, граф Кушелев Григорий Александрович, он же Грицко Григоренко. Кто не знает – «погуглите». Но в наши дни их стало особенно много. Они служат сладостной поживой деловым людям от литературы: редакторам, издателям и различного рода организаторам печатных изданий и писательских курсов. Они, как правило, ведут тщательный

счёт своим публикациям и особенно – редким случайным доходам от литературной работы, хотя расходы на неё многократно больше. Нередко такие авторы используют свои книги вместо визитных карточек. И всё это не значит, что такие сочинители непременно пишут плохо, бессвязно и малохудожественно. Нет-нет, в этом деле возможны многочисленные вариации; объединяет же эту категорию литературных работников – от самых талантливых до рядовых - повышенная мягкость по отношению к себе, некая необязательность их труда. Слабые произведения не отправляются в корзину, а учитываются наравне с творческими удачами. Взыскательность автора к самому себе выглядит просто бессмысленной: если на службе начальство или коллеги могут потребовать переделок или исправлений уже выполненной работы, какова бы она ни была, то никто, - ни начальники, ни коллеги, - не вправе указать человеку, как ему развлекаться. И если развлечением служит литература, то предполагаемый читатель в итоге получает в одной корзине плоды всяких трудов – как успешные и сочные, так и надбитые привядшие.

Изменился рынок – переменялся и читатель. Его светлость читатель полагает, что всякая книга, за которую заплачено трудовыми рублями, обязана его, дорогого читателя, увлекать. Его милость читатель уверен, что он и есть верховный судья художественной литературы. Его благородие читатель смеет закрыть книгу на середине, если ему не понравится хоть одна страничка в ней, и имеет наглость вовсе не покупать книг, читая только ознакомительные фрагменты в Интернете. Невольно рождается авторская тоска по советским безинтернетным временам, когда социалистические издательства, журналы и сам союз писателей уверяли: «Глупый ты читатель, лопай, что дают!» Тогда для начинающих писателей тираж в двадцать тысяч экземпляров почитался постыдно маленьким; теперь же тираж в полторы тысячи считается довольно большим.

Именно таким тиражом издало московское издательство «Время» книгу одного из авторов «Артикля» Нелли Воскобойник. Книга называется «Буквари и антиквары», и она предоставляет придирчивому критику обширные возможности читать её как в строках, так и между строк, и за строками, выявляя тенденции, о которых талантливая писательница, возможно, и не подозревала.

«Букварям и антикварам» предпослано предисловие, написанное Диной Рубиной. Знаменитый и популярный автор, как и я, не в восторге от нынешнего состояния русскоязычной литературы. Она полагает: «В наше время оглушительного многоголосия, а порой и воплей — я имею в виду исключительно литературное пространство, — издатель, да и читатель запросто могут пройти мимо этой небольшой книги, не услышав ее негромкого оклика. А ведь любая книга нас окликает. Сегодня книги должны не только взывать к читателю, но, образно говоря, порой и хватать его за рукав в попытке обратить на себя внимание. Что поделать: интернет, социальные сети, вездесущая реклама и тотальная мозговая усталость подавляющей части населения диктуют свои жесткие законы. Ныне издателю недостаточно решить, что книга хороша. Она должна быть бойкой, звонкой и чуточку продажной, чтобы ее не затоптали. Эта книга вроде бы совсем не отвечает данным запросам».

Таковы честные и объективные строки. А читая между строк, можно построить две догадки. Первая - попроще: это предисловие написано не к конкретной книге издательства «Время», а к будущей книге приятного человека и начинающего писателя. Иначе почему «издатель может запросто пройти мимо»? - ведь не прошёл же, остановился, присмотрелся – и успешно издал. Вторая догадка посложнее: если книга «должна быть бойкой, звонкой и чуточку продажной», почему же эта книга не такова? На этот вопрос может ответить только сама Нелли Воскобойник, и полагаю – в разное время отвечает по-разному; но одно очевидно: значит, ей по каким-то своим причинам это было не нужно. Призвав на помощь «Гугл», за

две секунды устанавливаю: «Буквари и антиквары» - не первая книга этого автора. Она уже выпустила в свет «Очень маленькие трагедии» в 2017-м, «Коробочку монпасье» в 2018-м, и «Вы будете смеяться» в 2019-м году. Оказывается, новая книга – у писательницы уже четвёртая! Почему же массовый успех ещё не достиг её? И меня пронзает догадка: потому что Нелли Воскобойник на такой успех не ориентировалась. Вот как она сама признаётся в публикации интернет-журнала «Заметки по еврейской истории»: «Я написала книжку. Все пишут — и я написала. Штук семьдесят маленьких рассказов. Истории про мое детство, разные забавные случаи из жизни, несложные рассуждения на простые темы и всякое безобидное бормотание о прожитой жизни. Получилось что-то приятное и необременительное...

Обычно рассказы, которые я пишу, взяты из жизни — так уж сложилось, ничего путного выдумать не могу. Но все-таки они не документальные репортажи. Немножко изменяю антураж, диалоги собственной выпечки, чуть заостряю типы, иногда свожу вместе в один сюжет разные случаи, которые происходили в разное время. Короче — я в своем авторском праве!»

Какое очаровательное простительное заблуждение! Кому же это будут приятны чужие «несложные рассуждения и безобидное бормотание»? Каждому читателю своё собственное дорожке. Если автор полагает, что «ничего путного выдумать» не может – это, конечно, его право, но опрометчиво хвалиться этим перед читателями; они уйдут к тому, кто может. Великое счастье, что Нелли Воскобойник не вынуждена зарабатывать себе на хлеб литературным трудом. Она может позволить себе собственное и расширенное авторское право, не обременённое сложнейшими и трудоёмкими авторскими обязанностями. За строками рассказов и сказок (да-да, она и короткие сказки публикует) встаёт образ автора: женщины интеллигентной, с мягким характером, начитанной, приятной в общении, романтической, немного нетерпеливой, ироничной по отношению в первую очередь к себе, а затем

уже и к миру. Но понадобилось 288 страниц «Букварей и антикваров», чтобы штрихи этого образа сложились в более-менее цельную картину, написанную поверх пёстрых и нечётко оформленных образов книжного текста. Да вот Дина Рубина не даст соврать, она пишет: «Это небольшие изящные, иногда ироничные, точнее улыбчивые рассказы (даже если в них описываются вовсе невеселые вещи или судьбы), которые читаются легко, будто скользя мимо ваших глаз. Вся книга — целая галерея персонажей, часто стилизованных: тут и поэты, и дамы, и барристеры, и писатели, и короли, и капуста. Когда автору не хватает людей, в дело идет что и кто угодно: лесная и домашняя нечисть, лягушки, русалки, рыцари, принцы, принцессы, а также исторические деятели и знаменитые имена. Их много, и в рассказах Нелли Воскобойник они оказываются совсем не такими, какими мы их представляли...».

Это в строках, а между строк читаем «автору не хватает людей...» Не физических лиц – в любой телефонной книге их можно найти и побольше, - а персонажей, образов, героев, личностей, которыми читатель мог бы заинтересоваться, которых узнал бы и полюбил, и которых очень трудно одушевить и описать достоверно. Вот и мне сейчас нелегко точно подобрать слова, чтобы передать вашим высочествам читателям «Артикля» своё впечатление от книги «Буквари и антиквары», - а это всего лишь впечатление. Насколько же труднее нарисовать словами живые оригинальные образы и подлинные, но при этом увлекательные диалоги! Вот чего алчет читатель, вот на что он клюёт – драгоценная писательская рыба! – а не на «диалоги собственной выпечки».

Спросим читателей. Это очень просто сделать: многие сайты, на которых анонсирована книга, позволяют любому досужему посетителю оставить о ней отзыв. При этом никто не проверяет продуманность отзыва или глубокомыслие его – некоторые читатели ставят свои отзывы по принципу «гавкнул и ушёл». Как писал Солженицын: «И собаками я обляян, и воронами я ограян. И какое-какое рыло обо мне не судило...». А наиболее горячие хвалебные отзывы, как

правило, инспирированы самими авторами или издателями, заинтересованными в продажах. Ведь в интернет-магазине «Лабиринт» эта книга выставлена поначалу за 585 рублей (конвертер валют показывает 26 шекелей), а потом уценена на 20%, до 468 рублей. Из восьми похвальных отзывов в «Лабиринте» лишь один свидетельствует о проблемах: «Те, кто не знаком с творчеством автора, увидев эту небольшую книжицу в мягкой (не совсем надёжной обложке) за цену в почти 500 рублей, возможно, пройдут мимо, так и не познакомившись с творчеством замечательного автора, который точно заслуживает внимания!»

Это отзыв на сайте, за строками самой книги. А в ней на последней странице, после московского адреса выпускающего издательства «Время» следует дописка: «типография «Уральский рабочий», Екатеринбург». То есть книга подготовлена в Москве, но печатается на Урале! Неужели уральские читатели заинтересованы в талантах более, чем московские? Или это связано с распространением? Но система магазинов «Лабиринт», распространяющая книги издательства «Время», тоже базируется в Москве. Или просто потому, что подавшему рукопись в Москву будет нелегко проверить в Екатеринбурге, точно ли напечатали полторы тысячи экземпляров, или ограничились пятью сотнями, имея возможность при необходимости в любой момент допечатать ещё? (Такая ситуация возникает преимущественно тогда, когда автор несёт все расходы на публикацию или хотя бы часть их).

На торговой интернет-площадке «Лабиринта» не принято выставлять для читателей ознакомительные фрагменты книг, но на других сайтах такой фрагмент «Букварей и антикваров» есть. Зато не везде предусмотрена система отзывов, так что я нашёл всего три. Вот как увидел проблему читатель: «Тот редкий случай, когда автор вполне владеет словом, ясно излагает мысли, рисует образы лёгким росчерком пера. Однако чем дальше, тем отчетливее в уме читателя формируется вопрос: "А зачем

это всё написано? Зачем я трачу время в поисках чего-то особенного, что хотел сказать автор, но не сказал? Может, я просто не заметил, и пойму это на другой странице, в следующем рассказе?" Такая пикантная гамма ощущений заставит иного доброжелательного читателя дочитать до конца. Искренне желаю ему найти подтверждение своим надеждам. Увы, я пас».

А автор и не хотела сказать ничего особенного! Автор просто хотела высказаться – и ей это вполне удалось. Гораздо труднее побудить читателей себя выслушать. Тут разница – как между физкультурой и спортом. Спортом занимаются для победы, для рекорда, для состязания. Физкультурой занимаются для здоровья. Высказаться – это приятная и полезная для души оздоровительная процедура. Но правила соревнований по высказыванию, по самовыражению ещё никак не разработаны, хотя всю мировую литературу при желании можно считать состязанием именно по этому виду комплексного многоборья.

Я – не первый, кто говорил об этом. Среди немногочисленных отзывов на книги Нелли Воскобойник мне удалось найти лишь одну рецензию, написанную года два назад на «Яндексе» автором, укрывшимся под псевдонимом «Книжная полка». Вот фрагмент этой публикации: «В "Послесловии или величии замысла" сама Нелли пишет: "А могу я рассказывать про себя, своих одноклассников, подруг, пациентов и соседей, про давно умерших бабушек и дедов, про учителя физики, в которого я была влюблена, отчего и выбрала свою несуразную специальность. Про тех, с кем работала. Про занятное и печальное, что случилось со мной или с ними. Такие дела. Даже если когда-нибудь мои рассказы покроются картонной обложкой, на которой будет напечатано мое имя, даже если там будет картинка и чей-нибудь благосклонный отзыв, писателем мне все равно не быть. Не хватает величия замысла"... И подхватывает в "Что может случиться", не вошедшем в сборник, но опубликованном в блоге под тэгом "поиск жанра": "Ведь я пишу про людей из моего мира - они

могут сделать карьеру или потерять работу, влюбиться или оказаться брошенными, заболеть... умереть... кажется - всё! Не прилетят пришельцы, мой герой не сделает открытие, не будет спасения приговоренного к смерти, не получится подвиг неслыханного мужества, не совершится подлое предательство. И месть не станет шипеть и извиваться на моих страницах. Значит, всё, что меня действительно волнует - это отношения мужчины и женщины, деньги и здоровье. И что можно написать с такими жалкими исходными элементами?"

И сама же себе отвечает: "Вообще-то, если подумать, кое-что можно. Анну Каренину, например".

Что после этого остается делать рецензенту? Утешать автора, что она, конечно, не Толстой? Убеждать, что сравнения с Улицкой и Рубиной, которые видятся противоположной Толстому осью координат, тоже не нужны? Хотя тут я могла бы рассказать, что прозы Улицкой долго не выдерживаю: возникает ощущение, что меня вынуждают во всех интимных подробностях выслушивать сплетни о не слишком интересных и, вдобавок, ещё и незнакомых людях».

Это строки рецензии. Пожалуй, Нелли Воскобойник погорячилась с фразой о своей «несуразной специальности». Она работает медицинским физиком в больнице «Хадасса», и эта служба, почтенная и полезная людям, позволяет в свободное время заниматься литературой без ущерба для семейного бюджета. А между строк рецензии можно прочитать, как один автор на литературном поприще невольно, неосознанно и незримо для посторонних мешает другому. Нелли Воскобойник – не Толстой, и даже не Толстая. Она вполне Воскобойник, и у неё есть собственный голос, незаёмный и искренний, пусть и не очень мощный. Но какую же позу нужно принять, чтобы из неё показалось, будто Улицкая и Рубина «видятся противоположной Толстому осью координат»? Действительно, сравнения не нужны. В литературной физкультуре – не нужны. Но спорт невозможен без сравнений. И вот посмотрите, любезные читатели, как об

этом свидетельствует открытая переписка «Книжной полки» с читательницей под ником «Царевна-лягушка».

Читательница пишет о книге Воскобойник: «Довольно трогательные мемуары. Но книга не из тех, которые захочется перечитывать. Мне невольно вспомнилась Дина Рубина, вот у нее воспоминания о семье очень интересно вплетаются в основное повествование, причем как в юмористическую прозу, так и в драму. Здесь, к сожалению, нудно получилось... Хватило 15 страниц ознакомительного фрагмента, продолжение не заинтересовало. Конечно, сугубо мой взгляд, но может, если бы я не читала и не любила Рубину, мнение было бы другим».

«Книжная полка» отвечает: «Тут, вне зависимости от масштаба автора, важно еще и совпадение с ним читателя. Я, например, не могу читать Улицкую. У меня от нее ощущение бесконечной сплетни о том, кто с кем переспал. А мне это про незнакомых людей вообще не интересно. Я выросла в местности, где вникать в чужую личную жизнь считалась неприличным... А с Воскобойник у меня совпало, что называется. В мельтешении ее персонажей и мозаичности их историй я вижу более близкий мне способ смотреть на мир, нежели у той же Улицкой. С Рубиной Воскобойник тоже нельзя сравнивать. Но этот случай, когда сравнения и не требуются. Или хочется читать, или нет».

Последнее утверждение абсолютно верно и бесспорно. Или хочется читать, или нет. Но оказывается, это самое читательское «хочется» поддается вызыванию и стимулированию искусственным колдовским путём. Применяемые при этом приёмы и называются приёмами писательского мастерства. Одни писатели высоко устанавливают планку, другие проходят под ней, даже не нагибаясь, и не замечая ни прыжковой ямы, ни самой возможности для прыжка. Фамилии первых мы немедленно вспоминаем, когда говорим о сравнениях. Фамилии вторых приходится специально отыскивать в Интернете.

В этой ситуации возрастает роль издателей и редакторов как судей текущего литературно-спортивного соревнования, в котором писателю приходится бороться за

читательское внимание не только с покойными и ныне живущими классиками, но и с такими же, как он, пока неизвестными соискателями успеха. Даже если автор к успеху не стремится и на него не рассчитывает, он всё же имеет шанс некоторого успеха добиться; вопрос лишь в том, что успехом считать. Например, мне довелось читать автобиографию человека, который в качестве важного творческого достижения указал: «Пять раз выступал по телефону на радиостанции РЭКА». Но публикацию книги в московском издательстве для автора из Израиля можно считать вполне заслуженным успехом. Тем более что, как сообщается на сайте издательства «Время»: «Портфель издательства переполнен, и едва ли в ближайшие годы что-то изменится. Чтобы объяснить, что значит «переполнен портфель», приведём немного статистики. Мы выпускаем 8-10 книг в месяц. При этом каждый день, включая выходные и праздники, на наш корпоративный ящик приходит не менее 10 заявок, и это не считая рукописей наших постоянных авторов, которые пишут непосредственно работающим с ними редакторам. Понятно, что при сохранении таких темпов портфель у нас будет переполнен всегда.

...Можно ли издать книгу за свой счёт? Теоретически — да, однако мы всё равно будем оценивать качество рукописи, выбирать серию для произведения, создавать оформление, потому что на книге будет наш логотип. Если вы хотите, чтобы ваше имя непременно стояло в ряду наших авторов, тогда имеет смысл обращаться — присылайте письмо с пометкой, что деньги на издание вы найдёте, вас уже дальше ориентируют. Если вы просто хотите издаться где-нибудь, стоит, наверно, сразу поискать издательство с более скромными запросами».

Нелли Воскобойник — человек удачливый. Хорошая работа, семейная поддержка (рассказ в «Артикле» написан в соавторстве с мужем), выпустила 4 книги, из них последняя — в Москве. Завидуйте, зоилы! А размышления над «Букварями и антикварами» могут привести — если пожелаете, конечно, — к практическим выводам, полезным

для начинающих писателей (но только для начинающих; опытные авторы всё это пережили лично).

Если хотите, чтобы вас заметили критики – публикуйте свои произведения не только в провинции, но иногда и в Москве.

Плодотворно работая над короткими произведениями, сохраняйте силы и время хотя бы для одного намеченного в крупной форме. Дайте критикам и читателям основания считать вас серьёзным писателем.

Не стесняйтесь обращаться за советом и напутствием к авторам, уже снискавшим в литературе славу или хотя бы популярность.

Никогда не признавайтесь в своей писательской несостоятельности; ведь случайные читатели могут и поверить. Зачастую выгоднее промолчать, чем выказать слабость.

Без всяких сравнений определите для себя, что именно вы считаете литературным успехом – тогда вам станет яснее, способны ли вы его достичь и как это сделать.

Держите собственную марку, попытайтесь выработать собственный узнаваемый стиль. Когда речь зашла о каких-то рассказах из переполненного редакционного портфеля, главный редактор «Артикля» раздумчиво сказал: «Эти рассказы могут быть...». Выдержал крохотную, еле заметную паузу и уверенно закончил: «...А могут и не быть», Старайтесь, чтобы решение этого гамлетовского вопроса было в вашу пользу.

Пишите много. Пишите связно. Пишите художественно. Пишите хорошо.

Субкультура в зеркале текста

Во все времена общество предлагает определенные стандарты жизнеустройства. По мнению современной молодежи, сейчас стандарт – это хорошо оплачиваемая работа и семья. Можно сказать, что сейчас « в моде» типичные для цивилизованного общества ценности.

Конечно же, сейчас, как и во все времена, существуют группировки, предлагающие нарушение стандарта. Это разного рода « неформалы» – «панки», «ультра» и т.п., а также «ролевики», поклонники «фэнтези», именно они ближе всего к субкультуре 70-80-х годов XX века.

Не станем обсуждать политически окрашенные протестные сообщества начала XXI века, затронем лишь те аспекты молодежной культуры, которые, на наш взгляд, соответствуют основным критериям субкультуры, то есть Системы {сообщества хиппи}, продолжают их. Поговорим конкретно о «ролевиках» именно как о последователях, но прежде всего обратимся непосредственно к субкультуре того, уже теперь далекого времени.

Что же такое субкультура?

Приставка «суб» – это первая часть сложных слов» (Словарь русского языка С. И. Ожегова).

Какое же значение следует выбрать применительно к Системе: «находящийся около чего-то», «подчиненный кому-либо» или «не основной, не главный»? Поговорим об «отколовшейся», находящейся в оппозиции к «законной» культуре, стоящей за ее спиной и, может быть, не замечаемой ею.

В современный «стандарт» вполне вписывается и «клубная» культура, она является вполне «законной». Клуб – один из структурных элементов мегаполиса. Крупные города предлагают различные способы времяпрепровождения. Клубы «по интересам», клубы

различных «фэнов» не являются субкультурой. Развлечения различного рода и толка, даже подчас эпатазирующие, имеют свою графу в «стандарте», здесь нет яркого протестного начала, желания отстраниться от обыденной жизни общества.

Субкультура предполагает необыкновенную концентрацию эмоций; «хипов» из Системы волновали только «вечные» вопросы, ими мерилось жизнетворчество. Как ни покажется странным, хочется рискнуть сравнить Систему с «Серебряным веком», когда сам образ жизни являлся творчеством.

Если предположить, что любая субкультура всматривается в чужие тексты, желая понять себя, и оставляет после себя тексты, закрепляя в памяти идущих следом свои «наработки», то интерес к «свидетельствам» о жизни Системы вполне закономерен.

В 2004 году в издательстве ОГИ вышла книга известного Санкт-Петербургского этнографа и социолога Татьяны Щепанской «Система: тексты и традиции субкультуры». Текст Щепанской о «тексте» Системы интересен и заслуживает того, чтобы на нем остановиться. Автор оговаривается, что данная книга не является исследованием молодежной культуры или историей хиппи, именно символика, знаковая система этого своеобразного сообщества является предметом обсуждения, а также своеобразие связей с социальной структурой общества. Для создания такого текста «требовалось найти сообщество, в котором жизнь символа можно было бы наблюдать непосредственно в его социальном контексте».

Система отвечала этим критериям. Именно в Системе яркая, экзотическая символика: длинные волосы, «фенечки», сумки-торбы с заплатками и т.д. Повседневная жизнь ритуализирована, существуют особые традиции, делающие эту среду достаточно замкнутой.

Книга Щепанской интересна тем, что «информаторами» стали люди разного статуса – от неофитов Системы до «олдовых» гуру. Без этого текста затруднено было бы проникновение в художественные тексты на столь

интересную тему, сложнее было бы классифицировать различные «свидетельства». Подчас необходим проводник в мир, закрытый для непосвященных. Щепанская берет на себя труд объяснить и прокомментировать «телеги» (рассказы – род легендарного нарратива или мифа). Например, важна подмеченная исследовательницей «статусная структура» Системы – именно мужчины занимают позиции групповых лидеров и образуют костяк групп. Именно мужчины возводят в культ безумие, оно становится символом, знаком непринадлежности к миру «нормальных» людей.

Щепанская пишет: «Читатель должен иметь в виду, что весь этот мир Системы уже не существует в том виде, в котором мы его наблюдали в конце 1980-х. В наши дни слово «Система» известно в молодежной среде как наименование тусовки хиппи, а также самоназвание некоторых группировок ролевиков, толкинистов... Хиппи перешли в ролевое движение. Пласт достаточно серьезный. Почти все интересы общие, равны интеллектуально... Следы Системных традиций просматриваются в компьютерной субкультуре».

Почему же Система, зародившись в России в 70-е, уйдя из жизни (в своем изначальном виде) к концу 80-х, осталась в памяти «свидетелей» как некий затонувший материк? Неужели Система не может и сейчас существовать на тех же условиях, что и прежде, то есть «не замечаемой»? Нет, ибо не существует уже прежних Москвы и Питера, нет тех «трасс», «травка» (марихуана) доступна любому дворовому мальчишке. А что касается «вечных вопросов»... Доступность информации снижает потребность в беседе, в дополнительных ритуалах, обставляющих проникновение в мир мудрых.

В 1988 году автору этих строк довелось видеть крохотную девочку Пэпилотту с «фенечками» на запястьях. Родилась Пэпилотта на «трассе», ее родители – молодые хипы – были тогда прекрасны. Но 80-е кончались, уходила вместе с ними и Система. Девочка выросла где-то у чужих людей - родители, каждый в свой срок, погибли...

Чему же противостояла Система? Длинные волосы, «фенечки» позволяли заявить, что каждый миг прожитой ими жизни (часто короткой жизни) ярок и значителен, что нет смысла выстраивать карьеру ли, политическую систему ли, или даже законченное произведение для того, чтобы его оценили потомки. Жить и любить следовало во всю силу сейчас. И они жили на «флэтах», на маковых полях, на «трассе».

Как же Щепанская объясняет возникновение названия «Система»?

«Самая распространенная – версия стеба (насмешки над советской бюрократической административно-командной системой)».

Есть и другие мнения: система координат (естественно, интересуется изменение точки отсчета – нормы), система – особый «тайный» механизм... «Заорганизованность», убогость отвергались, принимались свежесть идей и полет мыслей.

Можно задать вопрос, если хипами так ценилась философия, яркое образное мышление, то почему они не искали себе «гуру» среди «осколков» старой культуры, так же находившихся в оппозиции к официальному обществу?

«Гуру» выявлялся из своей же среды. Он был такой же, но независимее, эрудированнее, страстнее, выше. Не таким ли был герой романтических произведений?

Конечно, нельзя исключать индивидуальные контакты отдельных членов Системы с носителями и хранителями «старой» культуры, но мы пытаемся определить место субкультуры среди прочих тенденций определенной эпохи.

Концентрация молодых и свежих сил тогда была велика, все тогда открывалось в первый раз, придется повториться: энергия распространялась не на достижение будущих благ различного рода, это не было времяпрепровождением, объединением «по интересам».

Попробуем обозначить Систему, исключая знаковые для 70-80-х годов явления. Поэты тянулись к поэтам – и появился СМОГ (самое молодое общество гениев), художники к художникам – появлялись знаменитые

выставки авангардистов, например, в павильоне «Пчеловодство», а позднее и на Малой Грузинской. Музыканты участвовали в «сэйшенах». Была своя «цеховая» культура, яркая, интересная, конечно, определенным образом соприкасающаяся с Системой; хип мог быть и художником, и музыкантом, и поэтом в зависимости от талантов, но не это было главным в его биографии. Никто из вышеперечисленных не был так ритуализирован, «маркирован», как хип Системы.

К диссидентам Система тоже не относится, не их дело было «выходить на площадь», выражать протест против политических акций. «Пушка» - Пушкинская площадь была местом встречи, ритуальным местом.

Все ли, кто носил тогда длинные волосы, «фенечки», джинсы с заплатками, принадлежали к Системе? Далеко не все. Даже более того, многие, считая себя хиппи, о Системе только слышали, она их манила, как нечто особенное, загадочное. Такие «хиппи» жили дома при родителях, продолжали ходить учиться. Такие «хиппи» употребляли, конечно, сленг, слушали музыку, скажем, «битлов» и прочих, но от «стандартов» - образование, достижение успеха, признание общества - не отходили. Именно поэтому «хипповали» в то время многие, но жили этим всерьез, «на разрыв аорты», - избранные.

Система предполагала всё же разрыв с обычным жизнестроительством; на житейском уровне это был уход на «флэт» (квартиру, где можно было жить всем хипам, которые смогли туда «вписаться»), жизнь на «трассе», «травка», «асканье» – то есть умение добыть пропитание у граждан посредством просьбы.

В конце 80-х и самом начале 90-х остатки эстетики Системы можно было встретить в так называемой «нехорошей квартире», - квартире Булгакова, там «хипповали» художники, актеры, люди с «трассы». Был дух старой хипповской коммуны. Сейчас там встречаются поэты, читают стихи, беседуют, но здесь уже явно «цеховые» приоритеты.

У каждой версии понятия Система есть свои защитники, свидетели. «Свидетельства» сохраняются в форме различных текстов. Например, дневник:

«Июнь 1986 года. Спектакль «Над пропастью во ржи» специально для Системы (Пушкинской). На сцене – портрет Джона Леннона. Музыка. Все зажигают спички. Длинноволосая девчонка с надписью на куртке “мы боимся ядерного выбуха”».

Интересны воспоминания Коли Васина, достопримечательности Питера, «гуру» шестидесяти с лишним лет, запечатленного в документальном фильме Д. Завильгельского, М. Капитановского и А. Шипулина «Пол Маккартни. 73 часа в России». Этот фильм был отобран на Екатеринбургский фестиваль документального кино и там замечен. Критик А. Шемякин пишет: «Фильм традиционен в смысле повествовательности, но в нем невероятная смесь иронии (и самоиронии) и ностальгии по Beatles, что позволяет рассказать об искаженном восприятии культуры целыми поколениями советских людей, когда выстраивание стратегии добывания культурного продукта часто подменяло сам продукт».

Коля Васин с его «телегами» – сам уже является «зеркалом» субкультуры. Коля Васин остался человеком Системы, его приоритеты прежние, у него не возникло необходимости находить контакт с меняющимися на протяжении последних десятилетий «стандартами». Но это, скорее, исключение, чем правило. Хотя, бесспорно, интересен факт, что в Питере и сейчас отмечают день рождения Джона Леннона за городом; собирается большая разновозрастная компания. Да и в Москве есть Клуб «Битлз». Но сейчас это уже ближе к клубам «по интересам».

Полезнее же всего попытаться осмыслить это интересное явление конца XX века, опираясь на художественные тексты. В романах, написанных непосредственными членами определенных сообществ, ярко отразились приметы времени, ускользающие от взгляда «профана» детали. Кажется, читая произведения

А. Вяльцева «Круг неподвижных звезд» и Д. Соболева «Иерусалим», можно попробовать ответить на вопрос: а что делают «бывшие» хиппи, кем они становятся, взрослея? В данном случае они стали писателями, они поставили цель выразить ускользающие, трудно поддающиеся четкой классификации знаки, символы и коды определенной прослойки общества определенной эпохи.

Нужно сказать, что романа, подобного произведению А. Вяльцева, не было. Это не значит, что «хиппующие» не появлялись в текстах сверстников этого автора. Конечно же, они мелькали, уж очень это яркие, запоминающиеся, нестандартные фигуры, но не было такого своеобразного «романа воспитания», где герой проходит путь от «инициации» до кризиса мировоззрения.

Роман Дениса Соболева – это подхватывание темы человеком, хранящим заветы питерской субкультуры в Иерусалиме и развивающим ее в ролевых и компьютерных играх. «Иерусалим» интересен еще и тем, что, имея определенное формальное сходство с «Александрийским квартетом» Даррелла, апеллируя к Г. Газданову, таит в основе «кодекс чести» уходящей в прошлое Системы.

Романы А. Вяльцева «Круг неподвижных звезд» и Д. Соболева «Иерусалим» - это образцы «литературы свидетельства». На этих художественных текстах хочется остановиться подробнее.

Роман Вяльцева - о Системе 80-х. Рассказ ведется от первого лица, и то, что Т. Щепанская исследует в своей книге: символы, риторика, жесты, предметы, сленг, - переданы человеком, непосредственно прошедшим инициацию и вступившим в круг «волосатых». Герой романа – проводник, комментатор, интерпретатор.

«Они играли на гитарах, стебались, прикалывали друг друга, без конца травили телеги, вспоминали, утрируя и преувеличивая... Они рассуждали о добре, бескорыстии, добровольных жертвах, вплотную и стихийно приблизившись к христианству (впрочем, как и к буддизму)... Они говорили о волосах, бывших их флагом, тестом, пробой, по которой отличают золото».

А. Вяльцев рассказывает и о «взрослении», о стоящем выборе: вписаться в мир ранее отвергаемых «нормальных» (того требует время, женщина или ребенок), или пытаться сохранить себя как частицу Системы, продолжать писать свой собственный «текст».

«Я думал о свободе... от обременительного быта, от ложной, заведенной материи. Я думал о хиппизме, как о великом отказе... Мне тоже хотелось простого человеческого счастья. Но если ты выбрал этот путь, надо забыть о простом человеческом счастье... Взрослая жизнь, жизнь с женщиной, была шире, серьезнее и горше, чем я думал».

Но не только быт разделял взрослеющих – в те годы (это точно подмечено автором) «хипы» разделились и по конфессиональному признаку.

«...Те, кто не избрал «естественное» православие – кинулись в Джизус Пипл, буддизм, кришнаизм и бог знает что еще – и все на пределе горения, бескомпромиссно».

Вяльцев фиксирует распад Системы. Лето 85-го названо в этом тексте летом свободы, тогда проходил фестиваль молодежи, по Москве бродили «молодые волосатые». «Эти неизвестные хиппи тоже про нас, прежних, почти ничего не знали, хотя, конечно, не завелись бы сами по себе – значит, были учителя. Нас сразу признали за олдовых, за гуру, учителей, требовали руководства. Одержимый идеей человек по прозвищу Принц рыдал у нас дома от огорчения, что я не веду их немедленно на баррикады, не предлагаю какого-нибудь безумного действия».

Как и в названном выше фильме, в романе Вяльцева есть ирония и самоирония. Может быть, это тоже «телега»? Может быть, роман Вяльцева и следует обсуждать в первую очередь как миф? Да, действительно, здесь нет многослойности, глубокой психологической разработки образов, прописанных второстепенных персонажей. Это и не требуется. Для того, чтобы передать, шаг за шагом, «путь наверх и жизнь наверху», необходимо скрупулезно исследовать изменение сознания всего лишь одного героя, совершенствующегося день ото дня в восприятии

обращенного к нему голоса вечности. Герой будит свою душу и при помощи психоделии, и при помощи музыки. Интересно, что он не приемлет массовый исход хипов в православие, буддизм и прочие конфессии. Ирония здесь явно заметна – ведь ушедшие тоже начинают подпадать под «стандарт». Тем не менее, герой (его зовут Дятел) ищет возможность «соединить хиппизм и утонченную культуру».

Но можно, тем не менее, читать этот роман и как роман о любви, о любви хипов Дятла и Матильды. Как и сказано выше, мужчина (мэн) задавал тон, а девушка (герла) шла вслед за ним как в изучении какого-либо философа, так и в «торчании» – например, курении «травки», вегетарианстве и т.д.

Но любовь случалась сильная, образовывались крепкие пары. И все испытания, падающие на любящих, падают и на детей Системы. Написал же в свое время Ю. Нагибин роман «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя»; почему бы и не появиться роману о любви «эпохи Второй Системы».

Система подразделялась на несколько «потоков», ибо подрастали новые «члены», и всё же 70-е отличались от 80-х. Например: «Третья Система училась мало, чтобы не портить себе карму и нервы, и люди сразу ушли в тусовку, лишь получив паспорта».

Дятел и Матильда – хипы Второй Системы. Про их любовь, расставание, испытания ведет рассказ автор. В таком случае мы вполне можем расценивать этот роман как хорошо построенное реалистическое произведение.

Менялось время - менялись приоритеты, и вот пришла заря «клубной культуры». Интересно, что и об этом свидетельствует автор. Дятел попадает в поэтический клуб, «...вероятно, первый в Москве и уж одним этим обязанный войти в историю под номером 1». Небезынтересно, что «системный» ум героя помогает увидеть грядущую «стандартизацию» этого яркого начинания. «Целый вечер они законно предавались оргии самообожания. Еще не было интриг, борьбы за место в президиуме, злой критики и

скуки плохих стихов, которые должны были неизбежно обрушиться».

Как в классическом романе, здесь герой проверяется любовью. Нам «интересен русский человек на randevу», интересны его сомнения, метания, его выбор, его отказ. Дятел – хип «призыва Второй Системы» - интересен нам как герой своего времени; заслуга А. Вяльцева в том, что он этого героя выявил и представил читателю.

Роман Дениса Соболева «Иерусалим» был номинирован на премию «Букер». Одним из аспектов многослойного текста является дискурс компьютерной игры. Здесь тоже своя символика, свой сленг: «геймер», «хит», «файербол». Здесь мир магов, драконов, здесь ценится «магический потенциал» в обмен на запасы здоровья и жизненной энергии.

«Игра» заявлена определенно: «Я лег на дно лощинки, для надежности накрылся лапником и пошел на кухню чай заваривать».

Соболев продолжает линию Системы по-своему: он свидетельствует о ролевых играх. Герой романа в недрах Иерусалима (как герой Вяльцева в Москве) ищет «своих». Сближает этих героев и способ рефлексии, и стиль, и подход к вопросам нормы – безумия, эзотерического и обыденного. Как и в романе Вяльцева, здесь много философствуют. Мамардашвили, Бибихин, Лотман, Леви-Стросс, Мишель Фуко, Жак Деррида – вот неполный список упомянутых в «Иерусалиме» философов.

«Мир – это огромный текст, распределение информации... Нужно понять мысль, стоящую за этим текстом».

Вообще эти романы интересно читать попеременно - как некий «гипертекст». «Автостоп», «вписаться», «тусоваться», «трасса» – общий лексикон. Хотя есть и забавное: «У самой площади пели и аскали знакомые хипы, приветливо помахали, что-то прокричали». Автор, Денис Соболев, дает сноску: «Аскаль (рус. хиповск. сленг) – просить деньги у прохожих на улице». Конечно же,

москвичу А. Вяльцеву такое объяснение для молодых хипов не требовалось – они знали.

Ролевики – это всё же другое поколение. Здесь важен и круг чтения - изначально многие из них были «толкиенисты», - и сверхзадача: найти близких по духу через «знаковую» фигуру. Наверное, можно сказать, что Д. Соболев исследует пограничную зону – переход «младших» хипов в ролевики.

Д. Соболев рисует достаточно достоверно «стандарт» современного русского Иерусалима, он не многим отличается от московского.

У Соболева есть еще одна примета времени, которая, конечно же, может быть отнесена к «субкультуре» как таковой – это «Личный дневник». В России – это «ЖЖ», «Живой журнал»; но строго «интернетская тусовка» не входит в круг наших исследований, мы говорим только о засвидетельствованных авторами приметах времени. В данном случае «Личный дневник» интересен также сленгом. «В «Личном дневнике» десятки тысяч людей, именовавших себя «юзерами», рассказывали день за днем о том, что произошло в их жизни... Желающие знакомиться с мыслями тех или иных «юзеров» вносили себя в список их «френдов» и... ежедневно получали сводный лист размышлений и исповедей своих избранников».

«Это прекрасный образ дружбы в нынешнем мире», - так прокомментировал подобное сообщество один из «рассказчиков», а их в романе несколько.

В романе А. Вяльцева, кажется, нет слова «цивилы», но тем не менее, они, конечно, подразумеваются – это все не вхожие в Систему, те, кто не понимает, что «истина – это смерть». «Я хотел бы лежать на крыше, курить траву, целоваться и плевать в небо», – реплика одного из «рассказчиков» Соболева.

Оба текста пронизаны щемящей грустью. У Вяльцева она приходит, когда в знакомых домах заводится устойчивый быт, а вместе с ним и какая-то «истина». У Соболева воспоминания о «неустроенных, бездомных, длинноволосых, чья собственность обычно ограничивалась

узлом с вещами и парой коробок книг» сменяются горьким наблюдением: «я знал, что хипы часто становятся образцовыми обывателями, так что я в принципе мог бы себе представить, как она ищет богатого мужа или сытную синекуру».

В романе Соболева есть и отсылки к Питеру 80-х. О Питере в связи с Системой много говорит Щепанская в своей книге. В Иерусалиме «питерский дух» сохраняет герой романа. О «Сайгоне» и «Ротонде» можно прочитать у Щепанской, но она же в числе наследников Системы назвала толкиенистов, ролевиков, нео-язычников. Бывший питерец участвует в игре по книге «Семь драконов» Джеймса Джарма, об этом подробно рассказано в романе.

«На следующий день мы пытались доигрывать, но при обманчивом свете дня слишком многое разрушало подлинность этого мира: рваный полиэтилен на веревках, криво сколоченные ворота, бодунные лица, топорно сшитые наряды и обмотанные изолентой палки – вместо мечей... Мечи нужно называть не в честь побед, а в честь битв, которые изменили твою жизнь».

Ролевые игры популярны и в России, и в Израиле, а вот в Греции, на острове Родос, например, о них не слышали. Там молодежь в кафе играет в карты «на интерес», и это тоже непонятно непосвященным. Но это, скорее, всё же времяпрепровождение. Этот штрих пусть подчеркнет, акцентирует отличие «родовых» примет субкультуры от любого, хоть и сугубо молодежного, но «стандартного» развлечения.

В текстах А. Вяльцева и Д. Соболева сильна лирическая стихия. Жизнь Системы без музыкального ряда, без любви, без серьезного ощущения жизни как родоначальницы смерти представить невозможно.

У Вяльцева превалирует традиционный «ход» – жизнь Системы через любовные отношения. История мужчины и женщины проходит перед нами. У Соболева главный герой - Иерусалим. Интифады, взрывы, политические убийства и древний город с его тайнами, мудростью и заветами. Именно в этом городе необходимо противостоять

обывателю, хранить свое «я» и оставаться в числе посвященных.

И документальный фильм «Пол Маккартни. 73 часа в России», где Коля Васин, говоря о музыке 60-х, рассуждает о жизненных ориентирах, и проза Вяльцева и Соболева – всё это «свидетельства» очевидцев.

Для кого-то, возможно, ценной окажется и вырезка из газеты за 2006 год. «Многочисленные длинноволосые девушки, напоминающие мифических сирен (некоторые нарядились в длинные плащи с капюшонами), оживленно беседовали с не менее длинноволосыми юношами рыцарского вида. Хелависа (солистка фолк-рок группы «Мельница») запела о королях и королевах, ночной кобыле и Тамерлане, умном дьяволе и прекрасных принцессах...».

«Главное – показать людям красоту и любовь. Даже самые кровожадные песни - про любовь, только в какой-то странной ипостаси. Так что все мы в каком-то роде хиппи» (Хелависа). «Новая газета» (53 номер) оставила свидетельство об одном из событий в мире, который, может быть, можно назвать «миром субкультуры», а может быть, и «клубной культуры». Но эта заметка, как и приведенная вначале дневниковая запись, зафиксировала факт, время и место.

Текст продолжают писать, передавая перо из рук в руки, те, кто приветствует суггестивность, ритуал и вечный поиск ориентиров. Субкультура настоящего времени, возможно, ждет своих «свидетелей». Возможно, существуют и новейшие (после ролевиков) сообщества, противопоставляющие себя «стандарту».

Люди Системы – люди Пути, они не способны были остановиться. Ролевики, идущие следом, кажется, не подарили еще литературе яркого героя. Д. Соболев создал «питательную почву» для будущего романа – исследования субкультуры начала XXI века.

Проанализированный текст, состоящий из романов, фильма и «заметок», представляется нам «кратким курсом» истории русскоязычной субкультуры. Здесь, конечно, есть о чем поспорить и поразмышлять культурологам и философам.

СТИХИ И СТРУНЫ

Ведёт рубрику Ирина Морозовская

В жизни все проходит быстро

Чудо Юрия Лореса

Как пришло время писать колонку - и тут началось. Сначала на двое суток исчезло электричество, потом ещё на двое - интернет. Когда интернет вернулся - стали сбоить наушники... Вспомнились братья Стругацкие "За миллиард лет до конца света" с происками Гомеостатического Мироздания всякий раз, когда подходишь вплотную к чему-то заветному и таинственному. Если не сдаться - проходишь и эту полосу. За ней начала, наконец-то, слушать песни Юры Лореса, и... конечно же, в них залипла. В каждом из времён, о которых шла речь. Казалось, что ещё что-то надо услышать прямо сейчас, и там сыщется какое-то важное слово. Что оно мелькнёт в этой следующей песне. Конечно, за этим самым словом слушалась ещё и ещё одна... И уносило в воспоминания, лет на очень много назад. Когда Юрий Львович был просто Юрой, лёгким и невероятно открытым в общении. На харьковской кухне после Эсхара, у костров на слётах разных, в Израиле, где удалось оказаться пару раз на его квартирниках. От песен я каждый раз впадала в натуральный транс. Подпевала - оказывалось, всё помнится с прошлого раза. Не хочу впадать в пафосный тон, рассказывая о таком остроумном и ироничном человеке, как Юрий. Но как передать это сочетание высочайшего романтизма, страсти и философского взгляда на эти страсти с высоты, откуда можно одним взглядом объять гораздо больше, чем с земли? Поразительный сплав этого придаёт песням Лореса

поразительную хрустальную звонкость. И хрупкость. Сюжеты для них, особенно связанные со священными писаниями - отдельное измерение, в которое можно шагнуть из нашего приземлённого мира и немного полетать самой, и ещё нырнуть на глубину, где забываешь дышать. И выныривать каждый раз немного не такой, как до того была. Лучше и тоньше, и гораздо внимательнее к деталям этой жизни.

А как оно с вами будет - проверьте же прямо сейчас. Гарантирую только чудо, для каждого - своё.

Несколько любимых - не только мною, похоже они стали культовыми - вот:

ШИПОВНИК

https://www.youtube.com/watch?v=B_ToMIO3qOc&ab_channel=shroedingercat

ЯБЛОНЕВЫЙ СПАС

https://www.youtube.com/watch?v=OtlzrujKf4E&ab_channel=natalgol

Каждый раз переворачивающая всю душу наизнанку

МАРИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=X7ayB-AUFmg&ab_channel=AlekseyUklein

И ещё из ветхозаветных сюжетов.

ШУЛАМИФЬ

https://www.youtube.com/watch?v=uSl6gHLgxwo&ab_channel=shroedingercat

ИСКРЫ

https://www.youtube.com/watch?v=_aYfm6dVQcK&ab_channel=AlekseyUklein

Раздел «Стихи и струны» с работающими гиперссылками можно увидеть на сайте журнала.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Мадина Тлостанова – прозаик, профессор университета Линшёпинга, живет в Швеции.

Марта Кетро – писатель, колумнист, живет в Тель-Авиве.

Елена Дороговцева – журналист, сценарист, редактор, живёт в Москве.

Шула Примак – дипломат, муниципальный работник, живёт в Ашкелоне.

Александр Климов-Южин – поэт, живёт в Москве.

Афанасий Мамедов – прозаик, редактор, живёт в Москве .

Яков Шехтер – писатель, живёт в Холоне.

Велвл Чернин – поэт, этнограф, живёт в Кфар-Эльдад.

Сергей Баев – прозаик, живёт в Тель-Авиве.

Елена Дьячкова – прозаик, живёт в Мельбурне.

Ольга Минская – директор по бизнес-развитию программы MBA в Тель-Авивском университете, прозаик, живет в Герцлии.

Влади Смолович – инженер, писатель, живёт в Ришон ле-Ционе.

Александр Борохов – врач-психиатр, литератор, живёт в Иерусалиме.

Михаил Юдсон – литератор, жил в Тель-Авиве.

Узи Вайль – писатель, сценарист, журналист и переводчик, живет в Тель-Авиве.

Рам Орен – журналист, редактор, прозаик, живет в Тель-Авиве.

Дина Березовская – филолог, живет в Беэр-Шеве.

Ирина Маулер – поэт, прозаик, художник, композитор, живёт в Беэр-Яаков.

Даниэль Клугер – писатель, автор песенных баллад, живёт в Реховоте.

Дмитрий Бирман – поэт, прозаик, организатор культурных проектов, живет в Нижнем Новгороде.

Алексей Александров – инженер-конструктор, живёт в Саратове.

Илья Будницкий – инженер-теплоэнергетик, живет в Екатеринбурге.

Илья Корман – исследователь литературных текстов, живет в Тель-Авиве.

Денис Соболев – литератор, профессор кафедры литературы Хайфского университета, живёт в Хайфе.

Давид Маркиш – писатель, поэт, переводчик, живёт в Ор-Иегуда.

Михаил Черейский – научный работник, переводчик, эксперт Всемирной организации здравоохранения, живет в Реховоте.

Александр Крюков – дипломат, переводчик, профессор МГУ, живёт в Москве.

Эстер Кей – исследователь древних первоисточников восточной мудрости, лингвист; живёт в Цфате.

Роман Кацман – профессор кафедры литературы Бар-Иланского университета, живёт в Гиват-Шмуэле.

Андрей Зоилов – псевдоним литератора, живущего в Тель-Авиве.

Наталья Стеркина – драматург, прозаик, преподаватель ВГИК, живет в Москве.

Ирина Морозовская – психолог, бард, исследователь социума, живёт в Одессе.

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ

Яков Шехтер, Михаил Юдсон

Ответственный секретарь Михаил Сидоров

Редколлегия: Катя Капович, Анна Мисюк, Ирина Маулер, Ирина Морозовская, Давид Маркиш, Михаэль Барам, Эдуард Бормашенко, Денис Соболев, Роман Кацман, Давид Шехтер

Корректор: Кармит Кособурд

Сайт журнала: <http://www.sunround.com/article/>

Фейсбук: <https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtikl>

Электронный адрес редакции: articreda@gmail.com

Почтовую корреспонденцию в «Артикль» можно отправлять по адресу: **Irina Mauler, Journal "Article", Beer Yaakov, Arava 76, 703000.**

Телефон: 050-9080348 (в Израиле)
(972)-50-9080348 (для заграницы).

Книжный магазин, в котором можно приобрести журнал «Артикль»:

«Книжная ярмарка»

Тель-Авив, ул. Левински, 108, Центральная автобусная станция, 4-й этаж, помещение 4310. Телефон: 0543-329543.

«Фейсбук»: <https://www.facebook.com/yarid.sfarim/>

Прославленный среди ценителей очаг культуры, созданный восемь лет назад на месте легендарного книжного развала. Мы твердо придерживаемся принципа: «Книга живёт, пока её читают»; поэтому ассортимент огромен, а цены более чем доступны. Действует книгообмен. Работают клуб любителей фантастики, издательство и поэтическое объединение. Именно в этом магазине проводит свои заседания Правление Союза русскоязычных писателей Израиля.

Издательское предложение

Вы написали книгу? Поздравляем. Пора поделиться своим творчеством с читателями! Сегодня в моде электронные книги, которые можно читать с экранов. Но и типографские издания не сдают своих позиций. Обе формы распространения вашей книги теперь вполне доступны: «Издательский дом Helen Limonova» подготовит вашу книгу к публикации и отпечатает ее любым тиражом, начиная с 20 экз.

- Мы предложим самый выгодный для вас вариант издания;
- оформим обложку и снабдим аннотацией;
- создадим электронную версию;
- расскажем о вашей книге в социальных сетях;
- поможем продать и распространить по библиотекам.

Чтобы донести ваше творчество до самой широкой аудитории, мы организуем онлайн-встречи с читателями и разместим электронную версию книги на сайтах самых популярных русскоязычных книготорговых интернет-площадок.

Проект «Вторая жизнь книги»

У вас дома накопились книги, которые загромождают жилое пространство? Вы полагаете, что уже не будете их перечитывать? Вы не знаете, куда их девать? Мы попытаемся вам помочь!

В Израиле действует проект «Вторая жизнь книги», осуществляемый «Издательским домом Helen Limonova» и магазином «Книжная ярмарка». Сообщите, в каком городе вы живёте, – и мы постараемся эвакуировать ваши книги, которые ещё послужат людям.

«Издательский дом Helen Limonova».

Тел. +972543329543 сайт: <https://www.limonova.co.il/>

e-mail: izdatel.helen.limonova@gmail.com

ЦЕНТР НАСЛЕДИЯ ЕВРЕЕВ СССР – МЕЧТА ВОПЛОЩАЕТСЯ В ЖИЗНЬ!

Идея создания такого Центра-музея, уже давно висит в воздухе. Но дальше разговоров дело не шло. Слишком серьёзные бюрократические, организационные и финансовые проблемы возникали уже на первом шагу. И вот, наконец, дело сдвинулось с места. Группа энтузиастов организовала амуту (ассоциацию), ставящую своей целью создание такого Центра. Сформирована структура ассоциации, в ее правление вошли известные всему русскоязычному Израилю писатель Давид Маркиш, музыкант Вячеслав Ганелин, актриса Наташа Манор, журналист Виктория Долинская, профессор славистики Иерусалимского университета Вольф Москович. У ассоциации есть Совет специалистов, и целая группа активистов. Возглавляет правление бывший отказник, писатель, журналист, в прошлом пресс-секретарь партии русскоязычных репатриантов "Израэль ба-Алия" Давид Шехтер. Следует подчеркнуть, что все члены ассоциации работают на добровольных началах, движимые исключительно идеей необходимости создания такого Центра.

- Давид Шехтер, для чего? Зачем?

- Это риторический вопрос. В Израиле существуют Центры духовного наследия евреев Вавилона, Йемена и других маленьких, а порой и вовсе крохотных общин. Ничуть не умаляя их важности и значения, надо отметить, что у огромной общины выходцев из СССР - СНГ, внесшей колоссальный вклад в создание и развитие Израиля, нет ни Центра, ни Музея, ни даже маленькой комнаты, где были бы представлены хоть какие-то материалы, посвящённые роли этой общины. Ни у кого из нас нет сомнения, что такой Центр необходим. Кому? Нашим детям и внукам, которые мало что об этом знают. Да и потомкам того миллиона русскоязычных евреев, которые покинув СССР, выбрали страной своего проживания не Израиль.

В создаваемом нами Центре будет отдел, посвященный достижениям советских евреев в науке, искусстве, спорте;

отдел, рассказывающий о том, как нам удалось даже в условиях жесточайшего государственного антисемитизма выжить и сохраниться как евреи; отдел, посвященный сионистскому движению, которое, собственно, возникло на территории Российской империи и ни на один момент не утихло даже в СССР, идишистской культуре, ХАБАДу и другим еврейским религиозным движениям, действовавшим в подполье на территории СССР, несмотря на преследования НКВД - КГБ. И, конечно, отдел, посвященный вкладу в создание и развитие Израиля. В рамках музея будут представлены также еврейские общины постсоветского пространства

Мы дали ассоциации название "Маалот". У этого ивритского слова есть несколько значений – алия, возвышение, освобождение. А это ведь именно то, что произошло с нами, советскими евреями!

Члены и активисты "Маалот" уже провели большую работу. Ассоциация получила поддержку Юлиа Эдельштейна, Натана Щаранского, руководства тель-авивского музея Диаспоры, Федерации Еврейских Общин России и его президента, директора Еврейского музея и Центра толерантности в Москве раввина Александра Бороды, Российского Еврейского Конгресса, ФЕНКА, Гмилут хасадим, Музея истории евреев Грузии имени Давида Баазова и его директора профессора Гиви Гамбашидзе. Мы продолжаем получать письма поддержки от многих известных еврейских организаций из разных стран .

Заключено соглашение с Еврейским университетом в Иерусалиме, создавшего специальную группу профессоров, которые будут отвечать за содержание (контент) музея. Достигнуто соглашение о долгосрочном сотрудничестве с ассоциацией "Запомним и сохраним". Ее представитель д-р Михаэль Бейзер вошел в Совет специалистов "Маалот" в качестве куратора темы "Борьба советских евреев за репатриацию в Израиль". Достигнуто соглашение и с музеем "Энергия мужества" в Хадере. Его руководитель Давид Зельвенский войдет в Совет специалистов и будет курировать все темы, связанные со Второй мировой

войной. Самая большая русскоязычная библиотека за пределами СНГ, работающая в Иерусалиме, выразила желание стать неотъемлемой частью Центра.

- Где будет находиться такой Центр ?

- Поскольку речь идет об общенациональном Центре, мы планируем создать его в Иерусалиме или в одном из городов большого Тель-Авива. Вместе с тем, мы не отвергаем и любые другие возможности.

После завершения строительства Центра, он станет не только местом, куда будут приходить дети выходцев из СССР - СНГ, где бы они сегодня ни проживали. В нем будут проводиться экскурсии школьников, солдат, участников программ МАСА, Таглит, НААЛе и других. Важно подчеркнуть, что музей станет только одной из составляющих Центра, в нем также будет действовать зал сменных выставок, проводиться различные семинары и конференции. То есть, Центр будет заниматься не только прошлым, а и настоящим и будущим, это будет не музей, а живая, активно действующая структура.

Члены ассоциации отдают себе отчет в той огромной работе, которую они взвалили на свои плечи, но необходимость создания подобного Центра они считают на сегодняшний день первостепенной задачей всей русскоязычной общины Израиля. Хочется верить, что их мнение разделяют и те представители общины, которые сегодня обладают политической силой и финансовыми возможностями. Ведь работы – непочатый край. Хватит на всех.

Следить за новостями "Маалот" можно на странице ассоциации в фейсбуке:

<https://www.facebook.com/Maalot.org>

На сайт ассоциации: <https://www.maalot.org>

Новые книги «Издательского дома Helen Limonova»:

Сергей Шинкарук «Вторая попытка»

(фантастический роман)

Сергей Шинкарук «Почему я не стану Президентом»

(весёлые повести и рассказы)

Сергей Шинкарук «Смерть шута»

(подлинная история российского КВНа)

Арье Барац «День Шестой»

(философский роман)

Михаил Никомаров «То, что помню...»

(мемуары о Баку и не только...)

Аль Странс «Любить аутиста. Осенняя сказка»

(пронзительная история)

Татьяна Бершадская «Абрикосовое варенье Семирамиды»

(рассказы и стихотворения)

Патриша Вит «Моя котобанда»

(зарисовки о жизни с кошками)

Рашид Нагиев «Там, где торопится время»

(сборник произведений)

Александр Вол «Легенды, рассказанные в пути»

(философские притчи)

Нина Виноградова-Паниш «Тихим голосом»

(лирическая поэзия)

Григорий Тамар «Огненный Гиен»

(исторический триллер)

Макс Рашковский «Израиль в душе русскоязычного еврея»

(житейские истории репатрианта)

Сергей Баев «Болото. Книга первая: Каталы». «Болото. Книга вторая: Метаморфозы» *(криминальный бильярд)*

Андрей Зоилов «Штука литературы»

(записки литературного критика)

Эти и другие интересные книги можно приобрести в бумажной и/или электронной версиях в интернет-магазине **limonova.co.il**

